НЁМАН

3/2010
МАРТ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные по электронной почте, редакция не рассматривает.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *Е. А. Губарь*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *Т. С. Чуйковой*

Подписано к печати 09.03.10 г. Формат 70 × 108 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,53. Тираж 3783. Заказ 594.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»

ВЛАДИМИР КОРОТКЕВИЧ

*Предыстория**

Десятая глава

Почти сразу за корчмой двое всадников свернули с дороги и поехали в другую сторону, чтобы пресечь всякую попытку преследования со стороны жандармов. Эта небольшая лесистая полоса — остаток гигантского пояса лесов, которые когда-то стояли здесь, быстро кончилась, и оба путника снова выехали на простор полей. Степь, по которой они ехали, — была гораздо пустыннее, чем у Свайнвессена, исчезли дома, нетронутая целина с серебристой полынью стала попадаться все чаще и наконец слилась в один большой ковер. Несмотря на май, было одуряюще жарко, трещали кузнечики, и казалось, что это стеклянно звенит и переливается на горизонте жаркий воздух. Два или три раза приходилось объезжать деревни, раза три уходила в сторону большая дорога и на распутье стоял камень, на котором было выбито название города. Это был большой путь, по которому когда-то шли песьеголовцы, на котором когда-то происходили жаркие стычки. Города и деревни были разрушены, и люди стали селиться и закладывать жилища в стороне от дороги, где было спокойнее от бандитских налетов врага. Дорога тянулась от Свайнвессена через всю область и потом раздваивалась: одна ветвь шла в тихий и ласковый Жинский край, вторая — в Боровину. Косу сморило в седле, к тому же заболели раны и ожоги на теле. Пришлось раньше остановиться на ночлег, на сей раз не в корчме, а под одиноким деревом в стороне от дороги. Ночью покапал легкий дождик, окропил пыль, и когда утром они проснулись, в лицо им дышал с полей упругий и радостный ветер. Коса немного оправился и теперь мог продолжать путь. Зеленели поля, радостно смеялись жаворонковые струны в воздухе, цвела тюльпанами, звенела сусличьим свистом, смеялась от радости свежая майская степь. И тем удивительнее было Яну видеть, что Коса сидел сжав губы и молчал, слегка покачиваясь в седле, а глаза его косо и злобно поблескивали. Ян подождал, пока бандит не нагонит его, и спросил:

— Что с тобой, друже?

— Я смотрю, — хрипло ответил Коса, — смотрю и удивляюсь, что же это такое. Величайшая на земле гожесть, в чьих она руках. Люди, как мы, с сильными руками, сделали б из нее рай земной, а теперь никто не хочет работать на чужую мошну. Какой дурак станет хорошо работать, если видит, что от этого он фигу под нос получит, а не хлеб для необеспеченных людей. Я их бил, кровососов, но это трудно. Если опенки не вывести с корнем, а срезать, то на месте одного вырастет через неделю десять. Но я все равно буду резать по одному, пока мы не накопим силы выкорчевать их с корнем.

— Дорогой мой, вы выбрали неудачный образ, — ответил Ян. — Если опенки — это ваши враги, то…

— Вам бы всем только смеяться, а помогать беднякам — на это у вас кишка тонка. Только бы искать, где он ошибся в слове.

---

* Роман публикуется в авторской редакции. Окончание. Начало в № 1, 2, 2010 г.

Ян, клявший себя за это, ответил мягко:

— Бросьте, Коса. Это все скверные привычки таких людей, как я. Не надо сердиться.

— Да я и не сержусь. Только…

— Ну, каюсь, каюсь. Давайте-ка поговорим с вами о чем-нибудь другом. Вот мы сейчас едем по степи, на которой когда-то были жестокие бои. Тут дрались две нации, и вторая победила нас, сделала неспособными создавать свои песни.

— Ну, это уж слишком. У нас поют свои песни, очень много и красиво поют, лучше, пожалуй, чем поете вы. Но у вас там, в городах, говорят не на своем языке. Это очень плохо, забывать свой язык.

— А на каком же языке я с вами разговариваю?

— Ну, вы, вы вообще какой-то чудной, не от мира сего. Стоите на их стороне, а хороший человек. Это долго продолжаться не может. Когда-нибудь и вы завоете по-волчьи. Но ты все же хороший парень. Никто из них не сделал бы этого для меня, а вы… Но лучше не будем об этом. Рассказывайте дальше.

— Вон курган. Под ним, наверняка, лежит какой-нибудь наш храбрый рыцарь. Он отчаянно дрался когда-то с врагом, расколол ему щит, и он лег мертвый. А может быть, потом он поднялся на курган, раненый, и уснул смертным сном, воткнув в дерн копье. Убежал давно конь, луна выползла, а он лежит и спит.

— А вы знаете, — перебил его Коса с интересом, — вы походите на нашего пастуха Симона. Он тоже такой… блаженный. С детства так играет на жалейке, что бабы плачут. Странный он, заберется после работы куда-нибудь в кусты и поет там, чисто соловей. Песни складывает свои, хорошие песни. И тоже говорит, говорит. И непонятно, и красиво, и черт его знает, отчего хорошо тебе делается. С детства такой, заберется, бывало, в кусты и слушает, слушает, потом сам начнет птицей щебетать. Бабы его любят, о девках и говорить нечего. Рубашку там постирают, сала дадут, иначе погиб бы он, неприспособленный человек. Бросил года на два работу и ушел. Вернулся оборванный, за песни его люди кормили. Вернулся, так бабы от радости аж плакали. Любят его. Дочка мельника без ума от него, да и другие тоже, а он поет и не видит ничего. Не знаю, как он теперь. И ведь тонкий, бледный, стройный, как травинка, бледный, тонкий, а тоже твердый хлопец. Приехал сборщик налогов и позвал его вечером песни петь и играть. В селе слезы, а ему песни. Привели Симона, тот говорит: «Не буду играть». А сборщик вызверился и говорит: «Так я ж полсела перепорю».

Ну, делать нечего, начал играть, играет, а сам слезами заливается. И чего только не слышно в той тростине немудрящей… и плач, и стон, и будто плетка свистит, и звякает что-то. А потом выпрямился, покраснел и давай наигрывать: «Косы звенят». А эта песня уже в ушах у панства навязла — мы с нею восемнадцать лет назад бились с Яном восьмым. А потом опять стоны, да такие жалобные. Слышит сборщик, а сам весь красный, будто его душат, а потом как заорет:

— Молчать, подзаборник! Ты это что играешь, веселую играй!

Симон посмотрел на него, вздрогнул и случайно сломал жалейку в руках. И потом так весело и радостно взглянул: вот, дескать, я, что хошь, то и делай. Ну и всыпали ж ему, земля вокруг красной стала. Никто от него этого не ждал. А он все вытерпел. Все же его подняли, а у него рот землей забит — это он ее грыз, когда невтерпеж было. Выходили его бабы. Топориху из Боровины приглашали — выходили. А он все такой же. Только грустнее стал и песни другие начал складывать. Жалко было, думали, умрет парень. Блажной он, а без него пусто бы стало в селе. А он нет, жить остался. (А сборщик недалеко уехал. Мы его в лощинке вместе со всеми его прихвостнями и положили.)

Заинтересованный Ян слушал с возрастающим вниманием. Но Коса вдруг замолчал, а потом тихо проговорил:

— Мы еще сыграем «Косы звенят», и пусть я буду не Ян Коса, если не увижу нашего бунта, кос, топоров, не услышу нашей песни. Ждем только случая. И попомните: как только мы поднимемся — найдется вожак и знамя наше выплывет где-нибудь.

— А, это Бранибор, — не без иронии произнес Ян. — Знаю, слыхал. Отчего это мы так пристрастны ко всяким клейнодам? Умный, трезвый народ, не фанатичный, а тут готов из-за старого знамени лить кровь как воду. Ну зачем это? Тем более, что и знамени-то старого, наверное, не осталось, столько оно терлось и простреливалось, и столько раз его латали.

Коса вдруг ударил коня плеткой и бешено полетел вперед. Отъехав на довольно значительное расстояние, он пустил лошадь шагом и позволил Яну себя нагнать. На лице его играли красные пятна, хищно раздувались и опадали ноздри, глаза округлились и стали похожи на глаза ястреба. Он со всхлипом втянул в себя воздух и сказал прерывисто:

— Никому другому я бы этого не простил. Никому, никому. За сто раз меньшие оскорбления я убивал на месте. Мы не фанатики, мы умные, трезвые, мы попов не любим и в Бога почти не верим. А в это верим, ты слышишь — верим. Верим и будем драться до конца. Это не клейнод, это — наша сила. Она восемь раз видела наши победы и нашу смерть. Тысячи пролили кровь за то, чтобы на старом городище Свайнвессена мы видели его, а не это знамя с головой Христа, а вы говорите — клейнод.

Ян понуро молчал. Что ему было сказать? Он, в который уже раз сегодня, допустил бестактность. Зачем он сделал это? Ведь ему самому импонировала эта полубыль, полулегенда, ему самому нравилась та неустрашимость, с которой люди дрались за нее, за свободу во что бы то ни стало. Зачем же он, не верящий, но сочувствующий этим людям, так посмеялся? Из интеллигентского скепсиса, что ли? Если так, то он тем более свинья. А Коса продолжал:

— Пускай оно терлось, пусть оно не то самое, но основа была той, но люди кровью платили за право наладить новую основу, зашить дыры, вышить на новом лоскутке тот же узор, что был раньше. Сейчас оно исчезло, но оно еще появится, черт возьми. Его там в Здаре Каменнинской не сожгли, оно ушло из их рук вместе с сыном Яна восьмого. Оно еще где-нибудь выплывет. Неужели тебе было бы приятнее, если б оно попало им в руки? Его сожгли бы на площади Свайнвессена, и они смеялись бы, смеялись над холопами, надо мной бы смеялись.

Ян вспомнил голодные лица людей, которые давеча несли чужое зерно, и у него защипало в горле. Сдавленным, чужим, глухим голосом он сказал:

— Прости.

Мир казался ему чужим, странным, мир, который недавно был таким радужным, но вдруг стал суровым и неуютным. И Ян повторил снова:

— Прости…

Они почти ничего не говорили вплоть до того времени, когда к концу третьего дня остановились на распутье. Дальше пути их расходились: путь Косы лежал налево, в Жинский край, путь Яна — вправо, в сумрачные Боровинские леса к главному ее городу: Быковой Елине. Коса настоял на своем: он отдал Яну его костюм и остался в лохмотьях и без сапог. Он согласился взять лошадь, и то в долг, потому что без лошади будет трудно. Солнце близилось к закату, они стояли друг против друга и смотрели один одному в глаза. Наконец Ян сказал:

— Ты извини меня, Коса, я подумаю над этим вопросом.

— Ты о чем? — встрепенулся Коса. — Ах, вот что! А я уже вовсе и забыл об этом. (Ян видел, что он не забыл ничего — это трепетало в уголках губ Косы.)

— Я подумаю, — повторил Ян, но Коса перебил его:

— И думать нечего. Я тебя все-таки люблю: славный ты малый, и когда-нибудь ты, все же, снова придешь к нам, будешь с нами.

— Возможно, — ответил Ян, — пойми ты, наконец, что я такой же, как и ты, хотя и не вижу особых поводов к восстанию. Эти неполадки можно было бы устранить реформой. А впрочем, я и сам не знаю, поможет это или не поможет.

— Не поможет, — убежденно казал Коса и потянулся к нему: — Ну, давай, брат, простимся.

— Давай, — ответил Ян. И они, не сходя с коней, крепко обнялись. Потом Коса посмотрел на Яна и сказал мягко:

— Спасибо, брат, еще раз за все. Запомни: я твой друг навеки. Так помни: три кувшина, средний разбитый, на плетне или палку у ворот, а на окно красный треугольник. За тобой мы будем следить, чтобы часом в беду не попал. Надо будет — спасем, хоть бы и самим лечь. Ну, прощай, друже.

Коса поехал тихой рысью, не оглядываясь. День заметно клонился к вечеру, последний отрезок степи был залит розоватым, закатным солнцем, которое вот-вот должно было исчезнуть за черными зубцами леса, громадным клином рассекавшего степь. Дорога Косы тянулась по левой стороне этого клина и исчезала вдали на холмах, дорога Яна, вначале идущая прямо, резко поворачивала и скрывалась в лесу. День угасал, на мгновение Ян потерял из виду черный силуэт всадника. Но Коса вскоре въехал на холм, и силуэт его четко вырисовался на горизонте, который солнце заливало червонным, расплавленным золотом. Коса, стоя на холме, поднял руку, и затем исчез, спустившись с холма. Ян постоял еще немного и направил Струнку в лес. Ему надо было спешить, иначе он рисковал заночевать в лесу, не добравшись до корчмы.

Одиннадцатая глава

Ян ехал уже целый день, и с каждым часом лес становился все более густым и диким. Дорога была на редкость безлюдная и тихая. Лишь изредка попадались крестьяне да порой дребезжала навстречу какая-нибудь дедовская колымага, которую сопровождал целый эскорт гусар. В стеклянную дверцу была видна то сухая, то толстая физиономия с черной шапочкой чиновника на затылке. Около полудня Ян заметил при дороге серый камень с надписью «До Быковой Елины…» Дальше все было сбито чьей-то старательной рукой, и путнику предоставлялось самому гадать, сколько же осталось до главного города Боровины. Теперь Ян стал гораздо внимательнее присматриваться к опушке леса. Лес темнел все больше, пуща уже начала смыкать свои густые вершины над дорогой, и тут уже было так густо, что свет солнца только кое-где выхватывал светлые пятна на непросохшей после давешнего дождя дороге. Было очень прохладно и сыро, и копыта сильно чавкали по мокрой дороге. Все чаще по краям дороги попадался бурелом, белый и сухой, как кость, огромный лесной великан перегородил один раз дорогу на высоте в два человеческих роста. Почти сразу за ним лес отступил, немного, образовав небольшой уступ, нечто вроде поляны, поросшей светло-зеленой, сырой на вид травой. Посредине этой поляны стояли останки бревенчатого строения, несколько венцов невероятной толщины, слегка обгоревших сверху. Несколько бревен валялось в стороне, образуя довольно хаотичную кучу, поросшую одеялом влажной мокрицы с мелкими листьями. И надо всем царил невероятный покой замершего от первой жары леса.

Это было древнее укрепление повстанцев Боровины — место, славное некогда, а теперь совершенно пустое и забытое. Не меньше десяти раз переходило оно из рук в руки — от угнетателей к угнетенным, и не меньше полусотни штурмов выдержало оно. Стены из дуба невероятной толщины и крепости много раз подновлялись, в последний раз перед окончательным разрушением повстанцы обложили их толстым слоем земли и дерна для предохранения от пожара. Это помогло мало — укрепление сгорело, и повстанцы погибли в огне, не пожелав выйти и сдаться врагу. Еще и сейчас на местах, где когда-то были вырыты осаждавшими окопы, на выброшенной оттуда и более сухой земле рос неизбежный спутник болотных тропинок невзрачный цветок, кольцом охватывающий развалины.

Не доезжая до укрепления, уходила влево по окраине болотца довольно узкая, но выбитая тропа, по которой Яну, следуя инструкции, данной Анжеликой, следовало ехать. Он помедлил немного, с сожалением взглянул на ровную дорогу к Быковой Елине, по которой так быстро бежала Струнка и, предвидя опасный и трудный путь, свернул на тропу. Он был склонен к мышлению образами и поэтому подумал сейчас о том, что с этого времени для него, пожалуй, надолго заказаны прямые пути. Он свернул вовремя, потому что как только исчез из виду, со стороны Быковой Елины появился большой отряд жандармов и стражи, сопровождаемой частью регулярного войска, конного и с оружием.

Но этот же самый отряд помог избежать Яну большой неприятности. Две пары глаз, следивших за Яном из кустов, заметили яркие блики от оружия и голубизну полицейских мундиров, и один из лежащих предостерегающе крикнул, подражая чибису. Когда Ян скрылся из виду, с дерева, перекинутого невысоко над дорогой, чертыхаясь, слез третий — высокий мужчина с совершенно голым лицом и длинным волосами, в шелком расшитой куртке. Сдирая с лица мятую тряпку, которой была повязана нижняя часть лица, он спросил, затыкая за пояс небольшой кривой нож:

— Ну, что там еще такое, ребята?

— «Пакканы», — коротко ответил второй, кивнув в сторону дороги.

— Я бы снял его, если бы знал, в чем дело, — разочарованно ответил мужчина. — Жаль, что вы испугались отряда, который в доброй сотне саженей отсюда.

— Черт же его знает, — ответил первый, совсем еще молоденький паренек, — кто он такой. Если бы кто-либо другой, а то подозрительно, один едет, без охраны... и одет богато. Кто бы это мог быть?

— Во всяком случае, — бросил длинноволосый мужчина, — это или осел, или человек дикой храбрости. А может, просто не знает, что бывает иногда на лесных дорогах. Пусть едет, может, это такая же травимая крыса, как мы. Догонять его, во всяком случае, не стоит, храбрый малый. Хай себе едет.

— А есть хочется, — сказал молоденький, — просто жуть. И надо же — за три дня ни одного подходящего. Я говорил, гиблое это дело идти втроем.

Длинноволосый мужчина решительно поднялся и взял лук, прислоненный к дереву.

— Ты куда?

— Надо хоть оленя свалить.

— Пистолет возьми.

— Ну его к черту. Лучше уж по старинке. Этой машиной ворон по заборам пугать. Жаль зверя. Выбивают все кому не лень. Скоро, пожалуй, он только в глуши и останется.

* * *

Дорога была пока нетрудной, хотя и неровной. Ян то спускался в тяжелые сырые овраги, заросшие кустарником с мелкими и очень холодными ручьями, переливавшимися через бурелом и обомшелые камни; то поднимался на высоты, покрытые звенящим смолистым бором. Он, во всяком случае, решил быть поосторожнее и держать оружие наготове, опасаясь неожиданных встреч. Но пока дорога не давала причин к беспокойству, и он ехал спокойно.

Попробуем описать более или менее полно, что представляла собой Боровина, куда он ехал скрываться.

Это была невеселая земля, годная, пожалуй, для того, чтобы скрыться, но мало пригодная для жизни долгой и основательной. Огромное корыто страны, вздыбленной холмами Боровинской гряды на севере и примыкавшей на востоке к огромному потоку Одрова, главной реки Боровины, текущей на юг, было залито водой, пропитавшей здесь все. С левого берега в Одров впадал Пандур, с правой из гущи боровинских лесов текли большие и коварные реки Пятица, Медведь и, наконец, в самой жуткой глухомани, впадал в Одров еще не вполне изученный Зубр. Земля лежала низко, возвышаясь над течением рек на каких-нибудь полсажени, и была покрыта сетью болот, рек, речек, больших и малых озер. Все, что не занимала вода, было занято лесом. Человек чувствовал себя одиноким и забитым среди этих долин. Он был один, один перед лицом зверя, которым изобиловал этот край, перед лицом его огромной и коварной природы. А зверем кишели эти дикие леса, и было его так много, как нигде, пожалуй. Человек в этих краях недалеко ушел от человека времен варварства. Он ходил в длинной домотканой рубахе, которая подпоясывалась цветным поясом, за которым непременно торчал топорик и длинный нож; в таких же штанах, иногда полосатых, в козьей куртке мехом на обе стороны и в бесшумных воровских кожаных лаптях. Зимой он заменял куртку на кожух, целиком расшитый цветными нитками, под кожаные лапти надевал портянки из шерсти, либо же обувал валенки, которые всегда в таких случаях подмораживал. На обед ему довольно было черствой лепешки, пресной, как маца, которую он употреблял обычно либо с картошкой, либо с глотком кислого молока, либо с ломтиком «зверины», испеченной на углях. Он был очень воздержан в еде, этот человек, и «развязывался» только по праздникам, когда, наоборот, считалось неразумным есть мало. С непокрытой головой и стариннейшей кремневкой за плечами, с кисетом из кожи, в котором лежали, завернутые в тряпочки, две его самых великих драгоценности: табак и соль, он проходил в день десятки миль, не чувствуя усталости. На охотничьей тропе он мог прождать под дождем весь день, мог идти по морозу полуголым, но дома больше всего любил тепло, и печь в его хате занимала обычно четверть всего помещения. Раз в полгода шел он на базар в Быкову Елину, вернее, плыл туда на лодке и там вел себя подозрительно и хмуро, и не давая себя в обиду. Три раза в год, а то и в пять или десять лет, смотря по доступности места, приезжал к нему сборщик налогов и обдирал как липку, поэтому он заранее прятал все или переходил на какой-нибудь труднодоступный островок на болоте, где строил в гуще хату и там уж сеял на клочке глинистой земли бобы и картофель, изредка немного ржи. В вечной борьбе с природой он рос нелюбимым сыном, дикарем с могучими мускулами, рос туповатым, опутанным тысячами предрассудков, но очень честным. Для него не существовало почти никаких законов, кроме железных законов человека, жившего в лесу.

Что представляла собой земля? Одну огромную и труднодоступную крепость. Густые леса, непролазные болота, воды озер и рек, каналы, где можно

было проехать только на его узком и чрезвычайно легком челне. Отдельные хаты стояли на недоступных островках, деревни — на более высоких плоских местах, огороженных от паводков высокими квадратами земляных валов, поросших кустами и дикой яблоней, отчего поля напоминали шахматную доску. Дома были в таких деревнях из очень толстых бревен с окнами узкими, как бойницы, и направленными часто вверх, отчего снаружи можно было стрелять только в потолок, в закопченные балки, покрытые тонкой резьбой и часто дырами и ямками от пуль величиною с голубиное яйцо. Двери в таких домах были толсты, и камень для того, чтобы завалить их изнутри, всегда лежал тут же. На случай, если дом подожгут, был внизу каменный подпол, тщательным образом замаскированный, а от него ход, который знал только хозяин, куда-нибудь в такие же заросли. То была крепость, которую можно было защищать одному, защищать до последней капли крови каждую хату, каждый квадрат поля, но это имело как всегда и свои недостатки: человек за межой рос, не видя простора, уединенно, как лис в норе, и это часто развивало нелюдимость, скрытность, угрюмое недоверие и крепкую память на месть и вражду. Стремление улитки в раковине.

И вот Ян подъезжал теперь к этим местам, вернее, к более «возделанной» и «культурной» части их. Очень относительно возделанной и относительно культурной. Дорога петляла по опушке леса, с другой стороны была вода — то болота, то глубокие озера, в которых, как в черном зеркале, отражались причудливо кривые коряги. До прибытия Яну оставалось полдня пути, но ехать сегодня было невозможно: закат догорал за деревьями, в лесу начинало быстро темнеть, уже с трудом различалась дорога, и Стрелка, уставшая от необычного прогона, шла медленно. Лес дышал сыростью, огромные деревья, как таинственные исполины, вдруг начали жаловаться на что-то, шуметь тревожно и тихо. Два или три раза над головой Яна пролетела, чертя воздух мягкими крыльями, сова и снова все затихло. Один раз что-то хрустнуло в чаще, там кто-то шел. Яну стало не по себе, и он крепче сжал пистолет. Он уже не надеялся провести ночь под кровом, когда вдали из-за темных кущ слабо мелькнул желтый огонек, и через пять минут Ян подъехал к старой полуразвалившейся корчме с острой, провалившейся кое-где крышей.

Мрачное здание внушало справедливые подозрения, но Яну не из чего было выбирать. Он поставил Струнку под навес, посидел немного в совершенно пустой хате, созерцая полуслепое лицо хозяина с огромным ртом до ушей, выпил стакан вина и как сноп свалился на сено, покрытое рядном, в пристройке, не дав себе труда подумать о своем положении. Сквозь сон он услышал встревоженный крик чибиса, успел подумать: «Странно, чибис ночью…» и уснул еще крепче, ничего уже не чувствуя и не замечая.

Двенадцатая глава

Паличке не прошло даром участие в дуэли, роль, которую он в ней играл. Его взяли вечером дома. Он, не предполагавший такого исхода, громко кричал о святости домашнего очага, но это делал только для проформы, потому что всю дорогу ругался так длинно и так виртуозно, что снискал даже некоторое уважение к своей особе со стороны удивленных конвойных. До десяти вечера он сидел в голой приемной, пахнущей клеем, сургучом и еще чем-то очень кислым, в приятном обществе здоровенного стражника, который копал в носу всеми пальцами поочередно и вытирал их о нижнюю сторону скамьи, обнаруживая похвальную заботу о чистоте платья своих ближних. Паличке стало

скучно, он попробовал было встать и подойти к окну, но встретив явно выраженное недовольство конвойного, сел на место и тоскливо уставился в угол. На переплет окна сел задорный воробей, посмотрел сначала правым глазом, а потом и левым на безмолвную группу и весело чивикнул, будто сказал: «Что, брат, сидишь? Ну, сиди, сиди», — и снова улетел.

Когда Паличка почувствовал, что поглупел уже почти так, как его визави, пришел чиновник и снял предварительный допрос, почерпнув немало интересного рода сведений для следствия, как то: фамилия, занятия, род занятий дедушки, девичья фамилия прабабки. Паличка предложил прибавить к этому для полноты биографию сводной сестры троюродного дяди, а также краткие сведения о наружности своей будущей предполагаемой тещи. Это предложение было встречено бурными изъявлениями восторга, и Паличке ничего не оставалось, кроме как сесть в угол и сохранять почтительное молчание еще полчаса до настоящего допроса. Он утешал себя тем, что мысленно рисовал этого франта-чиновника, Штиппера, Гартмана и присных и воображал в уме заманчивые картины предстоящих дуэлей. Это было очень интересно, и Паличка почти не услышал, как его вызвали. В огромном кабинете было холодно, как в погребе, стены отдавали масляной голубизной, и в этом аскетическом кабинете где-то в глубине терялись массивный письменный стол и вольтеровское кресло, а в вольтеровском кресле терялся в свою очередь маленький человечек в мундире с блестящим шитьем и голубой лентой через плечо.

«Кажется, пропал, — подумал Паличка, — эта птица меня отсюда не выпустит, не оторвав куска мяса». Человечек писал, не обращая внимания на вошедшего. Плешь блестела, отражая огонь свечей, и домашний вид этой лысины вовсе не предполагал наличия в этом толстом тельце той жестокости, которой он прославился. А между тем это был начальник полиции и сыска Иоганн фон Рабе, которого восемь человек из десяти в стране звали пауком. Он и сыновей воспитал в том же духе: старший, Ульрих фон Рабе, был командиром сотни головорезов, самым отчаянным в отряде гвардии Нервы, младший, Михель, по молодости лет не занимал еще большого поста, но обещал пойти далеко. Отец принуждал сыновей начинать карьеру с самых низов, и Михель поэтому был пока что всего лишь деканом при деке лучших агентов отделения сыска и надеялся вскоре стать полицейским инспектором. Эти невеселые мысли заставляли Паличку серьезно подумать над тем, как выкрутиться из такого неприятного положения.

Рабе наконец-то поднял глаза от письма, большие глаза с выпуклыми веками, покрытыми массой пухлых морщинок, и его жесткие черные бачки сдвинулись кверху. Рабе улыбался, улыбался умно и проницательно. Это было еще хуже, и если бы Паличка не был прожженным парнем, он бы безусловно перетрухнул. Он постарался смотреть прямо и спокойно, а Рабе продолжал улыбаться.

«Черт возьми, какую же взять маску», — подумал Паличка и, наконец, решил превратиться в заправского рубаху-парня. Это было наиболее легко и естественно при таких обстоятельствах, а умения у Палички было не занимать. Походка его сразу же стала несколько развалистой (он боялся переиграть), и он подошел ближе к столу. Улыбка сошла с тонких губ Рабе, и он испытующе взглянул в глаза Палички, которые выражали в данный момент какую-то смесь задора и наивной глупости. Глаза Рабе с дряблыми, как будто опущенными веками, серые, холодные, безжалостные, смотрели глубоко, стараясь высмотреть все содержимое из наглых глаз Палички. Этот поединок продолжался минуты три, затем Рабе первый отвел глаза, но по его повадке

было видно, что он насторожился, что он предполагал во взгляде Палички за его открытой простотой что-то другое, скрытое.

— Садитесь.

Паличка сел.

— Ну-с, что скажете?

— Жду того, что изволите сказать вы.

Опять минута напряженного молчания и поединок глаз, и снова все безрезультатно.

— Итак, Паличка Ян, сын пивовара из Тхоржева.

— Правильно.

— Вы знаете, в чем вы обвиняетесь?

— Нет, не знаю.

— Сейчас узнаете. Вы сегодня были секундантом на дуэли Вара и Рингенау.

— Был, вы здорово осведомлены обо всем.

— А вы знаете, чем кончилось дело?

— Этот сопляк показал себя храбрым парнем и ранил противника.

— Прибавьте, смертельно, — холодно заметил Рабе.

— Нет, это вы серьезно? — искренне удивился Паличка. — Вот случайность. А ведь он мог в два счета всыпать этому младенцу. Вправду сказано, против судьбы не попрешь.

— Почему вы стали секундантом незнакомого человека?

— Видите ли, — извиняющимся тоном разъяснил Паличка, — у меня уж репутация такая, вот недавно я, к великому сожалению, убил некоего Корсакевича. Вот он, очевидно, этим и руководствовался. Что делать, такая уж репутация.

— Так вы не с одними, выходит, немцами дуэлируете.

— А с какой стати мне с ними одними драться. Попросту я всякому, кто меня обидит, уши обрежу, кто бы он ни был. А вы спросите самого Вара о выборе.

— Та-ак. А вы не знаете о его местонахождении теперь?

— Вообще-то, я знаю, где он живет, но смутно, был у него всего один раз. А что, он сбежал разве? Вот чудак, чего ему бояться. Ну, дуэль, ну, подумаешь, важность какая.

— Нет, — подчеркнуто проговорил Рабе, — это я спросил у вас затем, чтобы узнать, знаете ли вы, что он арестован.

Паличка не мог удержаться и повторил про себя: «дурак», посетовав на себя за то, что не отправил Вара силой.

— Послушайте, — доверительно и мягко сказал вдруг Рабе, — вы умный юноша с большим будущим, неплохой журналист. Не доводите дело до очной ставки, ибо все сведения, почерпнутые из этого рода допроса, будут поставлены вам в вину. Сознайтесь сами, и незамедлительно.

— Да в чем же мне сознаваться?

— Сударь мой, вы знаете, что означает убить офицера гвардии. Это строжайше запрещено. А Рингенау офицер, капитан.

«Ага, — заметил Паличка, — он боится очной ставки, наверняка не знает ничего. Мало того, Ян, очевидно, успел удрать. Молодчина». А вслух он сказал:

— Я понимаю, что нельзя. Но если мне, скажем, нельзя вызвать его на дуэль, то и он не должен задираться. А то он задирается, зная, что никто его на дуэль не вызовет. И от этого гвардеец становится трусом. А ежели он трус, то какая от него, спрашивается, защита нашей державы и магистерского трона от врага и разных бунтарей, кующих крамолу. В свите и в гвардии Его Величества должны быть люди отчаянные.

В глазах Рабе что-то потухло, но он тут же справился с желанием закончить этот допрос и сказал:

— А вот Вар говорит, что это у вас было сговором, заранее обсужденным.

— Ну?! Это уже пакость. Не думал я, что он такая свинья и станет клеветать на меня. Он со мной ни о чем не говорил. Да вы посудите сами, с какой бы это радости по этому «сговору», как он говорил, стал бы драться он, а не я. Я хорошо фехтую, а он ведь бумажная крыса, сомневаюсь, чтобы он прежде когда-нибудь держал шпагу в руках. А я не только с ним не сговаривался, но и вообще ни с кем, да и не понимаю этих бандитских замашек. Это такой задор щенячий бросаться на большого пса. Крикуны они… И Бог с ними.

Рабе слушал очень внимательно, но не записывал ничего, и Паличке показалось это странным. Он мельком взглянул на дверь справа от стола Рабе, прикрытую узким ковром, и заметил, как ковер шевельнулся и в ту же секунду раздался неуловимый шорох, будто кто-то перевернул страницу. «Так, — отметил про себя Паличка, — обстановка доверительная, говори, никто не слышит, а там сидит, видно, какая-нибудь бумажная крыса и записывает, ах, подлецы!»

— Хорошо, — глаза у Рабе округлились. — А о союзе вы ничего не слыхали.

— Я хожу в трактир «Ключ» обедать, но не видал там до сих пор ничего предосудительного, иначе давно бы отказал хозяину.

— Ах, вы меня не понимаете! Не в том дело. Со-ю-з, а не ключ. Вы понимаете: der Bund, а не das Bund.

— Извините, ничего не слыхал.

— Быть может, вы тогда слышали об организации «длинных» или «белых» ножей? Тоже нет? А почему мы получили сведения, в которых прямо на вас указывается как на участника или, во всяком случае, соучастника некоторых их дел.

Паличка понимал, что никаких сведений нет, что его берут «на пушку», потому что он и в самом деле нигде не участвовал. Поэтому он искусно разыграл изумление, выпрямился и сказал жестко: «Если бы мне, Ваше сиятельство, попался на глаза распространивший эту гнусную сплетню — я бы ему отрубил уши, изуродовал бы его начисто. Пакость-то какая! Эти шельмы хотели меня оклеветать, но я этого не до-пу-щу. Эти люди достойны наказания властями.

Рабе съежился больше, и Паличка подумал, что этому старику доставило бы гораздо больше удовольствия его, Палички, чистосердечное признание. Лицо Рабе было невозмутимым, как у каменного божка, и Паличка внутренне насторожился, понимая, что сейчас и начинается самое важное. Он сразу настроил себя на худшее, на то, что ему будет чертовски трудно. Он понимал, что Вара сейчас нет в городе, но что его могут словить, и значит, нужно, пусть даже топя себя, выгораживать этого юнца, такого наивного, молодого и свежего. Этот малый должен был жить, жить во что бы то ни стало, какие бы взгляды он ни защищал. Как бы это сделать, черт побери?

Паличка думал напряженно, но лицо его по-прежнему не выражало ничего, кроме благоразумной тупости. Рабе смотрел на него умным взглядом, и на его лице возникало постепенно выражение самой вульгарной скуки.

— А скажите, почему возникла дуэль?

— Видите ли, этот человек подает большие надежды, его книгу, говорят, похвалил сам правитель. Его материальное положение сейчас хорошее. И он, как всякий молодой человек, мечтает жениться. Он нашел себе невесту, дочь уважаемого человека, некоего графа Замойского, того самого, у которого и вспыхнула эта неприятная история. Ну а Гай немножко приревновал, и полу-

чилась ссора. Мальчик бы стерпел, но вот хотя бы вы, разве вы стерпели бы оскорбление, а уж на глазах своей невесты и тем более. Стоило на них посмотреть во время дуэли, Рингенау носится как вихрь, а этот стоит тюлень-тюленем и еле ворочает рапирой, как палкой. А потом, когда Рингенау его ранил, — он тоже разозлился, кровь, так сказать, ударила в голову. Ну и ткнул, а невежда — часто опасная каналья на дуэли. Вот и получился, извините, исход такой пакостный. Я предлагал мириться, да Рингенау не захотел.

— Мг-м. Не захотел, вы говорите?

— Да, я говорил об этом перед началом дуэли… и отказался Рингенау. И зря отказался, между прочим.

— Какое у вас отношение к Рингенау?

— Да какое оно у меня может быть. Отношение как к человеку, которого я почти не знаю, вот и все.

— Та-ак. А ваше мнение о славянах, к коим вы принадлежите?

— Люди, к которым я принадлежу, не могут быть плохи. Хотя я и нахожу, что у нас есть плохие стороны, но люди мы хорошие, сердцем и душой преданные нашему строю. (Он понял, куда гнет Рабе, намекавший на его давешнюю фразу, сказанную Штипперу.) И напрасно нас обижают офицеры, считая за бандитов. Рингенау — трус, да и большинство сегодняшних дуэлянтов такие. Мы бы за верховного правителя перегрызли глотку, будь мы в его страже. Я это и сказал им сегодня утром. Рингенау прямо сказал, что он трус, а Штиппера оборвал, когда он обзывал меня сволочью. Конечно, он по своему происхождению выше меня и имеет больше шансов на уважение, но тут он вел себя недостойно.

Паличка заранее пресек всякую возможность поймать себя на слове и был очень рад. Поединок с этим вороном был очень опасен, и лучше, конечно, было бы сразу высказать все и дать сомнительным фактам собственное освещение, не дожидаясь, пока это сделают без тебя и в нежелательном для тебя духе. Напряжение было страшным, Паличка знал, что этот ласковый Рабе употребит все усилия для того, чтобы закопать его, Паличку, заточить в Золан или в цитадель Лис.

Последовало десятка два мелких и нудных вопросов-проверок. Паличка отвечал, всеми силами стараясь не ослабить обороны. Оба — и допрашиваемый, и допрашивающий — напряженно думали.

Рабе, несмотря на то, что вовсе не хотел делать преждевременные выводы об этом парне, все же не мог не заключить, что это обычный пустомеля и бретер; вносили сомнение только статьи Палички, которые он прочел утром, старые статьи (этот балбес получил наследство полтора года назад и бросил писать), но чертовски умные и со скрытой ехидцей, — то ли он поглупел от денег, то ли за него писал кто-то. И в тоже время, он, хотя чутьем и верил в непредумышленность убийства, видел, что этот холуй, эта бестия вращается в весьма сомнительных слоях и у него можно вызнать кое-какие косвенные данные о разных кружках и группировках. Ему не удалось поймать его на лжи, и он не мог понять, то ли подследственный действительно наивен, то ли он чрезвычайно ловкий пройдоха, не мог понять и мучался этим. Шестым чувством он понимал, что Паличка неискренен, что его патриотические речи — пуф, но ведь это было присуще двум третям всего населения. Может, следовало начать с атаки в лоб? Дьявол его знает. «Зря я показал большую осведомленность об этом деле — надо бы поменьше, может, тогда он бы и проболтался, а то держит ухо востро». Он клял себя за неловкий трюк с мнимой поимкой Вары. Теперь этот парень, понявший все, уверен в том, что против него почти нет улик. Какие же мотивы им руководят? Хорошо, если он про-

сто дрожит за свою шкуру или боится огласки в прессе, а если это нежелание выдать соучастников?

Рабе вообще неохотно прибегал к пыткам и только в тех случаях, когда считал это необходимым. Но тут такого случая не было. А Нерва жал, а Нерва по делу о Каске готов был снять с него голову, если не откроются все подробности дела о сыне этого Яна восьмого, черт бы его побрал. Неприятно!

Следовало бы перейти к приятелям и добиться успеха хотя бы там, добиться, скажем, оговора Паличкой этого Яна Вара.

Рабе поднял голову, встретился с глазами Палички и понял, что тот видит ход его мыслей. Ему стало еще более неудобно оттого, что он помимо воли дал уверенность в том, что он его, Рабе, понимает правильно.

А Паличка в это время думал приблизительно о следующем: «Ну, братец, дудки. Хитер ты, но я вижу, что ты изныеваешь, когда улика выскальзывает у тебя из рук. Не умел ты наладить со мной созвучия душ, и уважения к тебе я чувствую не более, чем, скажем, к шлюхе из фешенебельного дома для богачей. На уверточки идете, на лицемерие, не верю я вам ни на грош, пан Рабе. Знаю, что не постесняетесь насчет пытки, но лучше уж сойти с ума или умереть, чем трепаться на ветер. Конечно, он, Паличка, не состоит ни в каком союзе, но знает, кто из его близких или друзей в нем состоит, даже знает, где они собираются. Он человек наблюдательный. Теперь задача, как бы на них не указать, выгородить и их тоже. Необходима пытка или меры «морального воздействия» вроде помещения рядом с камерой осужденного на смерть. Эта лиса… Ах, подлец! Придумать, что ли, какую-либо вину меньшую и не пахнущую политикой, вроде того, чтобы вспомнить о том, как они подрались с жандармами под окнами у одной девицы и наложили им. Нет! Оговорить себя? Не нужно и бесполезно. Надо держать марку. Сам ты виноват, свинья. Дрянь ты, допросчик. Уловки у тебя недостойные, да чего от тебя и ждать, от «паккана». Хотя и чуешь нюхом, что тут где-то паленым пахнет. Ну, я уж буду запираться до конца, что бы ты ни предъявлял. Свинтухайло ты». Это слово «свинтухайло» часто употреблял отец. Паличка вспомнил его, повторил несколько раз — слово обессмыслилось, и он неожиданно для самого себя, рассмеялся. Рабе с недоумением посмотрел на него.

«Что, не понимаешь ничего, ливерная ты колбаса», — ехидно подумал Паличка, но вслух благоразумно не произнес, а вместо этого сказал:

— Вы не обращайте внимания. Это я подумал, что бы сказал отец, если бы увидел, что я сижу у вас на допросе по обвинению в крамоле. Это я-то! Моим последним противозаконным поступком был тот, когда я четырнадцати лет от роду выбил стекло у соседа, налогового инспектора. Тот донес отцу, что я курю на выгоне и целовался на задворках с его дочкой. Батька, как всегда в таких случаях, замыслил отодрать меня ремнем, но я уже не соглашался на это и пропадал две недели у дружка (он погиб при крушении своей яхты год назад). Жизнь продолжал прежнюю, даже купаться ходил, на этом и погорел. Кто бы мог думать, что он окажется таким злопамятным. Пришел и сел возле моей одежды. Я уже изнемогаю, а он мне: «Сынок, вредно два часа в воде сидеть», — и манит пальцем. И вот я отплыл подальше и задами-огородами к товарищу, прямо так. Два года после этого «бесштанным» дразнили. Извините, может, неуместно, — Паличка опять замолк. Рабе старался скрыть охватившее его разочарование. Ясно, у этого парня есть ум и страсть к грубым шуткам, которые так любит публика. Хорошим журналистом он мог быть. А вообще обычный бретер. Оставалось пойти на опрос обо всех его друзьях, и тут была, пожалуй, уместна тактика лобового допроса. Он устал и, не подумав хорошенько, так и сделал, в чем тут же и разочаровался, а Паличка понял

еще лучше, что следователь слаб перед его наглой уверенностью и не знает, что делать. Он забыл даже огорошить его после ряда сухих, притупляющих настороженность вопросов каким-либо ехидным ударом. Шляпа ты, шляпа. А Рабе жалел, что не отложил допрос на завтра и вследствие этого ведет себя как начинающий, глупо и неуверенно. Нет! И он собрался, сосредоточив остаток сил для предстоящего допроса.

Лобовая атака продолжалась битый час, оба устали и вымотались до последней крайности, и Паличка никогда не был так близок к тому, чтобы начать дерзить и довести этого подлеца до нервного потрясения. На его счастье, Рабе первый прекратил эту глупую попытку добиться чего-либо безапелляционным тоном, часто повышавшимся почти до крика. Он, видно, сильно устал за день и делал ошибку за ошибкой, и это не могло прибавить у Палички уважения к нему. «Чего уж ты скачешь, как блоха, от одного метода к другому, — неуважительно подумал Паличка. — Видно, не такой уж ты умный, как казалось», — и он отпустил вожжи, которыми держал себя в напряжении.

— Извините, я погорячился. Я очень устал за этот день.

— Да-да, — ответил устало Паличка и подумал: «Как же вы, сукины коты, допрашиваете виновных, если меня, безвинного, держите целый день».

— Так вы говорите, что Вар до сих пор не держал оружия в руках.

— Нет, не держал, — почти машинально ответил Паличка.

— Та-ак, — оживился Рабе. — А откуда же взялась рапира, которую вы утром выдали за рапиру Вара, а он это подтвердил?

«Влип», — подумал Паличка и замолк.

— Ну, что же вы?

— Эта рапира была его. Откуда взялась, не знаю. Но он абсолютно никогда ею не пользовался.

— Бросьте дурить. С какой стати, скажем, я, не будучи химиком, стану, предположим, держать у себя в доме пробирки и реторты.

— Вспомнил! (Паличка лихорадочно искал ответ и наконец нашел.) Он говорил, что ему ее подарил товарищ-студент на именины, потому что у него ни денег, ни подарка не было. А он как человек глубоко штатский повесил ее на стену и не брал.

— С какой целью висела?

— Да я уж вам говорил, что не выкинул только оттого, что это подарок.

— Странный подарок. Фирма?

— Марциновича.

— Гм. А ведь она….

— Она совершенно одинакова по длине их гвардейскому образцу, Ваше сиятельство, иначе я бы никогда не позволил этой дуэли. Моя дуэль еще никогда не проходила нечестно, а ту рапиру, которую они приберегли для дуэли, я сломал, поднатужившись так же мало, как для того, скажем, чтобы сломать восковую свечу.

— Угу. Как попала, мы уже знаем. Кто этот, товарищ Вара?

— Некий Вольдемар… э-э… Брага… Бага… Бага, Бага, вот точно.

— Бага, — брови Рабе полезли вверх, — весьма интересно. Человек, арестованный вчера.

Паличке чуть не стало дурно от усталости и напряжения, но он превозмог себя и сказал равнодушно:

— Вар был мало с ним знаком, очевидно.

— Напротив, — охотно разъяснил Рабе, — мы знаем, что Вар был его единственным другом.

Паличка, видя, что Рабе воспрянул и готов допрашивать с новой силой, показал ему мысленно кукиш и проговорил тоже мысленно: «Хитер ты, однако, если мед, так ложкой».

Он снова насторожился и был готов к новым вопросам.

— Нам придется познакомиться с владельцем, — вежливо сказал Рабе,— это странное, во всяком случае, знакомство трех людей, из которых два арестованы. Нам придется задержать вас, молодой человек.

— Не имеете права, — вскинулся Паличка, — я человек честный и никогда ничего не затевал противозаконного.

— Сожалею, но-о-о…

— Я готов дать честное слово, что при первом требовании вернусь сюда на допрос.

— Хорошо, подумаем. А… вот скажите, каков ваш круг знакомств?

Паличка отвечал, Рабе слушал, делая вид, что все это только для проформы. Потом с Палички взяли слово, что он явится по первому требованию.

Паличка вышел, выбрался за ворота, и силы его оставили почти сразу. Только сейчас он почувствовал, как устал. Однако задор не пропал, и он, повернувшись к черной громаде, с наслаждением показал освещенному окну кукиш.

* * *

А в кабинете Рабе между тем сидел вышедший из соседней комнаты Хани Вербер и пенял ему за то, что отпустил Паличку.

— Послушайте, Вербер, — холодно ответил Рабе, — я бы, конечно, не сделал этого, если бы был уверен, что его слово равно, скажем, вашему или моему.

Вербер расхохотался.

— Да, да, — повторил Рабе, — они держат слово покрепче, чем мы, эти хамы.

— Ну что ж. На то мы и господа над ними, люди голубой крови, — развязно ответил Вербер. — А вот скажите, какой вы сделали вывод?

— Вывод? — переспросил Рабе. — Что ж, извольте. Дуэль, конечно, была непредумышленной, иначе с какой стати стали бы они выставлять этого осла, который ни ухом ни рылом. Но сам Паличка и его окружение особенно — дрянь. Он-то производит впечатление недалекого в политическом отношении. Но вы ведь знаете, надеюсь, что невиновного человека нет, что человек — это паскудное и грязное животное, если это не аристократ, но и в этом случае часто…

— Мошенник, — подхватил Вербер.

— Вот именно. Вы должны знать, что любой подданный имеет на своей совести кражу или мошенничество (так что мы можем с чистой совестью схватить любого и обвинить любого) или же участие в каких-нибудь темных делишках, похвальных, разумеется, с точки зрения частной инициативы, но мешающем лично нам, что и является его главной виной. Так вот. О господи, что же это я. Да, это глупость. А впрочем, он может подумать, что его арестовали по дороге. Так даже лучше.

— О чем вы?

— Отпустил его, но солгал на допросе, что Вар арестован.

— А, черт с ним. Не все ли равно. Дальше.

— Надо разузнать, какую связь составляют между собой Вар — Паличка — Бага. Довольно подозрительное знакомство, не правда ли?

— Да, так. Этим надо заняться. Вар пишет книжки (маскируется, очевидно), Паличка кричит о своей приверженности к власти. Но Бага попался, можно его допросить. Главное, вы слышали, круг его знакомств на подозрении.

— Вы сделали глупость, что его отпустили, вы непоследовательны, — убежденно заявил вдруг Вербер, — он их предупредит, и они заметут следы.

— А вы думаете, за ним не следят? — ответил вопросом Рабе. — Пусть-ка он их попробует предупредить. Это будет только улика против него. И это, кажется, единственный способ.

— Да, — добавил Вербер, — плюс к тому, надо потрясти семью этого Вара. Там две какие-то старухи, и одна подозрительно самоуверенна для своего положения служанки.

— Да, надо, — устало заметил Рабе.

* * *

А Паличка шел по направлению к своему дому, шатаясь, как пьяный. Фонари горели тускло, мягкая ночь пахла пылью и душными испарениями города.

Паличка удивлялся смеси глупости и ума этих людей. «Надо будет утром передать письмецо через мальчишку-соседа к Филиппу. Он имеет вес в той компании, которая наверняка где-то существует, как-то раз спьяну он мне в этом признался, хотя потом отрицал. Боже мой, боже мой. Какие неслыханные ослы, какие ослы».

Тринадцатая глава

Ян проснулся, как ему казалось, через полчаса от повторного крика чибиса и жары. Было душно, тело покрывалось потом и сильно зудело. Он позвал хозяина, но никто ему не ответил. Беспокойство усилилось неизвестно отчего, и тут он вспомнил о Струнке. Решение пришло быстро. Он вспомнил, что под навесом есть сено, и решил перебраться туда, с наслаждением предвкушая сон в прохладе. Заодно и Струнка будет поближе. Он не стал пытаться заснуть снова, взял рядно, подушку и осторожно вышел на двор. Было холодно, кривой серп месяца висел низко в холодном небе, звезды доверительно мигали. Еще часа два и начнет светать.

Струнка стояла на прежнем месте и хрустела овсом. Ян подставил руку к ее губам, почувствовал ее домашнее дыхание и, забравшись под навес, с удовольствием растянулся на сене, собираясь уснуть до утра. Было очень тихо, в разодранную стреху виднелись звезды, дрожавшие от холода. Но тревога не проходила, наоборот, росла. Что же это? Откуда это? Третий раз крикнул чибис за стеной, крикнул явственно, совсем близко. Минута полной тишины тянулась невыносимо долго, потом за стеной что-то зашуршало, послышались осторожные шаги. Снова тишина. Наконец из-за угла вышел кто-то и направился за корчму. Яну показалось, что это хозяин. Эге, да он вовсе не так слеп, как кажется. Яну стало здорово не по себе. А крик чибиса повторился снова, жалобный, тоскливый, зовущий.

«Живы ли? — спрашивал он. — Живы ли?» — «Живы ли?» — ответил чибис за стеной сарая.

Опять минута молчания. Потом раздался голос:

— Спит ли земля?

— Земля не спит, — ответил голос хозяина.

— Спокоен ли лесной костер?

— Деревья уже занялись, — вдруг небывалым металлом прозвучал голос хозяина.

— Глуха ли ночь над болотами?

— Заря разольет скоро над ними пожар.

— Что делают люди?

— Чибис спрашивает об этом.
— Где оно было?
— В крепких руках.
— Где оно сейчас?
— Его сейчас нет.
— Что будет дальше?
— Он, она и оно сойдут в мир.

В кустах за стеной что-то зашелестело, было видно, что спрашивающий и отвечающий сблизились.

— У тебя можно?
— Можно, но не в хате.
— А что такое?
— Там спит какой-то проезжий.
— А что?
— Одет богато.
— С охраной?
— Один.
— Где же мы тогда?
— Ничего, брат, мы устроимся.

Разговор затих, видно, было выяснено все, что интересовало обе стороны. Тишина тянулась мучительно долго, потом снова крикнул чибис с болота, и от сарая ему ответили два возгласа. Послышался легкий шорох — с болота шли, и видимо, большой компанией. У Яна затрепетало сердце, когда две стороны сошлись и один из прибывших тихо и певуче заговорил речитативом:

«О поле, зеленое поле, зачем покрыл тебя закат народа моего. Потоптана, потоптана рожь, кровью всходит посев, не отплачен, не отплачен позор восьми. Девятый, девятый. Человек, человек на распутье. Кровь и вороны. Беду сулит из чащи, беду, беду. Человек на распутье кричит: есть тут жив человек, есть ли? Огоньки в осоке, огоньки. Ночь болот. Девятый, гряди. У каждой двери чибис кричит: живы ли? О поле, зеленое поле».

Речитатив закончился так же внезапно, как и начался, и опять стало тихо. Откуда-то появился и поплыл в воздухе светлой точкой огонек, но он тут же исчез, и сразу где-то невдалеке от Яна разлилось ровное сиянье.

На сене стало светлее, можно было различить собственную руку и даже белизну рядна. Яна мучил противный, самый обыкновенный страх, но уже рождалось в глубине души острое любопытство и интерес к происходящему. Он осторожно, стараясь не шуршать, отполз на пару шагов и чуть не вскрикнул, едва удержавшись от падения вниз, прямо к горящему свету. Крытый двор был забит сеном не весь, на том конце, где сидел Ян, была совершенно свободная часть сарая. Стог отгораживал этот большой и длинный прямоугольник от остального двора и делал происходящее совершенно невидимым со стороны корчмы. В этом помещении с гладко выбитым земляным полом происходила странная церемония. Оно было тускло освещено двумя свечами, и у горшка с горящими углями сидело несколько фигур в белом с берестяными масками на лицах. Один из присутствующих, очень высокий и костлявый, воткнул в угли хворостину, по ней побежали тонкие язычки пламени, а на самом конце ее распустился алый и яркий цветок огня. Стало светлее, и теперь уже можно было рассмотреть всех присутствующих. Фигуры, их было 12, сидели кружком вокруг огня и производили какие-то странные телодвижения. Они были в белых штанах и рубахах, на правом плече у всех были заметны какие-то темные пятна, но что это, Ян мог различить только у одного, сидевшего в самом ярком потоке огня. На плече его виднелось изображение какого-то горбатого животного: не то вепря, не то зубра. Оружия при них не было никакого, только давешний костлявый держал в руке

что-то вроде грубо обструганной палки. Все, за исключением одного чернявого, имели длинные волосы, падавшие на плечи; челюсти и все, что не было скрыто под маской, выглядело мужественным и твердым, глаза блестели в прорезях бересты настороженно. Берестяные маски закрывали всю верхнюю часть лица и подбородок, оставляя свободными уши, щеки и часть скул. Грубо размалеванные красной, черной и желтой краской, эти маски были так страшны, так детски глупы и наивны, что Ян едва не расхохотался, но сдержался, представив себе, что за котлету он из себя будет представлять, и справедливо усомнившись в целесообразности такого рода изъявления собственных чувств. Люди между тем что-то делали, и Ян не сразу догадался, что это такое. Предварительно примерившись, они бросали через плечо длинные ножи, вынутые из рукава, и те втыкались в наклонную балку, подпиравшую стену сарая. Это делалось чертовски ловко, несмотря на трудность такой операции. После этого черный встал, обвел все ножи белой меловой чертой.

— Они — в одной черте, мы — в одной цели.

— Аминь, — подтвердило одиннадцать голосов.

Откуда-то из темной дыры вылез тринадцатый, у которого из-под маски выбивались темные пряди бороды.

— Ну, как там?

— Все спокойно, я оставил сторожить Старика и Длинноносого. Можно начинать! Что у нас на очереди сегодня?

— Дело Фогта и еще несколько других.

— Давно пора, — отозвался кто-то из угла нежным, почти девичьим голосом.

— Помолчите немного, — тихо сказала костлявый, — и вообще не говорите громко. Если тебе, самому молодому, нипочем собственная шкура, то побеспокойся хотя бы о судьбе своего дела. Сам должен знать, что они, дай им ухватиться за конец нити, распутают весь клубок. Или тебе охота кормить собой ворон? Мне это удовольствие не по душе. И вообще хватит. — Костлявый замолк, и так как получивший нахлобучку молчал, продолжил свою речь: — Братья. С незапамятных часов собираемся мы, лесовики, по выспам, по корчмам, по хуторам лесным. Теперь другие времена, и сидеть нам в норе осталось недолго. Но работу нашу прекращать нельзя. Надо драться еще смелее. Я слышал, что в Боровине видели Девятого Яна. Его видели многие и в разных концах страны. В Быковой Елине он появился на базаре в тряпье, но глаза его блестели. Он взял сверток, развернул его, и все увидели золотое знамя с черным всадником. Стражники бросились к нему, но он держал знамя так высоко, что видели все, а потом нырнул в толпу, и она скрыла его. Также видели его на тракте в Березово. Он ехал на черном коне, и лицо его было бледно, когда он смотрел на наши страдания. Потом он появился еще ближе, на охотничьей тропе, ведущей к Зубру. Он был в охотничьем костюме, и сокол сидел у него на плече, и шпага была за поясом. Он был богато одет, но ноги его были босые и оставляли в пыли следы. Скоро он будет у нас и скажет, что делать дальше. Остается еще один вопрос: ждать ли нам его прихода или продолжать наше дело. Я вижу ваши лица и понимаю вас. Мы не будем ждать, пока придет Девятый. Сейчас у нас есть готовая к драке каждую минуту армия в десять тысяч бойцов. Из них с оружием половина, а другая добудет его в драке. Стойкие парни шпионят в самом Свайнвессене, и многие из них смогут нам помочь. У нас есть теперь и деньги, правда, очень и очень мало.

— А я считаю, что выступать рано, нас раздавят. Надо по-прежнему жечь и резать, — отозвался чернобородый, медвежковатый мужчина. — Я много раз видел выступления, и всех их давили, а неразумных, которые подбивали, жгли в Быковой Елине и вешали по всему тракту, как кроликов в волосяной петле.

Костлявый взметнулся так, что пламя свечи заколебалось, и выкрикнул запальчиво:

— Лукач, молчи! Я моложе тебя, но вон сидит старый Павлин. Он видел наши сборища семьдесят лет назад, и он знает, что в том, что нас вешали, виноваты были нерешительные люди, действовавшие вяло. Но я говорю тебе, Лукач, что пока я атаман, среди моих людей места колебаниям нет и не будет. Любого, кто переступит через волю боровинского люда, я казню, не дожидаясь, пока это сделают вешатели. И не возражай, Лукач. Если бы ты не был хорошим парнем, я бы тебе этих слов не простил. Стыдно воину держаться за юбку и стонать, что оставил родной дом.

— А я все же… — попытался вставить Лукач.

— Не перебивай. Если мы будем только защищаться — нас прижмут так, что не пискнем. У тебя, Лукач, крепкий дом, хорошее ружье, красавица жена и здоровые дети. Ты живешь дальше нас от их лап, но учти, что если они передушат нас, то возьмутся и за тебя, и защищать тебя будет некому. Тебя убьют, в дом твой вселится враг, твою жену изнасилуют, дети твои будут носить воду на кухню магната, а твою Машеньку, которой сейчас шестнадцать лет и на которой хочет жениться Николай, отправят в дом терпимости в Свайнвессен. Сила в единении, Лукач. И поэтому Боровина выступит не одна. Ей помогут горняки Збора, фабричные центральной части, горцы Каменины, охотники степей. Сигнал будет подан, когда явится вождь. А пока усилим нападения. Ведь мы — мстители, мы — совет всей Боровины. Не забывай, что ты здесь не Лукач, а представитель дальних починков. Сегодня я пошлю тебя на опасное дело не потому, что зол на тебя, а потому что ты сильный и храбрый малый и у тебя на ложе твоего ружья сорок зарубок по числу медведей и двадцать крестиков по числу убитых вешателей. Первое наше дело: Фогт и его войты Хадыка и Майковский в двух маентках. Кто оттуда?

— Я, — отозвался кто-то худой как жердь и двинулся к костру. — Братья, не могу, защитите вы нас, шкура горит (он рванул рубашку вверх, обнажив синие рубцы на спине). Не можно больше, портки сгнили на заднице. Фогт баб портит, Хадыка плетками лупит, Майковский зерно забрал. Есть нечего. Да вы слепы, что ли? Эх, ружье бы!

— Не кричи, — заметил костлявый, — говори связно, бедолага.

— Ну вот, — продолжал худой. — Знаю, везде такое творится, и не хочется, не хочется мне, братья, лишний раз прибегать к совету всей земли. Но не можно больше. Вас, лесные братья, прошу, к вам в опасности прибегаю, у вас одних защита, милостивый народ. Нерва подарил Фогту наши земли, он приехал, построил воронье гнездо, заставил нас дорогу к нему сделать. Гоняет на работы, издевается. Пять дней ему, гаду, работай. Недавно новое выдумал: больных баб буду освобождать, будут работать день в неделю, не больше. Тащат со всей веси баб и девок. У него сидит компания, «дружки»-подпевалы. И девок, баб наших, раздетых… Смотрят, регочут, ржут. Трое наших за колья. Гнат там есть, подпевала подлый. Подручного его убили, а он все равно… Болен он пакостно, и Христина, девка была, как маков цвет, — повесилась потом. Убить его хотели, но взяли наших, мучили, в железа заковали, завтра в Быкову повезут. Нет больше силы терпеть, честной ты мой народ. Хлеб отняли, детишки пухнут. Защитите, защитите, ради бога, не то хоть в петлю.

— Хватит, — перебил костлявый, — ясное дело, братья?

— Ясно, — отозвались голоса.

— Теперь будем думать, что делать.

— Нечего думать, — ответил Лукач, — этой же ночью отомстить, и крышка. Подпалить воронье гнездо, а супостатов казнить лютой смертью, чтоб не повадно было.

— Сегодня и удобно, — перебил его крестьянин, — половины охраны нет, а вторую снимем. Изнутри нам Хвесько ворота откроет.

Лесовики заговорили о чем-то между собой, но так тихо, что Ян ничего не слышал. Минут через пять, очевидно, все было решено, потому что костлявый поднялся и, протянув руки к огню, сказал тихо, отчетливо:

— Огнем очищаемся, огнем живем. Огнем караем. Да свершится суд праведный. Кто за казнь этим трем? Ты, старейший?

— Смерть, — проговорил старческий голос.

— Ты, Вепрь?

— Смерть, — пробасил Вепрь.

— Ты?

— Смерть.

— Ты, Лукач?

— Смерть, — небрежно бросил Лукач.

— Ты.

— Смерть.

— Смерть.

— Смерть, — повторило еще несколько голосов.

— Ты, самый младший?

— Смерть, — срывающимся голосом выкрикнул Николай, — и разрешите мне убить Фогта, очень прошу, пожалуйста.

— Хорошо, — согласился костлявый. — Я тоже иду на это, будем вместе. Я тоже стою за смерть. В случае моей гибели будет распоряжаться Лукач. Ночь на исходе, друзья. Потом соберемся и обсудим остальное. Пружина сжимается медленно, но ударяет быстро. Действуем. О следующем сборе оповестит чибис.

— Хозяин, — спросил Лукач, — а нельзя ли пощупать этого приезжего?

— Ну нет, — возмутился корчмарь, — это ты, Лукач, оставь. Если бы это не совет — я надавал бы тебе по шее. Он мой гость, и взять его — дудки.

— Да ну, я пошутил, — принужденно засмеялся Лукач, — он хоть спит?

— После окончания проверю, — сказал корчмарь.

Яна бросило в холодный пот от предложения Лукача, а от ответа хозяина стало совсем холодно на душе, и он начал осторожно пробираться к выходу, захватив подушку и рядно. Когда соскальзывал со стога, голос с другой его стороны, нежный и проникновенный, запричитал снова красивым и трогательным речитативом:

«О поле, зеленое поле, зачем покрыл тебя закат народа моего. Потоптана, потоптана рожь, кровью всходит посев, кровью и ножами. Огонь, огнем займется земля. Есть живые люди, есть. Местью красится земля, местью. О поле, зеленое поле».

Ян уже не слышал конца. Тщательно отряхнув с себя сено, он направился в пристройку, стараясь ступать бесшумно. Через минуту он уже лежал на сене в пристройке и старательно притворялся спящим. Кто-то открыл дверь, посмотрел в темноту и снова закрыл. Шаги и тихий голос: «Дрыхнет». Последнее, что Ян услышал, был тревожный крик чибиса и легкий шелест множества босых ног по траве.

* * *

Ян поднялся, когда уже начинало светать, позвал хозяина и, заплатив ему с лихвой, вывел из-под навеса Струнку. Хозяин, снова полуслепой и заспанный на вид, вдруг спросил его хриплым голосом:

— А чего это вы один едете бог знает куда? В такое время люди богатые по домам сидят.

Ян знал теперь, кто такой корчмарь, и ответил с деланой беззаботностью:

— Мне теперь, батя, дорога домой надолго заказана, а появлюсь я там, так меня, как леща, вывесят на солнце вялиться.

— А в чем дело?

— Травят меня, отец. Я убил дворянина. Слыхал, может, такого Гая Рингенау. Вот его самого. Я его смертельно ранил, и он теперь уже, наверное, отправился к Абраму на пиво.

— А за что вы его?

— Я славянин, а он меня оскорбляет, будто я нелюдь.

— А далеко едете?

— Нет. Слыхал, может, лесника Яромира в Збашовицком урочище. Вот туда. Оттуда меня хрен выкопаешь. А я натворил по дороге фокусов: у Замойских управляющего высек и еще кое-что устроил. — Тут Ян подумал, что откровенность его может показаться корчмарю странной, и добавил: — Но ты смотри… язык за зубами, а не то, — и он выразительно похлопал рукой по пистолету.

— Хвилинку, — сказал вдруг корчмарь, — я сейчас. — И он пошел в сарай, где спал босой хлопец. Он разбудил его и сказал внушительно:

— Слушай, хлопец, этот пан наш, скачи по дороге в Збашовицу, и быстрее, а там предупреди наших, чтобы они его не трогали, а то я им ноги повыдеру из одного места. И пусть сопровождают к Яромиру, да так, чтобы волосок с головы у него не упал. А если он к Яромиру не поедет, то пусть возьмут, обманщик он, значит. Ну, валяй, да вылезай через второй лаз, — и он дружески шлепнул хлопца по заду.

Ян уже потерял терпение, когда хозяин снова появился перед ним и взял коня за повод.

Вот и снова белеет тропинка. Хозяин указал дорогу с мельчайшими подробностями и собрался уже идти, как вдруг Ян заметил над лесом на западе кровавый отблеск зарева.

— Это что? — спросил он самым невинным тоном.

— Где? Ах, это? Подождите, что ж это такое? Горит, никак, что-то. Где же это полыхает? Не иначе как у Фогта, его маенток в той стороне. Напились, видать, безобразили, и вот он, пожар. Да, с огнем не шути, — и он направился в корчму.

«Ах ты лиса», — подумал Ян и тронул коня. Выехал из леса на взлобок, он увидел вдали огромный костер, полыхавший необычайно ярко. Где-то пылало имение, и Ян понял, что лесовики осуществили свой план. «Храбрые ребята, — подумал он с невольным уважением, глядя на зарево, охватившее полнеба, покрытого густым одеялом серых туч, — смелые сердца».

Ветер дул ему навстречу, и отблеск пожара ложился на внезапно посуровевшее от многих испытаний лицо.

Пожар разгорался все сильнее. Над миром, над прорвами болот, освещая их вековую тьму, горело багровое зарево.

Четырнадцатая глава

Малиновые шторы и мерный бой часов в соседней зале. Полотенце на голове мокрое и горячее. Ах, смерть, смертушка, черт бы тебя подрал. Страшно умирать. В комнате Гая Рингенау полутемно, его длинное тело распростерто на огромном диване, у кровати Штиппер, зеленый от волнения и злости. Этот Рингенау не отпускает его от себя ни на шаг, он, видно, умирает, хрипит, кровь почему-то все течет, остановить ее нет никакой возможности. Дохлое дело. Ищут лекаря взамен

него, как будто он ничем не жертвует ради этого дылды, который и молокососа не смог укокошить сегодня утром. Он даже не курил два часа. Но когда хочет выйти, этот оболтус цепляется за его руку как за жизнь и смотрит умоляющими глазами. Ах, каналья. И до чего же он живуч, другой на его месте давно бы испустил дух, а этот проживет еще, пожалуй, до завтрашнего утра, и значит, опять бессонная ночь, значит, опять волнения. Он уселся глубже в кресло у изголовья больного и с наслаждением подумал о том, что Рингенау так слаб, что сидеть при нем недолго придется. За окнами полыхал алый закат, точно кровью мазнули по краю неба. Жалко все же этого парня, что это он так страшно хрипит. Штиппер оглянулся, раненый смотрел на него широко открытыми глазами. Лицо его было перекошено. Наконец он преодолел что-то, колом стоящее в горле, и начал говорить с бульканьем, как будто из бутылки с узким горлышком лилась по капле вода:

— Штиппер... послушай-ка... мне надо сказать. Я был свиньей, что придрался к этому храброму парню. Я... вообще... не имел права... на женщину. Меня лечил Морган... и обещал залечить... но это не так просто, наверное (он начал булькать сильнее). Кто бы мог думать, что та блондинка, помнишь, из Айзеланда. Ох, если бы жить, я бы все исправил... хлопотал бы за этого парня. Я не пил с вами из одного стакана, не жал руки, а вы меня за это гордецом считали... и... И я полез к ней... Это может плохо кончиться, но ты... как врач... держи тайну... А тот парнишка... он совсем чистый... он-то уж никогда... не ходил... а этот содом... (он, видно, начинал забываться). У него... губы нецелованные и он, наверное, никогда не нюхал... что такое женщина. Черт, а я-то смотрел на нее, как на сточную яму. Ох, если б жить...

— Ну, расстонался, — оборвал его Штиппер, — мы еще поживем, черт побери. А то, что ты шел к этой Замойской, так к кому же тебе идти, не к своей же соотечественнице.

— Молчи, — истерически выкрикнул умирающий, — я свинья, я подлец, я... развратничал, пил, порол... О-о-о-о, о-о-о-о...

— Вот еще...

— Попа, — вдруг выкрикнул Гай, — к-к-каять-ся!

— Да ты же и в церковь не...

— Попа, скорее. М-мучитель ты.

— Сейчас, сейчас, за ним уже послали.

Гай откинулся на подушки и затих. Штиппер со смешанным чувством ужаса и любопытства наблюдал, как пот выступил у него на лице и заострился нос. «Еще полчаса, — отметил он, — и будет гиппократова маска, а там и конец. Здорово саданул его этот юнец».

Солнечные лучи, пробиваясь сквозь листву, бегали по лицу умирающего. Он смотрел на них, закатывая глаза. Чтобы удобнее смотреть, достаточно поправить подушку, но доктору было лень, да и… незачем. Ему было страшно наблюдать превращение полного жизни человека в труп. Он затих.

Солнечный луч снова пробежал по лицу умирающего. В тишине комнаты ощущалось веяние крыл близкой смерти. Глаза Гая были закрыты, и две слезы бежали по щекам.

«Он все же мужественно переносит все, — отметил Штиппер, — я бы так не смог». Он представил себя в таком положении, и ему стало так жаль этого воображаемого умирающего, что он заплакал — видно, нервы, привыкшие к смерти и страданиям, были слишком напряжены.

— Ч-тто это, — с натугой проскрипел Гай.

Штиппер увидел, что тот открыл глаза и смотрел на него.

— Н-не плачь, не надо. Я видел уже сейчас тот свет. Серьезно. Я никогда этого не забуду.

Штиппера позвали, и, уходя, он чувствовал на спине взгляд Рингенау, умоляющий, как у оставленной под дождем собаки, искалеченной телегой. Штиппер вышел. В соседней комнате стоял барон Рингенау, жена его Гудель, мать Гая, высокий человек в черном, похожий на патера.

— Доктор, это сборщик налогов, и он привез из осиновских починков знахаря. Может, попробуем?

— Можете, — холодно сказал Штиппер, — мне все равно.

— Да вы не обижайтесь, — сказал сборщик, — знаете, они творят штуки, до которых мы еще не додумались.

— Гм, — скептически хмыкнул лекарь, — вряд ли эта хваленая медицина народа может нам что-нибудь дать нового. Впрочем, попробуйте. Я умываю руки.

Лекарь вышел, притворив за собой дверь. Сборщик налогов, доставивший его, Штиппер, отец и мать Гая ждали, вытянув шеи. Лекарь, мягко ступая кожаными лаптями, остановился посреди комнаты, угрюмо блистая глазами из-под седых бровей. Коробка с травами висела у него через плечо, посох снова был в руке, он, видимо, собирался в свой дальний путь.

Посреди зала его остановила встревоженная Гудель фон Рингенау.

— Ну как? Что? Скажите же скорее.

— Да чего тут говорить, — грубо ответил лекарь. — Коль не помрет, так будет жить. Раны не торкайте, не развязывайте, пока не пройдет, траву эту давайте пить, а я тут уже не надобен, тут уж вашей выучки люди смогут справиться. А вы, — обратился он к сборщику налогов, — обещанное исполните, снимите долги с нашего починка. Большей мне награды не надобно.

Сборщик засмеялся мелким смешком:

— Ну, милый, это ты уж чрезмерно. За полчаса работы снять сорок золотых. Получи вот, — серебряная монетка мелькнула в воздухе и покатилась под ноги старику. Он не поднял ее, а наступил на нее лаптем и взглянул сборщику в глаза своими ореховыми глазами. Теперь было понятно, почему у него «дурной глаз». Трепет брал при одной мысли, что в них можно заглянуть: тяжелые, маловыразительные, но бездонные, как болото. Он помолчал минуту и потом сказал хрипло:

— Я тоже силу маю. Сказал, чтоб не брызгала, не капала кровь, — не течет она больше. Другое слово скажу — потечет сильнее прежнего, и к полуночи вам его обмывать придется. Для этого мне ему в глаза смотреть не надо. Смотрите, чтоб хуже не было.

— Ах, ты угрожать, — пробасил сборщик, однако, заметно струсив, но тут его перебила сама баронесса:

— Ах, да возьмите же вы у меня эти деньги. Боже мой.

— Ладно, иди, — холодно сказал сборщик, — будет снято.

— Расписку, — повторил лекарь тоном стреляного воробья.

Расписка была написана и получена, и ведун ушел, мягко ступая лаптями. В комнате воцарилась тишина — все были неприятно поражены грубостью хама.

Никто не надеялся, что Гай выживет, однако то ли помог заговор и гипноз, то ли травы, но через неделю он уже сидел, через две вышел в парк, через месяц последняя повязка была снята, и Гай сразу же отправился в полк, а оттуда на бал к Замойским. Самодовольство вернулось к нему.

У стенки

Слышать с младенчества те же напевы:
Слышать, как плачут и старцы и девы,
Как неприютно и тягостно всем,
Лучше не слышать совсем.

Все было кончено. Разгромленные полки «рушэння» в беспорядке бежали в лес, обещавший спасение. На поле боя, истоптанном копытами, тонущем в липкой грязи, политом кровью, лишь кое-где стонали раненые. Черное, с былинками травы, смятыми и пожелтевшими, оно было усеяно телами мертвых — врагов и повстанцев. Последние, в своих белых одеждах, со спутанными русыми волосами, были почти погребены среди первых, а их оружие — они и теперь сжимали его в руках, не желая отдавать — все эти топоры, дубины, косы и старинные охотничьи ружья. Конец. От сожженной деревушки с каплицей на южном конце поля, от разбитых орудий, от сожженных кустарника и травы, от горящих копен сена поднимался удушливый едкий дымок, полз к нему и соединялся там с низко летящими обрывками низких серых туч.

Все было пропитано этим дымом, даже тополя за серой каменной оградой сельского кладбища — даже они пахли дымом, колючим и едким, как позор этого поля. Тишина на нем нарушалась только визгом коней, бьющихся в крови возле разбитых зарядных ящиков и скошенной прислуги, да там, за кладбищем, на берегу тихой речонки горели огни и царило оживление в лагере победителей.

Все было кончено. Люди, восставшие, чтобы добыть себе лучик света, были отброшены опять в свои гнилые хаты, похожие на хлев для скотины, к своим дымным лучинам, к своему рабьему, лошадиному труду, к девичьим слезам по ночам в подушку, к сжатым кулакам мужчин.

Все было кончено. Тучи, грозящие дождиком и холодным ветром, — трупы, трупы и разрушение, разрушение, кровь и грязь кругом. И только березы и тополя у кладбищенской ограды посылали свою всепрощающую улыбку смерти, царившей вокруг. Гринкевич смотрел на них, на их серебристую кору, не замечая, казалось, ничего вокруг: ни цепи людей в отдалении от себя, ни своих рук, скрученных веревками, ни ноющей боли в этой проклятой ноге, которая подвела его в самый решительный момент, ни руки, которая висела как плеть, ни двух конвойных, придерживающих его за руки.

Как будто он мог убежать сейчас, как будто его раненая рука могла держать саблю. Чудаки. Он не замечал также стола, за которым сидели члены трибунала, сытые, полные сознанием своей победы и счастья тела, вышедшие без урона из огня. Он пока стоял в стороне, к столу двигалась только цепочка серых, одетых в рвань людей, израненных, измученных, но спокойных. Суд был короток, несколько вопросов, процеженных сквозь зубы, и очередного уводили в сторону солдаты. Там, на другом конце кладбища, был их конец — ветка, согнувшаяся под тяжестью тела, намыленная веревка, похожая на гадюку, и остекленевшие очи, направленные в серые просторы низкого родного неба. Гринкевич был как во сне — весь фокус его наблюдений сосредоточился на этих березах, милых, родных деревьях под серым небом. Он вспоминал: там, в прошлом, далеком, на берегу светлой реки, в майской березовой чаще, он в первый раз поцеловал ту, которая стала потом его женой. Она и сама была похожа на березку, чистая, серебряная. Она была хорошей женой — никогда не выказывала ему своего неудовольствия, когда он, сильный и нежный мужчина, отдавал избыток своих ласк Родине, часто даже лишая их ее. Она не плакала, когда он ушел в «рушэнне», когда уже ясно было, что оно обречено, когда он спасал Калиновского,

рискуя жизнью, когда ушел в этот последний отряд, уже лишенный вождя, а теперь наполовину перебитый, или как зверь скитался в лесу, и вот уже стоял перед лицом «вешателей» в мундирах, шитых золотом, с блестящими эполетами на плечах. Она была мудра той мудростью, которую дает любовь. Как он истосковался по ее милым глубоким серым глазам — знает одна только бивачная земля на многочисленных привалах. Но — конец. Он умрет, это ясно как божий день, и теперь только нужно постараться не умереть, как животное, как заяц, который плачет и бьется, когда пуля попадает в него. А может быть, его повесят, — что ж, и это неплохо. Березонька расстелет над ним свои косы, его родная береза, улыбка его жены. Каким-то неведомым путем внимание его переключилось на допрос. Хлопцы смотрели на него ищущими глазами, и когда он обратил к ним свое лицо с запекшимися в крови волосами и ободрительно кивнул — они сразу подняли головы. Они любили его. А он окидывал лихорадочно блестевшими глазами свое готовое гордо умереть войско. Вон они, гордые, непреклонные, с черными, как земля, руками и лицами и такими светлыми душами. И он негромко сказал им: «Мужайтесь, ребята. Нужно показать этим свиньям, что мы не хамы и не быдло, а люди, которые могут жить, драться и умирать». Горло его перехватило, он даже не мог пожать им руки — хотя бы левой, здоровой рукой. Вот подводят к столу парня, тихого, и видно, здорово забитого при жизни. Он молчит, его натруженные руки не связаны, фаланги пальцев раздавлены — это по нему, когда он, падая, обнял землю, землю-мать, горькую и родную, проехала пушка. Обычный хлебороб-полешук.

Вопрос. Он звучит хрипло — даже краткое правосудие вершить трудно. Парень отвечает с достоинством, но так подавленно, так безразлично. Ему очень хочется жить. И только когда слышит традиционное «холоп», его лицо гордо кривится. «Не, я не хлоп. Дзякуй богу, дыхнуў я, хоць на міг сапраўднага паветра. І каб яшчэ раз прыйшлося жыць мне — я зноў так бы зрабіў, каб хоць разок дыхнуць ім — добрае паветра. Вам ім ня дыхаць. Яно маё. А хлопы — гэта вы перад тварам цара зямнога. Хопіць. Я больш не адказваю».

Устало машет рукой офицер: «Вздернуть». И тогда парень с какой-то удивленной маской на лице говорит: «Вось і паміраць. А між тым, я за сваё жыццё яшчэ ні аднаго разу не пад’еў досыта. Але ж затое я паветрам дыхаў».

Его уводят прочь. Прощай, скромный воин, серый герой, незаметный человек родной земли. Тает цепочка ребят, и недалек их путь — сотня шагов. И Гринкевич кричит им, тотчас же прерванный ударом по перебитой руке: «Прощайте, товарищи, быть вам в раю за спаленные маентки, я вас тоже скоро догоню — не горюйте!» И конец. Последняя фигура исчезает в чаще. Оборачивается на минуту и кричит: «Смялей, сябра. Ты ж з намі нават зараз!» Удар сваливает его с ног — с ним не стесняются, ведь он не шляхтич, как Гринкевич, а холоп. Так это подло, мерзко и противно. Теперь его очередь. Нужно идти к столу, а с больной ногой это так тяжело. Шаг. Еще шаг. С каждым шагом ближе к смерти. Наглое лицо офицера с красивыми каштановыми бакенбардами и пушистыми усами. Оно смеется. Нужно стоять твердо… тверже других. Боже, как дрожат колени — не от страха, нет, а от липкой крови, которая от движения опять потекла вниз, омывая ногу. И словно из другого мира доносится густой, как сироп, голос офицера:

— Ваша фамилия?

— Гринкевич.

Офицер обращается к офицеру слева и берет у него из рук лист бумаги. Вдруг он почему-то раздвоился — у него две головы. Смешно. Тошнота подступает к горлу. Только бы не упасть — сочтут за слабость и…

— Подайте ему кресло.

Сесть, вот его несут откуда-то. Не все ли равно, что на нем кровь и отрубленная голова жены шепчет что-то. Нет, это просто кошмар. Сесть. О, как хорошо. И опять мука.

— Итак, Гринкевич. Из поместья Дубки. Вы видите, мы избавляем вас от труда отвечать на вопросы. Как же вы, представитель пятисотлетнего дворянства, чей прародитель погиб под Грюнвальдом, шляхтич до мозга костей, пошли с быдлом, как верно зовут этих холопов поляки, как вы могли оскорбить светлые тени ваших предков, вашего предка воина, рыцаря, аристократа?

Звенит в голове. Нет, надо собраться с силами, отвечать, стиснув зубы, и говорить:

— Замолчите и не ворошите своим языком, как навозной лопатой, прах моего предка — он был хорошим человеком, не чета вам, иудам.

— Подождите, вы разгорячены. Скажите лучше, как вы, человек панских привычек, могли жать руки этим грязным скотам?

— Вам я не пожал бы, будьте уверены в этом. Вы все, случись другое, умирали бы не так, как эти люди. Люди, слышите вы это, червяки!

— Вы изменник своего рода, шляхтич Гринкевич.

— А знаете ли вы, господа, что я стыжусь своего звания, когда вижу, что и вы, грязное отродье, носите его. Хватит, я буду говорить другим языком, языком Калиновского на виселице. Вы назвали меня шляхтичем. Ложь. У нас нет шляхты, у нас равны все. Одна кровь течет у нас в жилах, на одной земле мы родились, и умрем мы одинаково — это простые люди, и я, только сейчас понявший, какое высокое звание — простой человек.

— А интересно, поступили бы вы со мной так, как я с вами, раненым, дав вам возможность сидеть?

— Нет, я бы сразу повесил вас, слышите, повесил, а не расстрелял, хотя и веревка теперь освящена этими простыми мучениками. А с кресла я встану — мне оно не нужно, раз вы думаете обратить его себе в лишнюю добродетель для загробной жизни. Не выйдет.

Встал, стоя еще трудней. Опять кровь потекла по ноге. Но стоя успел бросить еще несколько колючих слов.

— Висеть и вам на осине. Шлюхи вы в золотых мундирах, и больше ничего.

Офицер склонился над столом. Изжога мучила его. Нужно кончать, лечь и попытаться заснуть. Конечно, не просто казнить человека с 500-летним дворянством, но ведь он бунтовщик. Можно было бы, конечно, отвезти его в Вильно. Но нет. Черт с ней, с древностью рода. Потом отвечать, а сейчас — фу, как мерзко после вчерашней попойки, изжога, натекает слюна во рту. И главное, этот бунтарь стоит гордо, хотя и потерял уже человеческий облик, и смотрит на тебя сухими глазами так, как смотрят на белый живот убитой лягушки — с отвращением, но даже без злости, ведь на скотину нельзя сердиться. Ах, мерзко. Кончать надо. И он махнул рукой. Гринкевич не помнил, как он очутился у серой кладбищенской стены. Он был уже только в одной белой рубашке, заправленной в штаны, руки развязаны. Хорошо бы расправить их. Солдаты смотрят на него с сожалением. Бедные ребята, сухой их хлеб и горький. «Эй, хлопцы, ну-ка снимите сапоги. Оставьте себе от чистого сердца или отнесите вашему холую-офицеру, он с этого свой хлеб ест». Замялись. Крикнуть, что ли, чтоб не были дурнями. Нет, не надо. Голова, к удивлению, совершенно чиста, очевидно, нервы напряжены до крайности. Ну, а теперь просто, без бравады. Конец, тяжело все-таки, и плохо, что расстрел. Это проклятие шляхтича даже теперь оторвало его от товарищей, как отрывало когда-то на первых порах. Встать. Выпрямиться. Подносят повязку:

«Не надо, ребята, завяжите глаза своему выродку, когда будете расстреливать его, — он-то побоится взглянуть в черные дырки ружей. Сделайте одолжение в последний раз взглянуть на свое небо. Вы свое, наверное, увидите».

Страшно все-таки умирать. Ведь ничего не будешь чувствовать, не будешь видеть родного лица жены. Чистая моя, дорогая женщина, которую он от любви так долго не мог взять. Ясонька моя, как-то ты примешь мой конец, должно быть, гордо, только прости меня за то, что я не остался с тобой тогда, что я, торопясь к товарищам, не так нежно поцеловал тебя в последний раз. В этом поцелуе было больше нежности, чем в сотне других. Прости меня, моя любовь, за то, что я разбил тебе сердце. Я не мог иначе. Я не мог бы жить, чувствовал бы себя подло, глядя в глаза моему народу, перестал бы любить себя, и тогда наша любовь имела бы более печальный конец, чем сейчас. Как все-таки хорошо любить себя и знать, что любишь не напрасно! И как хорошо больше всего на свете любить тебя, нежную, сильную женщину.

«Цельтесь лучше, хлопцы, избавьте меня от лишних мучений».

Штыки как точки блестящие. Интересно. Ожгло грудь, но он устоял, и как видение возник перед ним офицер с пушистыми усами, выстреливший в него из пистолета. Попал в живот. Боль, какая боль... «Слушай, ты, душа продажной девки под мундиром. Если взялся стрелять, то стреляй толком. Когда мы будем расстреливать тебя, сделаем это проворнее, не будем долго мучить тебя, гуманист».

Еще залп, мир завертелся. Завеса окутывает его со всех сторон. Конец. Черная пустота вокруг.

* * *

Странно, почему это так тихо, так темно вокруг, и тишина, звеня, вливается тебе в уши, как вода в кувшин. Что-то страшное, тяжелое и легкое навалилось, обволокло со всех сторон и красными губами тянется к сердцу. Ах, как это можно не догадаться сразу. Ночь над землей. Понятно, после этого боя над Родиной ночь. Беларусь, родная моя земля. Как люди хотят счастья. А я плачу, мне ничего не нужно, только капельку счастья для тебя, моя милая. Какой туман, какой мрак. И это страшное… Душит. Это он, там, во дворце, не то офицер, не то кто-то еще выше, но с его душой.

«Великия и малыя и белыя… белыя. Врешь. Черной стала от тебя наша земля, одна душа белая осталась, но она тебе не подвластна. Душит… Задыхается во тьме человек, и кругом ложь, ложь, ложь. Как тяжело жить людям… Кровь… кровь и навоз в душе… и никто не плачет над пожарищем… В душу… плюнули. Нельзя жить… Нельзя. А мир смеется, как клоун… а на душе за румянами темно. Иуды… Продан мир, холод, холодно на душе. И разноцветные круги перед глазами… Ду-у-у-шно. Друзья, любимая моя, светлая головка. Душно. Мрак.

Но воздух врывается в грудь. Кажется, жив. Солдаты не попали точно. Только ранили, глупцы. Но разве это важно, если изранено сердце. А сердцу конец. Нет, еще не конец. Жить, жить, стиснуть зубы и грызть глотки врагам, хоть еще раз погулять на воле, пока не повесят, поджечь десяток маентков. Жить. Руки действуют, и перебитая, как ни удивительно, перестала болеть. Какая черная ночь, как одиноко блестят в вышине звезды, как тревожно шумят деревья. Выползти. Кровь течет, но можно. Вот арка. Вот короткий спуск вниз. К реке… она не оставит следов крови. Вода. Какая светлая, голубая, теплая, как парное молоко. Несет. Ниже, верст через пять старинный

парк и домик с белыми колоннами, и там… она… она. Черная вода. Погрузился, звон в ушах, фосфорические зеленые тела сплелись вокруг, смотрят мерзкими глазами… нет, ушами. Темно. На уши давит меньше — очевидно, он выплывает на поверхность. Да, вот и наверху. Журчит вода… как ласково, как хорошо, журчит, ласкает, смеются звезды в вышине. Милый, родной, несчастный край. Тощие осинки, березки, дрожащие под порывами холодного ветра. Люди, как много вынесли ваши спины, ваши черные руки, как много заставила вытерпеть муки ваша земля, любимая, даже когда жестока к своим детям. Желтые круги перед глазами, кольца змеи. И как следствие, страшная, пронизывающая боль в ноге, в груди, в сердце. Темно. Что такое? Вода тихо шевелит его ноги. Он лежит грудью на песке… Как незаметно пронесла его вода почти до дома. Вон только косогор, аллея в парке и дом. Скорей… Какие теплые видения посетили его в реке — синие, голубые, канареечные, розовые страны. И это должно быть впереди — неужели. Боже, какое счастье — такие слезы из глаз. И сколько еще до этого грязи, выстрелов, петель. Вперед… Глухо шумит парк. Звезды запутались в листве, смеются. Вон от радости смеется заяц. Пройдя несколько шагов, он падает. Кровь тянется сзади — какая яркая. Его кровь. Ведь эта кровь могла соединиться в их ребенке. Туда. Вперед, к ней… Как тяжело ползти, ноги совсем отнялись. Ползти, пусть лопнет сердце, но к ней. Вот аллея, вот береза, где их инициалы. Любовь… бессмертная моя возлюбленная. А аллея еще такая длинная, а крови так мало осталось. Шаг… еще шаг, как медленно тянется путь. Свет впереди. Он увидел его. Нет, он залечит раны, он еще поднимется, он возьмет в руки оружие. И тогда запылает край. Как счастливы будут люди. Какое великое счастье. Какая голубая страна впереди… Через мрак, через огонь и смерть придут в нее люди, и светла будет ее жизнь, как улыбка любимой женщины. Вот и конец аллее. Душно. Тяжело дышать, но впереди огонь. Там, за кустами сирени, веранда, крыльцо с белыми колоннами, и там… Нет, сейчас разорвется сердце… она, любимая, русалка. Как светится ее белое платье среди темноты. Жизнь моя. Вот уже и крыльцо, но подняться не хватает силы. Голова поднимается и… падает. А она сидит за роялем и играет. Нежные, как ее душа, как мое сердце, звуки. Это «Лунная». Звуки немного даже дисгармоничны в своей гармонии, несутся, плачут, ласкают. К ней. Надо хотя бы крикнуть, но из груди только хриплый стон и ничего больше. Страшно… Умирать рядом с Ней незамеченным… Мадонна… любовь… кохана моя. Ты не видишь. Но что это… Звуки «Реквиема»… Она играет… Нет, она не может меня заживо… А звуки торжественно сладкие рыдают над мокрой, черной землей. Нет… Земля требует… зовет. Какой вопль из груди… Да, она слышит, она повернулась в испуге, она, раскрыв объятия, белой пташкой спешит к нему с крыльца. Ближе, ближе. Какое счастье, какая любовь. Милая, ты близко, твои губы — как я поцелую их. Ближе, ближе. Сияние разливается в душе, как тепло… как хорошо. Милая, теплая, родная. Подруга светлая моя. Хорошо, когда поддерживают твои руки. Ты вся в голубой дымке и таешь, таешь прямо на глазах. Хорошо заснуть у тебя на руках. Любимая. Как я счастлив! Как хорошо жить!

* * *

Над землею начал сеять из низких туч мелкий, как пыль, холодный дождик. Врач подошел к изуродованному телу, лежащему у стены, обнимающему руками землю, пощупал веки лежащего и раздельно, наслаждаясь, процедил: «Готов».

Публикация Анатоля Верабья.

Владимир Антонович Марук не дождался этой публикации. Да, собственно, и не ждал ее. По характеру своему он был равнодушен — как к здоровью, так и к литературным успехам. Напечатали — хорошо, нет — невелика потеря. Потому и вышло у него при жизни всего пять книг. «Я ўжо не першы на стомленым свеце, // Хто забывае на час і сябе». В самую точку. Скромность его удивляла и была поучительна: сразу сопоставлялась с тем, каков ты сам. Он был незаметен. В «ЛіМе», на прощальной полосе, помещены две групповые фотографии с Владимиром Антоновичем. На обеих он сидит с краю. Не случайно. Но эта незаметность, нарочитая усредненность уверенно компенсировалась в его стихах: они выделяются тихим, но внятным, берущим за душу голосом чистоты и честности. Их философскую проницательность, наполненность тонким лиризмом читатель почувствует и в этой подборке.

В главном, не в манере поведения, поэт и его стихи неразделимы. Читая, вспоминая Владимира Марука, убеждаешься в этом снова и снова. С благодарностью. И до чего же здесь оказывается кстати стихотворение Василия Андреевича Жуковского «Воспоминание»! Им и хочется закончить предисловие к подборке стихов замечательного белорусского поэта Владимира Марука.

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.

Отдел поэзии

ВЛАДИМИР МАРУК

До вас дотронувшись душою

* * *

Мне звезда подмигнула устало.
Одиноко в том мире далеком?..
Одного одиночества мало,
Если хочется быть одиноким.

Одиноко…
И мне одиноко.
Только думы одна за одною
Наплывают изящным барокко,
Словно тайно играют со мною

В чехарду бесконечных секретов,
Неизведанным душу тревожа.
И никто в одиночестве этом
Не поможет.
Уже не поможет.

* * *

Как славно в рассветном тумане
Идти по забытой аллее,
Где ветви загадками манят,
А солнце —
смелее,
смелее.

Где все еще тихо,
как в мире,
Таком недоступном и близком,
Что снился мальчишке-задире
Сквозь солнца веселые брызги.

Хоть мысли закрутятся вихрем,
Но в сердце истома исчезнет.
Идешь, улыбаешься тихо
В душе.
А чему —
неизвестно.

* * *

Снова мы идем косить отаву.
Батя правит дедову косу,
Ляп да ляп —
старается на славу.
Луговую выкосим красу.

И взметнутся над рекою копны,
Что заманят вновь расти траву
Посреди стареющей Европы,
Где и я,
как человек, живу,

Где уснули над рекою предки,
Что услышат,
как и с кем кошу…
Давней той отавы запах крепкий
Вместе с ними я в себе ношу.

* * *

У выстылой осени столько в котомке заплечной:
Приблудные тени,
что исподволь память калечат,
Приблудные тучи,
что путь поливают слезами,
Чтоб искренность стала стеною высокой меж нами.

У выстылой осени все на виду,
как пред Богом.
Петляет по грязи меж путаных мыслей дорога,
Что к малой часовенке,
словно монах, устремится,
Чтоб там от грехов моих
верой своей отмолиться.

* * *

Докучали,
да как докучали
Две соседки,
двойняшки-сестры,
Необычной игрой на рояле,
Не в четыре руки —
в «полторы».

Я б сорвался,
да не было слуха:
Ни единой же ноты не знал,
Будто мне от рождения ухо
В самом деле
медведь оттоптал.

Может, это-то и заставляло
Слушать, слушать,
а после — бегом
Через темень ночного вокзала
В запустевший родительский дом.

Откопаю гармошку в сарае —
Что стыдиться:
свое, не украл…
Заиграю,
да как заиграю —
Боже мой!..
Никогда ж не играл.

* * *

Свечка в окне догорит,
Кто-то,
наверно,
не спит,
Глядя на стену,
как в небо,

Где ни звездинки во мгле…
Сядет за стол.
                    На столе
Соль да краюшечка хлеба.

* * *

Я не хочу новой жизни земной,
Стать,
        хоть и близкой,
                        чужою душою,
Вновь оказаться заложником снов,
Снова не спать непогодной порою.

Я не хочу,
            ибо в мире моем
Хватит без нас
                суеты бестолковой.
Я не смогу в небреженьи чужом
Знать,
            что живу за кого-то другого.

* * *

Ноктюрны и плавные вальсы
От бед уносили земных.
Плясали по клавишам пальцы,
Глядел не на Вас я, —
                                на них.

А после под ахи и вздохи
Просил ну хоть что-то сыграть
Из той музыкальной эпохи,
Что все не спешит умирать.

С надеждой прошу:
                    «А Шопена?..»
«А Листа?..» —
                        взываю без сил…
Но пальцы легли на колени,
Чтоб душу я зря не травил.

* * *

У поникших пионов стоим,
И пионы нам шепчут в поклоне,
Что заоблачной вечности дым
Скоро ляжет на наши ладони.

Так и хочется выцветший цвет
Хоть на миг приголубить руками:
И куда ни взгляни,
белый свет —
И пионы,
и небо,
и сами.

* * *

Зацветает и мой цикламен,
Заслоняя собою полсвета.
Повторяю,
как песни рефрен:
«Я так ждал настоящего цвета!»

Словно белой тетради листы,
Лепестки надо мною кружатся.
Я так ждал для души чистоты
От тебя.
От людей —
не дождаться.

* * *

Озяблой голубики стебельки,
Что век векуют рядышком со мною,
Чуть слышное касание руки
Почуют даже снежною зимою,

Когда ветра сугробы наметут,
Я подхвачусь на полуночный шорох
И буду знать, как вы живете тут,
До вас на миг дотронувшись душою.

* * *

Цветет сирень.
Загадочные тени
Моим очам покоя не дают.
И тонкий аромат
ее цветенья
Мои,
а не чужие губы пьют.

Вокруг весна.
Душистых гроздей вольность
Босой душой почувствовать хочу.

Я сквозь сирень,
как ветер своевольный,
Сперва пройду,
а после — пролечу.

* * *

Вы колдовали,
чаровали,
А после встали и ушли,
И я один остался в зале,
Один от неба до земли.

И запылала жарко рана
На тонком бархате души,
Живою музыкой органа
Ее огонь не потушить.

Вы колдовали,
чаровали,
Да не смогли зачаровать,
Как будто вы любви не знали —
И не хотели узнавать.

* * *

Вечер шалью серебристого тумана
Укрывает и затягивает в сон,
Как меня,
безлюдную поляну,
Где,
что видишь,
так и манит взор.

Воздух тих.
И даже птицы как-то глухо
Мне опять-таки поют
про тишину,
Словно что-то шепчут мне на ухо,
Что припомнить не смогу,
когда проснусь.

Сны, как призраки, плывут в тумане стылом
Смутными обрывками молитв,
Чтоб забыл о том, чего вернуть не в силах,
Только помнил,
что в душе еще болит.

Перевод с белорусского
Андрея Тявловского.

ВЛАДИМИР САЛАМАХА

*Лица и лик**

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

В четверг 23 февраля 1995 года в 10 часов 30 минут жена шофера Николая Игнатьевича С., тридцатишестилетняя Вера Ивановна, родила девочку весом 3 килограмма 200 граммов, ростом 45 сантиметров — их второго ребенка.

В тот самый день в том же роддоме за час три женщины из той же палаты почти одновременно также родили по девочке. Роженицы были разного возраста. Самая молодая — Светлана К. Ей недавно исполнилось девятнадцать лет. Затем — Елена Ж. — тридцать пять. За ней — Вера и, наконец, — Надежда З. Последней минуло сорок четыре года. Сама Надежда говорила, что, наверное, она — самая старая роженица в городе.

Все матери, как отмечено в их медицинских карточках, «чувствовали себя удовлетворительно». Здоровыми родились и три из четырех малышек, а вот у одной выявили какую-то сердечно-сосудистую патологию. (Кто это поведал роженицам, когда еще врачи официально не сказали матери, — попробуй выясни!)

В роддоме, если ребенок и мать здоровые, так женщине, как только окрепнет, сразу же несут ребеночка, чтобы дала грудь. Три роженицы из палаты № 102 ждали этого момента. А вот четвертая, Светлана, как понимали трое матерей, вполне здоровая, легко перенесшая роды (опять кто-то поведал), сразу же, как только легла на постель, заснула крепким сном, словно после гулянья.

Это же надо: три матери терзаются в догадках, не с моей ли беда, а ей хоть бы что! Наверняка знает: больна не ее малышка, врачи сказали. Да у Светланы муж шишка еще та! Ее же в роддом, говорят, везли не на старенькой дребезжащей «скорой», а на иномарке в сопровождении целого кортежа легковушек!

Какая женщина не позавидует всему этому? Да, Светлане не надо ломать голову, за что купить пеленки, вообще, ей не надо думать, где взять для малышки то, а где это. Конечно, она не будет отираться по чужим углам, как Вера, или, еще хуже, как Елена, в общежитии, и даже как Надежда, со своим многочисленным семейством в «хрущевке». У Светланы, конечно же, есть все — живи да радуйся…

Если Вере и Надежде каждой по-своему живется не очень сладко, так Елене и подавно. Она воспитывает двойню: мальчика и девочку. Говорит, послушные. Девочка учится хорошо, а мальчик ленится. Но ничего, сейчас неучу лучше живется: она, Елена, ученая, а пользы…

Говорила, что муж у нее не пьет, хороший, ласковый, на чужих женщин не обращает внимания, дорожит семьей. Но за последние полгода заметно изменился, как-то не по возрасту осунулся. Наверное, от забот: семья ютится в общежитии, впереди никакого просвета, а их оттуда грозятся выселить…

---

* Журнальный вариант.

Конечно, если бы по-хорошему, так в общежитии и с ребятишками жить можно. Но как на беду полгода тому пришла новая комендантша, женщина-гром, похоже, говорят, из бывших властелинчиков. Что-то все время крутит-мутит, селит в общежитие каких-то торгашей с баулами, чемоданами, объемными, словно кузова, сумками. Комендантша ходит в золоте: чуть ли не на всех пальцах кольца, ездит на иномарке, таскает туда из общежития тяжелые сумки, орет на старых жильцов почем зря. Так вот, она каждый день говорит Еленину мужу, чтобы подыскивал семье жилье, дескать, ей дано разрешение приватизировать общежитие.

Муж пытался говорить, что прожили здесь они одиннадцать лет, никому не мешали, а сейчас что? Однажды усомнился, дескать, кто это ей позволит приватизировать общежитие, так она только усмехается: «Кто надо. Сейчас все везде будет приватизироваться. Коли у тебя деньги — ты приватизируй что хочешь, если, конечно, сможешь».

Вообще-то, к общежитиям Елена привыкла с малых лет. Как только после детдома приехала на завод, так и поселилась здесь.

Сейчас Елена с мужем в отчаянии. Муж давно ищет жилье, да, люди сдают квартиры, комнаты и даже коттеджи. Но цены… Зарплаты мужа не хватает даже на квартиру, а кто сдаст комнату семье из пяти человек?

Вот была бы у них родня в деревне, уехали б. А так куда? Да говорят, сейчас и деревня рушится. А здесь еще слушок прошел, что одна девочка родилась с пороком сердца. А вдруг ее, тогда что?..

Надежда — так у той свои заботы. Родила бабушка, можно сказать. В нынешние времена в ее возрасте вряд ли кто рожает. Стыдобушка… Ведь вокруг ее двух старших дочерей уже кавалеры крутятся. Да и средняя, глядя на сестер, невестится, часами у зеркала красуется. А дочерей у Надежды шестеро. Как посыпались они когда-то, словно горошинки из стручка, так и эту, седьмую, за собой позвали. А как было им не сыпаться, когда первая — девочка, вторая — тоже, третья… а муж все требует: «Давай парня, а то брошу!..»

Бросить не бросил бы (любит), тем более сейчас: кому он нужен, пьянтосик да сморчок пятидесятилетний? Хотя зачем говорить пустое: попивать-то попивает, а кормилец хороший. Столяр. Инструмент у него в руках — горит: все умеет делать ее муж, все! А что потихоньку пристрастился к рюмке, так не за свое же пьет, люди ставят. Детей любит. На Надежду ни разу голоса не повысил. А как вдруг забеременела и призналась, что у них еще будет ребеночек, взорвался да кулаком по столу: «Ну, смотри мне, чтобы мальца родила, а то!..»

Сейчас каждая роженица боялась за свою дочушку и растерянно посматривала на соседку: только бы не моя…

Вскоре в палату привезли четырех маленьких человечков. Еще из коридора послышался их плач, такой радостный для матери, когда первый раз несут кормить ребеночка, и по которому она потом, еще не видя малышку, будет узнавать: «Моя!»

А через минуту три маленьких ротика сразу же, как только дотронулись до материнских сосков, утихли, начали сосать. Четвертая малышка и возле мамы по-прежнему кричала. Три матери, еще ничего определенного не понимая, но надеясь на хорошее для себя (не моя же заходится в плаче), сочувствовали четвертой: «Бедняжка, как же она с больной будет…» Они ожидали, что четвертая мать начнет успокаивать дочушку, но она тихо сказала медсестре:

— Сейчас же заберите ее. Я от нее отказываюсь…

Три маленькие девочки, пока еще не имеющие имен, беззаботно сосавшие материнскую грудь, естественно, не знали, что случилось с четвертой. Впрочем, все четверо не могли знать, как сложатся их судьбы.

2

Первого ребенка Веры и Николая С. Звали Гришкой. Мальчику было девять лет.

В тот день, когда семья пополнилась еще одним человеком, Гришка так и не узнал, кто это: братик или сестричка. Да и вообще Гришка ничего определенного не знал: еще затемно, утречком, родители как уехали на «скорой», так их и не было, и мальчик поздно вечером лег спать без них.

Гришка учится в четвертом классе. Недавно было родительское собрание. Мама, придя домой, сказала, что учительница хвалила Гришку: хорошо учится и вообще самостоятельный мальчик.

Гришка уверен, родителям приятно, что сын такой. Но вместе с тем ему немного и обидно: учительница же не знает, что он не боится один оставаться дома! Она также не знает, что он всегда помогает маме мыть пол, вытирать пыль со шкафа. А самое главное — Гришка умеет зажигать газ на плите и разогревать обед! Интересно, если бы знала, что бы тогда сказала Анна Кузьминична?..

Учится Гришка в первую смену. Школа далековато от дома, где они сейчас живут. За три года родители трижды переезжали из квартиры на квартиру. Немного поживут в одной, хозяева или скажут, чтобы платили больше, или сошлются на то, что сейчас самим понадобилась жилплощадь, — освобождайте!

Две прежние квартиры, что снимали Гришкины родители, были ближе к школе. Плохо, конечно, — школы приходится так часто менять: не успеешь привыкнуть к одной — следующая… И в каждой нужно заново со всеми знакомиться, заводить новых друзей.

Эта школа — за противоположным краем большого пустыря, разделяющего два микрорайона. Недалеко от дома пустырь спускается в низину. С этого края он порос кустарником. Но ни пустыря, ни школы из окна квартиры не видно: оно выходит во двор. Двор большой, обрамлен старыми липами, между ними — густой кустарник.

Этот двор хорошо знают мальчишки из ближайших домов. Во всем микрорайоне только здесь такая большая спортивная площадка. На ней — футбольные ворота, турники, лестницы, вкопанные до половины в землю старые мазовские колеса: чтобы пробежать по ним и не упасть — нужно быть таким ловким, как Гришка.

А еще двор нравится пенсионерам: здесь под липами стоит длинный, сколоченный из досок стол. Вечерами по нему любители домино громко стучат костяшками — «забивают козла» или «ловят рыбу».

Но Гришке во дворе неинтересно: местные мальчишки не берут его играть в футбол. И вообще они зовут его малым или чужаком. Когда выйдет во двор, где мальчишки гоняют мяч, только и слышит: «Малый, подай!.. Малый, отойди и не мешай!.. Малый…»

Гришке нравится пустырь. Летом, пока мальчик не работал, там, в маленьком озерце, он ловил карасиков. А еще однажды он нашел в кустах птичье гнездышко, о котором никто, кроме него, не знал.

Мальчик гнездышко не трогал. Иногда, спрятавшись в густой траве недалеко от гнезда, он наблюдал, как маленькая серенькая птичка высиживала птенцов. Видел также, как она внимательно посматривает на него, наверное, готовая в любое мгновение, если он попробует протянуть к ней руку, вспорхнуть и улететь. Гришка знал, что делать этого нельзя: птичка может навсегда покинуть гнездо, и тогда яйца остынут, птенцы не выведутся,

А через несколько дней в гнездышке появились птенцы — четыре серых живых комочка. Каждый раз, когда их мать прилетала к гнездышку, принося им еду, они поднимали невообразимый писк. Он видел, как птичка поочередно кормила птенцов, передавая из своего клюва в их маленькие клювики каких-то

козявок. Гришка радовался, что мальчишки о гнездышке ничего не знают: они такие, могли бы разорить его — бросают же камни в кошек, живущих в подвале дома. А когда кому удается попасть в кошку, неистово орут, радуются и начинают бросать в нее камни с еще большей ожесточенностью: даже взрослые не всегда могут остановить их.

Вскоре птенцы улетели, гнездышко опустело. Мальчик одновременно печалился и радовался. Печалился потому, что оставался на пустыре один, а радовался, понимая, что птенцы уже стали птицами и сейчас их жизнь зависит только от них самих: «взрослые»!

Да, пустырь ему нравится. Летом там цвели разные травы. На них звенели пчелы и шмели. Там пели птицы. Сейчас пустырь засыпан глубоким снегом.

Осенью, в холода, когда часто шли дожди, а на пустыре пожухла, полегла на землю трава, строители на «КрАЗах» привезли сюда плиты, трубы, гравий, кирпич. Их выгрузили где попало да так и оставили. От дома, в котором живет мальчик, до школы и до ближайшей — она недалеко от школы — автобусной остановки протоптана глубокая тропинка. По ней до школы намного ближе, чем по улице. Но на тропинке ребят встретишь не часто: родители запрещают им по ней ходить, так как здесь постоянно бродят любители выпить и бомжи — говорят, от них можно всего ожидать.

Случается, здесь слышатся ругань, крики, кто-то грозится кого-то прибить. Но Гришка все равно не боится здесь ходить. И Витька, его единственный дружок, бегает по этой тропинке. Правда, только через день, на большой перемене, — когда Витькина очередь покупать в булочной хлеб. Магазин же недалеко от дома, в котором живет Гришка.

У мальчишек есть тайна: каждый день они сбрасываются из тех денег, что дают им родители на обед, покупают полбатона на двоих — экономят. Едят где-нибудь в уголке, чтобы никто не видел, потом пьют воду из-под крана. Мальчишки хотят до конца учебного года собрать побольше «зайчиков» — деньги очень нужны и Гришке, и Витьке…

От этой грязно-рыжей, скользкой после оттепели в мороз тропинки во все стороны растекаются узенькие тропки, усыпанные разноцветными пробками от бутылок, битым стеклом, обрывками газет, остатками еды. Тропки ведут за плиты и трубы, где собираются любители выпить. Те отираются там с самого утра — как только откроется магазин. Это сейчас, а летом, наверное, некоторые люди на пустыре и ночуют. И сейчас, зимой, если присмотреться, видно издали, как из-за плит и труб время от времени высовываются головы, когда ко ртам прикладывается бутылка.

Гришка и Витька тех людей меж собой называют «горнистами». Мальчики слышали, что так их называли милиционеры: те однажды осенью приехали сюда на машине и гонялись за ними. Но где там! «Горнисты» убежали через болотоозерцо в кусты, милиционеры походили возле воды да ни с чем и поехали.

С этими «горнистами» Гришка и Витька ладят. Случается, когда мальчишки идут по тропинке в школу или из школы, «горнисты», заметив их, высовываясь из своих укрытий, просят:

— Ребятишки, посмотрите, не видно ли где поблизости ментов?

Ребята с готовностью смотрят: «Нет». А если вдруг на тропке появляется человек в форме, с радостью предупреждают: «Есть! Прячьтесь!»

Конечно, будет очень жаль, если весной пустырь начнут застраивать. Все исчезнет: и птиц не будет, и озерца-болотца, и тропки, и этих людей, жизнь которых Гришке непонятна. Иногда он думает, что у этих дядей нет квартир, семьи, работы. И ему становится страшно: неужели когда-то такое может быть и с ним?.. Хотя квартиры у них своей нет, но папа работает. У папы есть, он с мамой. Папа о них заботится, а они с мамой о нем. Гришка помогает маме, старается

хорошо учиться… Нет, такого, как с этими дядями, с ним не может быть… Да и с Витькой, его другом, с которым сидят за одной партой, — тоже. У Витьки нет отца, только мама да сестренка, и он, как взрослый, заботится о них. Витька даже умудряется зарабатывать деньги не только на сладости для сестрички, но и на еду семье. Гришка тоже хочет зарабатывать деньги, но пока ему это не удается. Мальчишки понимают, что, экономя на обедах, им много денег не собрать, но все же… Может, когда вырастут, смогут стать коммерсантами — тогда иное дело. А сейчас даже все взрослые, кого они знают, почему-то никак не могут хорошо заработать. Вон Гришкин отец, к примеру, как ни работает (часто приходит домой за полночь), а заработать денег столько, чтобы семья жила беззаботно, не может.

Но как бы там ни было, мальчики не теряют надежды к летним каникулам собрать столько денег, чтобы родные порадовались, когда узнают сколько. А пока…

В этот день Гришка, расставшись после занятий с Витькой — друг жил в микрорайоне недалеко от школы, сразу побежал домой. Еще бы не спешить: отец обещал, что возьмет его с собой навестить маму в роддоме.

Утром отец, подняв Гришку с постели, сказал:

— Будешь хозяйничать один. Мы с мамой поедем — она за сестричкой или братиком, а я — на работу. Сразу после занятий жди меня.

Папа разбудил Гришку очень рано. Как только глаза привыкли к свету, мальчик понял, что остается дома один — мама была в пальто, а возле нее стояла женщина в белом халате, наброшенном поверх шубки.

Гришка понял, что сейчас маму повезут в больницу, в ту, где рождаются дети. Мама говорила ему, что скоро у него будет братик или сестричка. Почему-то ему стало очень страшно, он еле сдержался, чтобы не заплакать, — только этого ему сейчас не хватало!..

Он хотел отвернуться, чтобы мама не увидела его слез, но она все поняла: подошла к нему, вновь улыбнулась, ласково посмотрела на него, поцеловала и сказала:

— Не бойся, сыночек, я поеду, а ты после школы побудь дома один. А вечером с папкой приедете ко мне. У нас все будет хорошо.

— Идемте, идемте, — торопила врач.

Мама, папа и врач ушли. Гришка остался один.

Как только за ними закрылась дверь, он подбежал к окну, прилип лицом к темному холодному влажному стеклу.

Возле подъезда, освещенного фонарем, стаяла «скорая» с включенными красными подфарниками. Возле машины мама медленно (отец поддерживал ее под руку) повернулась, помахала рукой сыну. (Откуда она знала, что он смотрит?) Мальчик попробовал улыбнуться ей в ответ, но почувствовал на губах что-то соленое. Он начал торопливо махать маме рукой и махал, пока она не скрылась в машине. Тогда у него в горле защекотало, губы передернулись, но он сдержался, не заплакал.

Машина уехала, а Гришка еще долго смотрел ей вслед. Он отошел от окна, когда заметил, что снег стал зеленовато-желтым, а покрытые инеем веточки липок засеребрились. Тогда Гришке почему-то стало холодно, плечи его задрожали.

Он соскочил с подоконника, подбежал к раскладушке, лег, свернулся калачиком, словно хотел вытиснуть из тела озноб. В горле по-прежнему щекотало.

Будто через туман Гришка увидел на тумбочке будильник — половина шестого. В школу ему к восьми, значит, еще можно поспать. Но заснуть мальчик уже не мог. Слезы сами по себе текли из его глаз: он не плакал, нет — какие-то чужие слезы. Он всхлипывал и думал: «Кто лучше: сестричка или братик?..» Но

сколько Гришка ни размышлял об этом, так и не решил — зазвенел будильник. Выбираясь из-под теплого одеяла, подумал: «Кто будет, пусть тот и будет. Как говорит мама, наше, никому не отдадим».

3

Придя из школы домой, Гришка обедать не стал. Есть не хотелось, они с Витькой, как всегда, неплохо перекусили батоном, попили воды из-под крана: полные животы! Он сразу же принялся за уроки: а как же, учеба — это Гришкина работа, а работать плохо нельзя. И вообще, как говорят родители, любой работой надо дорожить. Вон после того, как отец на заводе остался без работы и долго не мог нигде устроиться, как им тяжело было! Мальчик видел, как отец переживал: почернел, сильно похудел, стал задумчивым. Одно время с такими же, как сам, безработными мужчинами он ездил в колхоз, что-то там делал. Потом кому-то строил дачу, разгружал на станции вагоны и даже некоторое время на стадионе продавал шмотье соседа Дунина. «А с Дуниным — совсем беда, — говорила мама, — отец так напродавался, остался столько должен хозяину, что хоть иди просить милостыню!» Но, как говорит мама, мир не без добрых людей, их выручил папин школьный товарищ отец Василий. Сейчас у папы есть работа, он возит какого-то начальника.

Мальчик знает, что отец очень боится потерять свою работу: всякое может быть, говорят взрослые, время такое. Он слушается своего начальника, хотя часто обижается на него. Мама предостерегает отца: «Терпи, Николай, терпи. Без него мы пропадем. Где ты устроишься?»

Гришка старается слушаться родителей, особенно он понял, что не надо ничем их огорчать, после того, что случилось с ним летом…

Летом отец очень рано спешил на работу. И поздно возвращался, когда Гришка уже спал. И мамы также днем дома не было. Утром, накормив сына, приготовив обед, она брала тяжелую сумку, заходила за соседкой Артимоновной, и они спешили к метро.

Сын знал, что в сумке сигареты. Их маме и Артимоновне давал Дунин: «Продавайте!» Знал также, что Дунин вечером заплатит маме за работу: три процента от выручки. Мама говорила, что день на день не приходится, иногда она зарабатывает на ужин семье, а иногда — только на дорогу туда и обратно. Она также сетовала на то, что продавать сигареты ей стыдно и страшно: кажется, что на тебя смотрит весь мир, что все знают — спекулянтка. Но у нее и Артимоновны, пенсионерки, нет иного способа хоть как-то заработать на жизнь. И когда мама уж очень боится, соседка успокаивает ее тем, что у Дунина где-то есть «крыша», а это означает, что никто не может обидеть работающих на него людей.

Гришке очень хотелось помочь родителям, но как и чем, он не знал. И когда они уходили из дома, он бесцельно бродил по улице, по пустырю. Родители знали, что их сын иногда ходит к озерцу-болотцу, где, случается, и взрослые сидят с удочками. Папа и мама разрешали ему гулять там, но предупреждали, чтобы был осторожен и, если вдруг кто-то из взрослых мужчин или женщин попробует его чем-нибудь заманить, пригласит идти с ними, то ни в коем случае этого нельзя делать: мало ли сейчас плохих людей.

Отец купил ему бамбуковую удочку. Гришка ловил карасиков, а когда собирался домой, выпускал — пусть живут… Здесь Гришка и познакомился с Витькой, тот тоже рыбачил. Мальчишки быстро подружились. Оказалось, что Витька ходит в ту же школу, в которой будет учиться Гришка, и даже класс у них один — четвертый.

Вскоре Гришка узнал, что у Витьки нет отца. Живет с матерью и маленькой сестричкой, о которых он заботится. Тогда Гришка отдал Витьке своих караси-

ков, солгав, что вчера дома у них была уха: каким-то необъяснимым образом почувствовал, что иначе тот не взял бы.

Витька, как считает Гришка, совсем взрослый. Он многое знает. Это Витька подсказал Гришке, где и как можно неплохо заработать: надо пристроиться возле гостиницы мыть машины. Оказалось, что многие мальчишки в разных районах города так зарабатывают деньги. Конечно, самые лучшие места — возле «классных» гостиниц. К примеру, возле «Юбилейной» или «Садовой». Там даже можно получить доллары. Но там Витьке и Гришке делать нечего: местные мальчишки работают и чужаков гонят взашей. Да и ребята постарше смотрят, чтобы никто посторонний туда и близко не подходил. А те, кто моет, отдают им часть денег.

Но Витька нашел выход. Недалеко от их микрорайона была небольшая гостиница. А почему бы не попробовать, если возле нее еще никто машины не моет? Да они будут первыми!.. Вот и забегал Витька за Гришкой, когда родителей уже не было дома. У мальчиков на пустыре были спрятаны ведра и тряпки. До гостиницы было всего три остановки. Она рядом с частным сектором. Там среди нескольких деревянных домиков, утопающих в сени садов, возвышались новые двух- и трехэтажные кирпичные коттеджи.

Мальчикам повезло: возле одного, обитого желтой дощечкой домика, у забора со стороны улицы была колонка. Мальчики набирали воду в ведра, шли к гостинице. Как только рядом останавливалась какая-нибудь грязная иномарка — их с каждым днем становилось в городе все больше, — Витька и Гришка подходили к ней и начинали старательно смывать с нее пыль и грязь.

Интересно, что никто из хозяев не гнал их прочь, иногда только предупреждал, дескать, не очень трите, чтобы не порезать песком краску.

Когда через некоторое время владелец машины подходил к своему авто и видел, что она блестит как новенькая, то давал мальчишкам деньги. Правда, немного. Все рассчитывались исключительно «зайчиками». А друзья складывали бумажки в целлофановый мешочек, и Витька, чтобы не отобрали ребята постарше, прятал его под ремень штанов, прикрывал рубашкой.

Вечером делили деньги поровну. Витьке хватало на молоко, хлеб, иногда даже на кусок колбасы, как говорил, своим женщинам — матери и сестричке. Гришка свои деньги не тратил, прятал дома на антресоли — копил.

Все шло хорошо. Им никто не мешал. Правда, каждый раз, когда мальчики останавливались возле колонки, из калитки, обитой старой ржавой жестью, выходила худющая, вся в лохмотьях, в больших тяжелых резиновых сапогах старуха. Пока наливали воду в ведра, она молча наблюдала за мальчишками. Как только они шли к гостинице, не спеша возвращалась во двор. А через несколько дней, когда мальчики перестали обращать на нее внимание, старуха незаметно подошла к ним, схватила Витьку сзади за ворот рубашки и, повернув к себе, просипела в лицо, что колонка «прыватная», принадлежит какому-то Серому, и если они хотят здесь работать, то должны отдавать ей треть денег, а она — хозяину.

Витька сразу же согласился, и каждый вечер друзья отдавали старухе треть своих денег. А она, даже не посчитав, быстро прятала их за пазуху, приговаривая:

— Не вздумайте меня обманывать! Узнает хозяин — на одну ногу станет, за вторую каждого по отдельности располовинит.

Предупредив, старуха молча поворачивалась и, что-то бормоча себе под нос, уходила.

Когда Гришка спросил у друга, кто такой Серый, Витька, с опаской посматривая вокруг, прошептал:

— Хозяин района. Чтобы ты знал — все давно вокруг поделено между ними. Все — кто хоть что продает или, как мы с тобой, зарабатывает своим трудом, должны давать им дань. Иначе будет плохо. Серый — здесь хозяин!..

В слове «хозяин» Гришка услышал что-то уж больно грозное, страшное, беспощадное, дескать, знай, кто ты перед ним. Раньше, когда слышал это слово, хозяином Гришке представлялся дяденька, у которого они снимают квартиру и перед которым отец всегда стоял растерянным, когда тот в конце месяца приезжал за деньгами. Реже представлялся Дунин. Хотя родители боятся и того, и другого. Первый в любое время может их выгнать из квартиры или повысить плату за нее, а Дунин все еще требует рассчитаться с долгами, которые якобы наделал отец. Родители рассчитываются понемногу: нет у них возможности отдать все сразу.

Серый же может избить. Если не сам, то его помощники. Тогда Гришке стало страшно: заступиться за них некому — не скажешь же родителям, что такое может быть. Они не похвалят, что сын втайне от них работает. И если узнают — запретят: рано еще, мал!..

Гришка сказал об этом другу. Витька успокоил:

— Нас он не тронет. Думаю, его люди знают, что мы много здесь не зарабатываем. Да и отдаем столько, сколько велено — треть. А вот если бабуля себе что-то прикарманивает, так мы скажем, сколько даем каждый день: я помню. Пусть попробует соврать!..

Сейчас мальчик уже Серого и его людей не боялся. Он побаивался другого: на руках появились язвочки, нарывы — не увидели бы родители. Пока они не замечали этого: мама была занята своим — все еще продавала сигареты Дунина, а отец по-прежнему рано уходил из дома и поздно возвращался.

Деньги свои Гришка пересчитывал ежедневно. Вскоре их невозможно было сосчитать: не складывали еще таких цифр в школе! Он думал, что родители очень обрадуются, когда в конце лета, ближе к сентябрю, отдаст им деньги. Может, денег хватит не только ему на школьную форму, но и рассчитаться с Дуниным, заплатить за квартиру.

Неизвестно, удалось бы Гришке собрать столько, чтобы хватило на все задуманное, если бы недели через две местные мальчишки не прогнали их с Витькой отсюда. Сказали, что Серый ставит сюда своих, а чужакам здесь делать нечего. А придут — хорошенько накостыляют по шеям.

В тот день, когда отец пришел с работы, Гришка достал с антресолей целлофановый мешочек, напакованный деньгами. Высыпал на стол целую горку «зайчиков»:

— Мама, папа, смотрите!

Мама, увидев деньги, схватилась руками за голову, заплакала. Отец, как ужаленный, подхватился с места, по слогам отчеканил:

— Где ты их взял? Сейчас же отнеси назад!

Плача, утирая руками в болячках мокрое грязное лицо, Гришка рассказал родителям, откуда у него деньги. Мама, заметив, какие у него руки, запричитала: «Дожили… Из-за чужого богатства не заметили, как свой ребенок увечится…»

Она взяла в ладони руки сына, долго гладила их и плакала. Отец принялся успокаивать жену и сына, стал просить Гришку, чтобы тот не обижался, что такое мог о нем подумать, а мальчику от этого стало еще обиднее. Он никак не мог успокоиться. По его лицу текли слезы, казалось, внутри вспыхнул пожар — там все горело, начала болеть голова. И только час спустя начали успокаиваться. А успокоившись, все долго сидели молча, каждый думая о чем-то своем, потом решили посчитать, сколько же он заработал. Оказалось, что Гришкин бизнес «прогорел» (отцовское слово). Инфляция «съела зайчики» (тоже его высказывание). Ну и пусть, главное — Гришка никому ничего не должен. Потом отец начал вспоминать, как когда-то сам в Гришкином возрасте зарабатывал хлеб — был подпаском у деревенского пастуха деда Евтехи. (Ему, отцу и матери очень трудно жилось.) Отец также говорил, что ему нравилось быть пастушком. Еще бы,

целый день в лесу, да и кормили люди пастушка хорошо: а уж дед Евтеха… За лето он, отец, ухитрился растолстеть, как поросенок. Так что…

— Да не сравнивай ты свое и Гришкино детство, — сказала мама. — То разные времена, да и деревня не город. Люди разные.

— О людях ты так зря, — не согласился с ней отец. — Везде есть и хорошие, и не очень.

Руки его зажили быстро. Мальчик по-прежнему думал, как помочь родителям. Вскоре стало еще труднее: мама перестала носить сигареты к метро, а другой работы Дунин ей не дал. Папа же учился или переучивался на шофера: отец Василий оплатил учебу. В долг, иначе отец не соглашался.

Как понимал Гришка, отец Василий им помогает: они исправно платили за квартиру, да и с Дуниным рассчитывались.

Мама говорила, что друг отца совестливый человек: «сейчас таких мало»… По выходным она стала ходить в церковь. А однажды принесла оттуда икону в золоченой рамке, отец повесил ее в угол. Но Гришка не видел, чтобы родители при нем крестились…

После всего случившегося Гришка далеко от дома не отходил. Разве что стал чаще ходить на пустырь, туда, где в начале лета нашел птичье гнездышко. Почему именно туда — он и сам не знал: тянуло.

Во дворе мальчишки по-прежнему не принимали его в свою компанию: чужак, малый… Куда ему было податься одному? Витьки уже не было в городе. Мать отвезла его и сестричку в деревню к бабушке. До начала занятий в школе друзья не виделись. Встретились в одном классе — четвертом «В». Учительница, наверное, поняв, что они дружат, посадила их за одну парту.

Хотя у Гришки всего один друг, есть и неприятели. Это Гарик и Альбертик, одноклассники. Как говорит Витька, мамкины сынки. Их отцы привозят в школу на лимузинах. Они смелые показывать мальчишкам языки и фиги из машин, а так все около учительницы крутятся. Ни с кем не дружат. На уроках отвечают плохо, но почему-то учительница плохих оценок им не ставит.

Вообще-то, Гарик и Альбертик хвастуны. Хвастаются, что летом были в Италии. Говорят, что в следующем году поедут в Америку. Может быть, и поедут, родители у них богатые. Гарик и Альбертик говорят, что скоро пойдут в другую школу. Элитная называется. Пусть. Надоели они всем. Вот сегодня на большой перемене они встретили на пустыре Витьку и вываляли в снегу. Храбрецы — вдвоем на одного! Отобрали хлеб, футболили им как хотели. Неизвестно, чем бы это окончилось, если бы за Витьку не вступились «горнисты». Гарика и Альбертика они, конечно, не догнали, но те, убегая, орали на всю округу: «Мама!» «Горнисты» стыдили их, говорили, что пойдут в школу и расскажут учителям, чем занимаются их ученики, но почему-то не пошли.

Побитый, вывалянный в снегу, Витька притащился в класс перед самым уроком. Одежда мокрая. Рукав в курточке оторван, зуб на зуб не попадает, сбитый в ком хлеб он держал за пазухой.

Учительница, увидев его таким, ругала перед всем классом, говорила, чтобы не бегал на переменах неизвестно где: свернет себе шею, а ей — отвечать!

Витька не оправдывался и не жаловался, что на него напали Гарик и Альбертик. А те сидели и хихикали.

Потом уже, когда мальчики ели под лестницей холодный мокрый хлеб, Витька рассказал Гришке, что с ним случилось. Сказал, что Альбертик и Гарик требовали денег. Сожалел, что налетели они на него неожиданно: выскочили из-за трубы, сбили с ног, а так он показал бы!.. С деньгами, конечно, надо быть поосторожнее: мальчишки постарше отбирают деньги у младших.

Витька и Гришка решили пока мамкиных сынков не трогать — будут неприятности. А неприятностей у Гришки и так хватает. Ему и сегодня неприятно, что не удалось летом заработать, что мама плакала и отец был недоволен.

Сейчас мальчишки экономят на обедах, Витька придумал это. Гришка рассчитывает, что к лету, к окончанию учебы, у него соберется немало денег. И тогда родители не станут ругаться: он же машины не мыл, не воровал, ни у кого не отбирал — экономил. Отец экономит на обедах, сам иногда говорит об этом маме.

4

Гришка сделал уроки, прошло часа два, но есть не хотелось. Да и какая еда сейчас пойдет, когда живот был как никогда полный, тяжелый, будто там — камень. Наверное, переел хлеба под лестницей, хотя как всегда у мальчишек было полбатона на двоих... Ну ничего, вот только что-то знобит. Да и живот болит. Как-то непривычно: раньше поболит-поболит да и перестанет. А сейчас… Наверное, неплохо было бы поесть чего-нибудь горячего. Сегодня дома еды хватает. Вчера мама целый день варила, жарила, тушила, говорила, что нужно наготовить впрок, чтобы мужчинам (это отцу и ему) хватило на все дни, пока ее не будет дома.

Мальчик знает, что на балконе завернута в фуфайку большая кастрюля голубцов. На подоконнике на кухне стоят тарелочки холодца, а также какая-то еда в холодильнике у соседки Артимоновны. Есть у них еще одна очень вкусная еда — язык проглотишь — приличный кусок промерзшего, с прослойками мяса, сала. Тоже на балконе. Сейчас, если бы не болел живот, Гришка отрезал бы ломтик. Сало из командировки привез отец, и мама дает ему понемногу на обед. Отцу нужно хорошо питаться, ибо время от времени у него в глазах помутнение и кружится голова. Мама говорит: «Не дай Бог, потеряешь сознание за рулем — разобьешь машину или сам себя покалечишь: как тогда жить?»

Размышляя так, мальчик не заметил, как наступил вечер. Осмотрелся: показалось, что вокруг него сжимается темнота, угнетает. За окном уже не было слышно, как раньше, голосов его ровесников — те, как придут из школы, так и катаются с горки — ее залили их родители. Гришка туда не ходит: его отец горку не заливал, ему было некогда.

Гришка вновь, как утром, взобрался на подоконник. Мальчика по-прежнему пробирал озноб. От окна веяло колючим холодком, но Гришка решил не набрасывать на плечи курточку: надо закаляться.

Он смотрел в окно, с нетерпением ожидая, когда же из-за угла дома выедет отцовская «Волга». Такая машина здесь одна: с антенной радиотелефона наверху… Но уже давно стемнело, а папы все нет. Вот из-за угла показалась круглоносая дунинская иномарка. Такой здесь тоже нет ни у кого: джипом зовется.

Как всегда, машина этого коммерсанта остановилась напротив подъезда. Стукнула дверь. Из салона выкатился кругленький Дунин. Как обычно, он несколько раз обошел свой джип, по очереди потянул за дверки: закрыты. Убедившись, что все нормально, пошел к подъезду.

Дунин — в подъезд, а из подъезда — огромный черный кашлатый Рекс. Собака, как всегда в такое время, тянула на поводке свою хозяйку, старую Артимоновну. Наверное, Артимоновне очень не хотелось таким холодом идти на прогулку, но Рекс был сильнее ее, легко тянул хозяйку за собой, и вот уже она в больших валенках, словно на лыжах, суется по укатанному снегу. Рекс подтянул ее к джипу, пометил сначала заднее, потом переднее колесо, завилял хвостом и, смилостивившись над старушкой, не спеша пошел к подъезду.

Уже совсем стемнело, а отца все еще не было. Может быть, сегодня, а так нередко случается, у его шефа много работы, и он не отпускает отца.

Ну что ж, Гришке не привыкать ложиться спать, когда отца еще нет дома. Но раньше всегда рядом была мама. Сейчас же мальчик совсем один. Только не надо бояться…

В девять, изрядно замерзнув, мальчик слез с подоконника. Пока сидел, в животе не сильно болело, можно было терпеть. А как соскочил на пол, так еще и закололо, да так, что заболели пятки и стало горячо в висках — словно их огонь лизнул. Перед глазами посыпались искры, в голове зашумело, она закружилась, и, чтобы не упасть, мальчик надолго закрыл глаза, а когда открыл — вокруг все качалось… Еле дошел до раскладушки, упал на нее, накрылся ватным одеялом. Вскоре согрелся. Боль немного утихла, холодный камень внутри начинал таять. Гришка свернулся калачиком, подтянул колени к подбородку, и удивительно: внутри совсем перестало колоть, полегчало.

И он вновь, как утром, стал думать, кто же лучше: братик или сестричка? Долго думал, но так ни к чему и не пришел. Незаметно для себя заснул.

…К этому времени его еще безымянной сестричке было ровно десять с половиной часов от роду…

5

На следующий день Николай С., водитель служебной машины одного не очень важного в масштабе города и даже района некоего Эдуарда Ивановича Т., как было велено вчера, без пяти шесть «подал» черную «Волгу» к подъезду дома, в котором тот жил.

Настроение у шофера было — хоть вой: дома сын один, жена в роддоме, а он и не навестил…

Когда поворачивал с улицы во двор, не заметил присыпанный снегом бордюр и наехал на него правым передним колесом. Машину тряхнуло, потом днище «проехало» по бетону — хорошо, что не сорвало глушитель. Николай разочарованно подумал, что ему не повезло с этой добитой колымагой. «Ну, почему шефу не дают новую машину?..» На должности он временно? Простачок? Знают это?.. Да, есть такое, простачок: может загнуть при людях матом. Или пройти возле женщин с расстегнутой ширинкой. Может выпить водки больше, чем последний сантехник. Бывает, не обращая ни на кого внимания, может похлопать по заднице свою секретаршу старую холостячку Альбрехтовну.

Конечно, шеф не виноват, что предшественник оставил ему не машину, а настоящую рухлядь. На ней стыдно к какому министерству подъезжать. Сейчас на таких колымагах даже печники не ездят на работу (видел, на чем приезжал к шефу на дачу печник) — «мерс».

Удивительно, но подчиненные Эдуарда Ивановича хорошо отзываются о том человеке, который до него руководил учреждением — обычно все охаивают свое бывшее начальство. Хороший, поэтому и погнали. Да так, что остался вообще без работы. А в наше время без хлеба, как говорят, — труба!.. Это Николай по себе знает.

Поговаривали, что Эдуард Иванович хитростью воссел в кресло предшественника. Работая под началом того, уж очень прогибался перед ним. Все знали, что Т. — бездарь. Себе на уме. Общественник: он состоял во всех организациях, которые только могут быть: профсоюзная, рыболовов, общество трезвости и т. д. и т. д. Всегда выступал на собраниях, никогда никого не критиковал, но разносил в пух и прах тех, кто был ниже по должности. Всегда был на виду у начальства, подхалимничал.

Знали, что у Эдуарда Ивановича есть «волосатая» рука — один якобы большой руководитель — друг детства. Эдуард Иванович неожиданно для всех, «поболтавшись» здесь, в управлении, перешел к тому в помощники. Немного поработал там, вернулся сюда, сменив своего бывшего шефа. Сотрудники недоумевали: что за времена, что за нравы?.. Да этого Эдьку (так они его звали) раньше выгоняли из всех организаций, куда только устраивался: бездельник.

А из одного учреждения уволили как «профессионально не пригодного». И вдруг!..

И все же, наверное, зря так о шефе. Как бы там ни было, Эдуард Иванович все же шишка. Однажды его даже по телевизору показывали! Присутствовал на одном большом совещании: может быть, с полминуты держали в кадре вдумчивое лицо, потом показывали руку — старательно записывал, что говорили умные люди.

Да, неплохо было бы, если бы Эдуарду Ивановичу дали новую машину. Есть у Николая в связи с этим мечта: однажды приехать в свою деревню на хорошей иномарке. Да чтобы на ней красовался маячок радиотелефона.

Вот такое, на первый взгляд, несерьезное желание у Николая. Откуда оно, он пока не задумывался: но уж очень хочется, чтобы один односельчанин увидел, каков сейчас он, Николай. А тот человек — обидчик его давний…

…Николай «подал» машину, как любил шеф, к самому подъезду. Выключил мотор. В салоне тепло. Естественно, он будет ждать шефа столько, сколько потребуется.

Он посмотрел на окно спальни шефа на девятом этаже — темный прямоугольник. И на кухне света нет. Проспал? Шефу можно. Элита. И дом элитный. Впрочем, таких домов тут несколько.

В этих домах живут начальники. Хотя есть и простые люди. Обслуга: сантехники, дворники, лифтеры… И даже некоторые деятели разных искусств, что ли. Те, кто в своих произведениях на то время, когда лет двадцать тому строились эти дома, «достигли наибольшего успеха в отображении бессмертных идей партии».

В те времена, если ты хотел увидеть какую-нибудь официально признанную величину, нужно было прийти в этот район, лучше вечером, когда начальство возвращается домой. Тогда нередко можно было заметить, как по скверику прохаживается какой-нибудь важный деятель, ожидая, когда к дому завернет машина с властной персоной. Хорошо, если такой деятель прогуливался один — тогда он без препятствий мог оказаться рядом с большим начальником, засвидетельствовать тому свое почтение. Когда деятелю отвечали на приветствие, да еще при этом пожимали руку, не говоря уж о том, что вдруг могли похлопать по плечу, он был на седьмом небе от счастья. А если все это видел кто-нибудь из творческих соперников — тем более.

Случалось, что за одним «вождем» «охотились» сразу несколько деятелей. Конечно, нужно было иметь сноровку и хитрость, чтобы успеть первым добежать до него, чтобы убедиться: начальство тебя замечает даже здесь. А если так, то дела твои неплохи. Значит, ты кое на что можешь рассчитывать из партийной кормушки и деятельность твоя будет оценена иначе, чем у других, пусть даже более талантливых коллег.

Но как у нас случается, стоит только произойти каким-нибудь переменам, найдется немало людей, ранее зависевших от власти, а сейчас ее охаивающих. Ох, как они начинают поносить своих бывших патронов! Кто-то успевает сориентироваться и быстро занять новые руководящие кресла, кто-то оказывается не у дел, и мир делится на заклятых врагов. (А вчера-то они были сплочены общими идеями!)

Да, дом интересный. И Николай знал, что для шефа было огромным счастьем поселиться именно в нем, именно среди этих людей. Когда Эдуард Иванович получил сюда ордер, не сдержался, поцеловал его и заплакал. А до этого у него была неплохая, трехкомнатная квартира, в которой он жил с женой и сыном. Но была-то она не здесь, а где-то в Заводском районе.

Случается, иногда радость у Эдуарда Ивановича омрачается. Обычно, когда к его жене приезжают подруги — жены иных руководителей. Обязательно среди

них найдется такая, которой уж очень захочется заметить жене шефа, что она живет на девятом этаже!.. Дескать, какой же твой Эдик начальник, если вас загнали на самую верхотуру? Настоящие начальники живут низко, но летают высоко.

После жена шефа, Катерина Порфирьевна, товаровед по профессии, клюет своего «полудурка» (ее определение мужа).

— Людей стыдно в гости пригласить: девятый этаж и четыре клеточки! Себе похватали лучшее, а тебе, дураку, дали то, что осталось.

— Хорошо, что хоть такую дали в этом доме. А то могли бы загнать в какую-нибудь Вербовку (микрорайон, в котором Николай снимал квартиру), — говорил шеф.

— Чмо! — плевалась Катерина Порфирьевна, женщина крепкая, в одежде пятьдесят шестого размера. — Чмо! — как эхо вырывалось хлестко из ее горла. — Вон Б. (она называла фамилию) вместе с тобой назначали. И должности одинаковые, а квартиру получил, как человек — на втором этаже. А его дура мне глаза колет: так кто ж вы такие…

— Ну и пусть!— говорил шеф, посматривая на шофера (разговор-то этот был при Николае). — Всему свое время, и нам дадут. Наверное.

Шеф замолкал. Видимо, не знал, что еще сказать в свое оправдание. Николай же, понимая, что сейчас как раз тот момент, когда можно заступиться за Эдуарда Ивановича (в конце концов, мужчины мы или нет?), осторожно произносил:

— Вы меня, Катерина Порфирьевна, простите, пожалуйста. Может быть, это не мое дело. Но позвольте сказать. Той женщине до вас далеко, а гонору — ого-го!.. Да вы, Катерина Порфирьевна, посмотрите на себя, а потом на нее. Она даже одевается как самая обыкновенная баба. Завидует она вам, поэтому и несет всякий вздор.

В это время он и сам не мог себе толком объяснить, почему так кривит душой и говорит глупости. Рассчитывал в подсознании, что это ему зачтется.

Катерина Порфирьевна, дорого и неряшливо одетая, всегда сидела рядом с водителем. После такой речи Николая она расправляла и без того широкие плечи, всем грузным телом пыталась тянуться к зеркалу над ветровым стеклом. Лицо ее в зеркало не помещалось. Катерина Порфирьевна рассматривала себя в нем долго и по частям. А шеф, воспользовавшись моментом, осмелев, шел в наступление:

— Катюшка, послушай, что человек говорит: кто она против тебя?

— Сама вижу, — налюбовавшись собой, говорила Катерина Порфирьевна. — Действительно, кто она такая? Буфетчица!

Николай же понимал, что он должен был и дальше петь ей дифирамбы, продолжал:

— И на Эдуарда Ивановича посмотрите. А потом на ее, как она говорит, начальника (последнее слово он произносил ухмыляясь, дескать, настоящим руководителем ее муж никогда не будет).

Женщина тяжело поворачивалась, свысока изучающее посматривала на мужа, словно видела его впервые. Тот вытягивался, замирал: смотри!

— Ну, кто таков тот, я знаю, — говорила Катерина Порфирьевна. — А мой… Если бы не свой, то сказала бы, что ничего себе. Даже красивый. Да, самостоятельный мужчина, похож на настоящего руководителя: и шляпа, и галстук, и бостоновый костюм — я же сама ему одежду подбираю. Разве такой охламон сам что может?

— О! — восклицал Николай. — Сами видите, кто есть что. Да вы, Катерина Порфирьевна, как-то ей честь оказали — пригласили в машину (было, вез). Ладно, села. Увидела радиотелефон и сразу: «Ой, да такой, как в фильме «Укрощение огня». Помнишь, Катя, там главный конструктор едет и говорит своей

крале, мол, хочешь, я сейчас прямо из машины позвоню. Может быть, двадцать лет прошло, как фильм тот видела, а все думала: неужто так может быть, чтобы прямо из машины звонить? Оказывается, может. А у моего в машине телефона такого нет…» Так что, как говорят, здесь и дураку будет понятно, кто какой начальник — ее муж или Эдуард Иванович.

— Да, Коля (так она называла его тогда, когда говорил то, что ей нравилось), и я заметила: как она села ко мне в машину, так глаза на лоб полезли. Ну, думаю, сука, сейчас я тебе покажу, у кого муж настоящий начальник, а у кого — замухрышка. Помнишь, Коля, говорю: «Какой тебе номер набрать?»

— Помню, помню, Катерина Порфирьевна. Набрали, трубку взяла и говорит своему: «Я тебе из машины Эдика звоню…» Да так растерянно, будто сама себе не верит, и больше ничего не может сказать.

— Да, да, так и было, за-ко-ло-ло ей в задницу, что у ее мужа такого нет, — засмеялась Катерина Порфирьевна. — Вот так…

Она вновь расслаблялась на сиденье, изображение частей ее лица исчезало из зеркала. И Николай, посматривая в него, видел, как шеф, сидя за женой, осторожно улыбался:

— Слышишь, Катюшик, что говорит человек?

Да, второй раз шеф называл шофера человеком — редкая награда от руководителя за время Николаевой работы. Ну что ж, всякое может случиться: а вдруг Эдуарда Ивановича оставят в его должности и когда-нибудь в учреждении вспомнят, что здесь немало людей, не имеющих жилья, да задумаются об этом? Смотришь, и Николай попадет в какие-нибудь списки на получение квартиры. А вообще-то нет, не второй раз назвал человеком, третий. В этот день дважды, а первый раз осенью, когда ездили на шефову дачу. Катерина Порфирьевна все пилила мужа: «Делай скорее камин! У всех есть, а у нас — нет. У нас в полу дыра, как для туалета». — «Делай. А как, если дач — тысячи, а печников — единицы?»

В конце концов где-то нашел печника. Тот приехал на довольно новом «Мерседесе». Презрительно посмотрел на их «Волгу». Потом походил, сделал замеры — готовь материал, звони через неделю. Сел в иномарку — только его и видели.

Через неделю Катерина Порфирьевна звонит из машины печнику домой. Кому-то, кто поднял трубку, говорит, мол, так и так… Затем лицо ее наливается краской, она растерянно называет свою фамилию, губы ее дрожат, вдруг бросает трубку.

Шеф:

— Катеринчик, что с тобой, дорогая?

Катеринчик:

— Да та дура спрашивает фамилию, а потом говорит, что надо еще посмотреть, есть ли мы в списке. Представляешь? Ты у какого-то печника должен быть в списках!.. Дожили! Да раньше, сам знаешь, чтобы купить кофточку или юбку, заходили, постучав, ко мне на склад жены чуть ли не самих министров... А теперь…

Николай видел, как шеф сжался, убрал голову в плечи, словно знал, что вот-вот на него обрушатся гром и молния. Видел, как на лице женщины собиралась гроза: губы ее нервно задрожали, посинели, редкие белые брови сломались, глаза помутнели. Но в то мгновение, когда гроза уже должна была разразиться, шофер совсем осмелел:

— Бросьте вы, Катерина Порфирьевна, обращать на всяких внимание. Правильно говорите: «Дожили!» Дураков сейчас много развелось, каждый норовит показать себя большим и важным. Пройдет это, вот увидите, скоро все станет на свои места. Вишь, печник список завел, а она посмотрит… Это еще надо

посмотреть, как все обернется. Да стоит Эдуарду Ивановичу пальцем только пошевелить, как завтра же тысячу раз того обалдуя на дороге проверят!

— Слушай, Катеринчик, что человек говорит, — осмелел шеф. — Список! Да я своим ребятам только шепну, так не рад будет, что узнал, кто такой!.. (Шеф назвал свою фамилию.)

Конечно, это было смешно: никто по шефовой указке к печнику придираться не будет, да и не такая Эдуард Иванович шишка, чтобы отдавать такие распоряжения.

Поговорили, поважничали, а камина на даче у шефа и по сей день нет. Тогда Николай понял, что у его начальника бывают такие семейные ситуации, когда ему нужно сочувствие, пусть даже шофера. И если Николай иногда по-своему защищает шефа от нападок жены, так что здесь плохого?

Впрочем, шофер уже неплохо изучил своего шефа. Знает, что и как в чиновничьем мире. Случается, когда шеф в настроении, может многое рассказать о своих коллегах.

Эдуард Иванович любит просматривать газеты. Но читает в них только официальные сообщения: назначения, отставки, интервью бывших и новых руководителей.

Если в какой газете вычитает, что его знакомого назначили на новую, более высокую должность, злорадствует:

— Вот сейчас мы и начнем тебя отслеживать! Вишь, должность — ему!.. Посмотрим, посмотрим, как долго ты на ней удержишься. Здесь, брат, нужно иметь голову не такую, как у тебя. Так что давай, давай!...

Николай знает, что означает «отслеживать». Шеф ждет, когда его знакомый, новоиспеченный начальник, начнет давать газетам интервью и где-нибудь скажет глупость и таким образом сам себя выставит на посмешище.

И в самом деле, случается, чего только не обещают, заранее зная, что ничего этого не сделают. Тогда шеф радуется еще больше:

— Вот дурачок!.. Неужели не понимает, что рано или поздно нужно будет за все отчитаться?

Как ни удивительно, но здесь шеф был прав. Случалось, открывает газету и кричит, как мальчишка:

— Ну вот, докукарекался. Я так и знал!

В такие минуты Эдуард Иванович почему-то звонил не жене, чтобы сообщить приятнейшую для себя новость, а своей секретарше, Альбрехтовне.

— Дорогая, ты слышала, Н. (шеф называл фамилию) спекся!

Наверное, «дорогая» уже слышала, ибо шеф долго молчал, держа трубку возле уха и время от времени согласно кивал головой. Когда клал трубку, говорил то ли шоферу, то ли себе:

— Конечно, бабеха она неглупая, что, впрочем, для женщины не так уж и плохо. Но опасная: много знает. Но и мы не лыком шиты, знаем, знаем, с кем, где и когда…

Альбрехтовна считалась секретарем-референтом шефа, хотя по штатному расписанию такой должности в учреждении не было. Говорили, что эту не известную никому женщину Эдуард Иванович взял на работу сразу же, как только его назначили начальником. Сплетничали, будто она — шефова подруга еще с армии, где он несколько лет служил прапорщиком, кажется, на каком-то вещевом складе. Она, вольнонаемная, была у него в подчинении.

Сплетням Николай не верил. Во всяком случае, он никогда не подвозил шефа к ее дому. Женщина одинокая — это так. Николай иногда приезжал к ней, заносил в квартиру покупки. Видел: живет в однокомнатной квартирке, где, кажется, мужчиной совсем не «пахнет». Правда, как-то заметил за дверью в ванной точно такой халат, как однажды они купили шефу, — мало ли совпадений.

А так повсеместно по квартире были разбросаны женские принадлежности, пахло духами и кошачьей мочой. У Альбрехтовны был очень дорогой кот Мартин, к которому время от времени Николай привозил ветеринара.

Альбрехтовна — женщина своеобразная. Николай знал, а сотрудники, наверное, догадывались: шастая по кабинетам, она запоминала все, что те говорили об учреждении и шефе, и доносила ему. И вообще она хотела Николая сделать своим осведомителем, ссылаясь на то, что здесь у нее и у шефа хватает недоброжелателей, от которых нужно избавляться. Пусть так, но когда она однажды спросила у него, не скажет ли он ей, что о ней говорит шеф, опешил:

— Что говорит? Говорит: «Наша Альбрехтовна — умница!» Говорит, что вы ему очень помогаете.

— А как о женщине?

— Ничего.

— Не врешь?

— Как можно?

— Вообще-то, он без меня — никуда. Однако же, собака, не знает, что сказать обо мне как о женщине. Вроде я и не женщина, Николай?

— Это почему же? — удивился он, словно ничего не понял. — Еще какая! Но, наверное, Эдуард Иванович прежде всего видит в вас умницу, помощницу.

На этом их разговор прекратился. Татьяна Альбрехтовна сказала:

— Смотри, скажешь ему о нашем разговоре, мало тебе не покажется.

— Ну что вы…

И шеф часто спрашивал у него, что о нем говорят люди. Николай отвечал, что не знает, так как ни с кем не общается.

6

Вчера эта женщина хорошо попортила нервы Николаю. Шефа он отвез домой поздно: тот очень долго сидел в своем кабинете. Как всегда, выходя из машины, Эдуард Иванович на завтра никакого задания не дал, потянулся к подъезду насупленный как сыч. Николай понял, что за сыном уже нет смысла ехать да и к роддому тоже: скоро полночь. Он решил заехать в дежурный гастроном, чтобы купить пару бутылок водки, закуски. Намеревался как-то угостить ребят из гаража: дочь родилась. Что дочь, он знал еще днем, звонил в роддом.

Только повернул к стоянке возле гастронома — в машину звонок. Николай не хотел снимать трубку, шеф же — дома, а поздно он никогда не звонит, но снял. Еле сдерживая себя, сказал:

— Да, слушаю…

— Что такое: «Да, слушаю»? — услышал раздраженный голос Альбрехтовны. — Я тебе что?.. Надо говорить: «Слушаю вас…»

— Задумался. Весь по уши в заботах: у меня дочь родилась и сынишка один дома.

— Вы что, с ума посходили? — сказала Альбрехтовна. — Ни кола ни двора, а они все рожают!

— А вот это уже — не ваше дело!

— Но, но!.. Хорошенько подумали б с женой, как жить будете, прежде чем рожать. Ладно. Помой машину, и завтра без пяти шесть подашь ее Эдику. Да смотри не опоздай: будете встречать большого человека.

Не было ничего странного в том, что об этом ему не сказал шеф. У того какая-то непонятная особенность: везешь домой — ничего о планах на завтра не скажет. А вот едешь в гараж, обязательно позвонит секретарь и даст задание. Это что, для важности? Кто их, начальников, разберет...

После такого разговора — какой гастроном? Нужно скорее ехать в гараж, помыть машину, поставить, успеть на автобус, затем в метро и снова на автобус, и ты — дома…

Говорит, большого человека будут встречать. Не Владимира Трофимовича ли? Руководитель. Из одного провинциального городка. Человек хороший. Правда, иной раз уж очень хулиганистый. Но ничего, характер у него такой, веселый.

…И вот, ожидая шефа, Николай думал, что хорошо будет, если придется его сегодня возить. А может, и не придется. Николай скажет Владимиру Трофимовичу, что у него родилась дочь, и тот, конечно же, отпустит его, чтобы ехал к жене: мол, обойдемся без тебя. Может быть, даже даст долларов десять-двадцать на подарок малышке. Гость, такой, он может. Этот умеет поздравить по-человечески с праздником (перед Новым годом подарил бутылку коньяка). А вот свое начальство даже не догадывается, что человека можно поздравить хотя бы на словах…

Когда первый раз встречали Владимира Трофимовича, шеф почему-то предупредил, что это его старинный друг из района, тоже начальник, но человек веселый, на что он, шофер, не должен никак реагировать. И еще предупредил, чтобы Николай ничего не говорил гостю об Альбрехтовне.

Тогда было морозное утро. Приехали на привокзальную площадь, а там машин — негде пристать. Николай рискнул, объехал по тротуару ограждение — бетонные плиты (вокзал реконструировался или достраивался), подрулил поближе к подземному переходу: отсюда выход — как на ладони.

Шеф, конечно, видел, что шофер нарушил правила движения, но промолчал, вышел из машины.

«Если подойдет милиционер, скажу, что встречаю наших московских друзей, — подумал Николай, — простит».

Он видел, как удаляется от машины шеф — одновременно желая показать, какой он важный, и боясь опоздать: сначала, не торопясь, сделает несколько шагов вперед, а потом срывается с места, почти бежит. Вскоре его широкая спина в коричневом кожаном пальто и шикарная пыжиковая шапка затерялись в толпе.

Николай тогда не заметил, как шеф и его гость вынырнули из толпы. Когда увидел, растерялся: гость был в короткой матерчатой, расстегнутой курточке. Из-под нее выбивалась помятая белая рубашка. На шее — неопрятно повязанный цветастый галстук. И брюки помяты. На ногах — осенние туфли. А голова непокрытая, лысая.

В левой руке гость держал дорогой кейс. И когда они приблизились к машине, Николай еще раз внимательно осмотрел приезжего: неужели этот охламон начальник? Хотя, конечно, облик может быть обманчив.

Вблизи было видно, как блестит непокрытая голова гостя. От правого к левому уху через плешь зачесано несколько рыжих крашеных волос. На этом, можно сказать, пустом фоне в глаза бросались черные, тоже выкрашенные усы, покрытые по краям инеем. Взгляд гостя был печальный, под глазами мешки — болят почки, что ли? И вместе с тем через печаль пробивалась слабая улыбка: усы то растягивались до ушей, то сжимались. Эдуард Иванович рядом с этим великаном казался колобком.

Когда подошли к машине, шеф попытался учтиво открыть гостю заднюю дверку, но тот грубо оттолкнул Эдуарда Ивановича, нервно рванул на себя ручку, напустил в салон холода. «Хозяин!» — подумал шофер. А тот безразлично бросил на сиденье кейс, потом всунулся сам и, расположившись за водителем, неожиданно ткнул Николаю руку:

— Владимир Трофимович. Старый друг твоего патрона.

Пока проговорил эту фразу, в салоне запотело стекло, в нос ударило тяжелым перегаром.

Николай растерялся. Сколько возил начальников, никто никогда не подавал ему руку: велика честь!

Слабо отвечая на довольно мощное пожатие холодной костлявой руки, он представился:

— Николай.

— Тогда я Володя, — засмеялся гость. — Безотцовщина, что ли?

— Да нет, отца Ильей звали.

— Тогда ладушки, — гость резко выдернул руку и, пока шеф, сопя, размещался рядом, бросил:— Вот что я тебе скажу, Ильич. Вези-ка нас быстрее туда, где можно согреться, — и никакого бутерброда! Дрожу, да и голова разламывается, как у того профессора, что праздновал с прапорщиком.

— Это еще какой такой профессор, и что за прапорщик? — насторожился шеф. — Может, про меня хочешь сморозить какую глупость?

— Да нет, — засмеялся Владимир Трофимович. — Есть такой анекдот. Пили они вместе. Наутро у профессора голова болит, а у прапорщика — нет. Когда профессор пожаловался об этом прапорщику, тот удивился: «Разве кость может болеть?»

Николай понял, что надо гостю. Обрадовался, нагнулся к «бардачку», достал бутылку «Кристалла», артистически взболтнул перед его носом.

— Ну, Эдик, молодец! Такого от тебя с утра я не ожидал. А не боишься, что окосею и все пойдет коту под хвост?

— Почему же? Боюсь, — словно огрызнулся шеф. — Но если ты сейчас не выпьешь, так будешь где-нибудь искать. Лучше уж здесь.

Николай видел, что шеф будто вырос от похвалы гостя. Он даже распрямил плечи, важно кашлянул в кулак. Шофер тоже был рад. Даже подумал, что можно рассчитывать на премию. А что? Шефа выручил. А вообще-то шеф скупой. За свои никогда не пьет. Знал, кого встречает, мог бы взять из дома.

Гость жадно схватил бутылку. Одним поворотом сбросил винтовую пробку. Николай чуть успел подать запотевшую посудину, задребезжало стекло о стекло, забулькала жидкость — половина стакана. И, не ожидая, пока шофер достанет что прикусить, гость резко вбросил в широко раскрытый рот водку. И почти сразу же по его худой шее, по лицу, выдавливая из кожи нездоровую бледность, поползла краснота — ожил человек!

Николай также заметил, что шеф не обратил особого внимания на штучки гостя, наверное, хорошо их знал. Но когда через минуту Владимир Трофимович, не открывая глаз, протянул Эдуарду Ивановичу одной рукой бутылку, а другой стакан, шеф быстро спрятал поллитровку в нагрудный карман пальто, а посудину подал шоферу:

— Спрячь!

Николай спрятал стакан в «бардачок». Он не знал: ехать или подождать, пока Владимир Трофимович полностью придет в себя. Тем временем от перехода к машине, тяжело ступая, шел милиционер. Был он в больших валенках, длинном, почти до пят, кожухе.

Сейчас гостю сидеть бы тихо, но он вдруг заорал:

— Эдик!.. Мой молодой генерал! Как говорил поэт: «В нашей буче, боевой, кипучей, и того лучше…» А помнишь, какими мы с тобой некогда молодцами были? Ты — прапорщиком на вещевом складе, а я — боевым лейтенантом?.. Я — что, я Афган прошел, а ты… — Владимир Трофимович начал злиться.

— Володя, брось. Зачем сейчас об этом? Все прошло. Мало ли что может шофер подумать, не шути зря.

— Ладно, Эдик, молчу, молчу. Сейчас до того, что было с нами, никому нет дела.

Гость смолк. Наверное, думал о чем-то своем, если еще был способен думать.

Милиционер, не доходя шага три до машины, остановился. Он внимательно посмотрел на нее. Его взгляд встретился с взглядом Николая. Милиционер погрозил ему пальцем, что, вероятно, означало — нарушение, братец. Потом постучал им по левому рукаву кожуха (часы), ткнул вверх, дескать, даю минуту.

Николай сначала в знак согласия кивнул головой, пожал плечами, потом развел руками: мол, я — подчиненный. Затем, показывая, что безоговорочно подчиняется милиционеру (службу уважаю), тоже поднял палец вверх — одна минута — и скрестил перед собой руки — уезжаю!..

Сейчас уже милиционер кивнул головой: хорошо.

— Да, поэт был прав, — вновь оживился Владимир Трофимович. — А прав в том, что сейчас и жить хорошо, и жизнь хороша! Ничего не скажешь. — Он погладил живот, помолчал, потом добавил: — Ты согласен со мной, Эдик?

— Какой еще поэт? — сдерживая себя, спросил Эдуард Иванович. — Юзя, что ли? Володя, ты знаешь Юзю-поэта? Откуда? Я же вас еще не знакомил. Он сам до тебя дошел? Это на Юзю похоже. Я всегда говорю, что такой талант не пропадет, даже в наше гиблое время. А как он хорошо пишет, послушай: «Юзя с Эдей пиво пьют, пиво пьют и никому не дают». Талант, а?!

— Большо-ш-о-й!.. — поморщился гость. — Талантливей не бывает. Только никакого Юзи я не знаю. А то, что я читал, написал один трибун. А что, Юзя хороший парень?

— Володя, не то слово! Сам увидишь. Я вас познакомлю, — почему-то обрадовался шеф. — Только не везет ему: наверное, десять книг написал, а никто не печатает. Говорят, спонсора ищи.

— Так дай ему денег, если талант.

— Дай, — развел руками шеф. — А как я их оформлю? На какие нужды? Я не могу. А ты — можешь. Ты — хозяин у себя на месте. А я…

— Хозяин. Так уж. Хотя, можно подумать. Я… — гость не договорил, шеф неожиданно дернул его за рукав:

— Милиционер!

— Милиционер? — будто удивился Владимир Трофимович. — А ты со мной ничего не бойся. Помнишь, как мы с тобой гоняли из-за границы тачки, и ты рэкету на дорогах фиги показывал?.. Не боялся же, а те ребятишки и стрельнуть могли.

— Так ты же за рулем был, — сказал шеф.

— Впрочем, тот же поэт писал: «Моя милиция меня бережет…», — сказал гость и вдруг спросил: — Ты власть али нет?

Шеф не ответил. Он зло, как барин извозчика, ткнул шофера рукой в спину:

— Трогай!..

7

В тот день гость больше не пил. Они ездили по городу по неизвестным Николаю делам. Сначала навещали разные непонятные Николаю фирмы, где гость задерживался подолгу. Шеф же все время сидел в машине и почему-то с опаской посматривал по сторонам, и когда вдруг рядом останавливалась какая-нибудь неизвестная машина, нервно вздрагивал.

Гость уходил молча и возвращался молча. Правда, иногда подмигивал шефу: все в порядке. Тогда Эдуард Иванович нехотя улыбался.

Ездили они также и по частным адресам. Но на квартиры гость шел уже без кейса, оставлял его в машине.

За целый день ни из машины, ни в машину звонков не было: шеф еще на вокзале отключил телефон. Это не удивило Николая: наверное, друзья знали, что где-то там, куда идут радиоволны, могут слышать то, о чем говорится в машине. Но они же ни о чем крамольном не говорили, ни о каких делах.

Шофер заметил, что его патрон, когда гость вспоминает их прежнюю жизнь, настораживается, поднимает палец, предупреждая, чтобы друг часом не сболтнул лишнего. Они, что, гостайны выдают? Водитель и так знает весь послужной список своего начальника: и прапорщик, и учитель труда, и инженер-снабженец, и чей-то помощник, а сейчас — хоть и не ахти какой, а руководитель! С шефом все ясно. А вот его друг, видимо, никакой не руководитель, а просто коммерсант. Хотя может быть, что он одновременно и руководит, и занимается коммерцией. Вот почему шеф такой осторожный, — осенило тогда Николая, — чиновникам нельзя одновременно заниматься бизнесом и руководить!..

Случалось, разные начальники протирали сиденья Николаевой машины, но самый загадочный из них — Владимир Трофимович. Вообще-то интересно наблюдать за всеми друзьями Эдуарда Ивановича. Особенно, когда кто-нибудь из них начинает мнить себя чуть ли не властелином мира. Тогда, входя в роль, он важно откидывается на спинку сиденья, пыхтит, крепко держится рукой за поручень, посматривает в окно с высокомерной ленью, свысока — сама мудрость и сила!

Иногда Николаю кажется, что такие люди словно вылеплены из одного теста. Да и на лицах их одни и те же маски — важность! Конечно, это не так, похожих людей нет. Хотя должность накладывает на человека свой отпечаток. А вот Владимир Трофимович не такой. И к шоферу обращается не иначе как «Ильич»…

Ближе к вечеру гость вспомнил, что целый день не ели. Сказал, что неплохо бы закусить.

— Давно пора! — обрадовался шеф. — Горло промочим. Тем более, я тебе, Володя, по этой части сюрприз подготовил. И знаешь, где? У костра. На природе — прелесть. Водочка холодная, рыбка речная, рыбка озерная, рыбка морская.

— Ну да? — не поверил гость.

— К Юзику! — приказал шеф.

— К твоему поэту, что ли? — спросил Владимир Трофимович и добавил: — Почему не знаю? У меня же знакомых — от Москвы до самых до окраин: дворники, проститутки, министры, генералы — и ни одного поэта. Интересно, интересно… — И он почему-то засмеялся.

8

Николай знал, где живет Юзя, шефов родственник.

Когда миновали пятиэтажный дом, украшенный множеством мемориальных досок, свидетельствующих, что здесь когда-то жило немало знаменитых людей, повернули во двор. Здесь их и должен был ждать Юзя. Он считал себя гением и, чтобы быть поближе к знаменитостям, пусть даже уже ушедшим из жизни, поменял свою большую квартиру на окраине города на меньшую в этом доме. Кроме того, Юзя заказал гипсовую доску, на которой было написано, что в этом доме живет поэт Юзафин К., правда, держал ее в квартире — приколотил к стенке в прихожей.

Николай не ошибся: поэт Юзик К. ждал их во дворе. Николай знал, что этот холостяк редко приглашал к себе в квартиру, в сортир, как говорил шеф (вечно не убрано) посторонних людей. Он сидел в старой, насквозь продуваемой беседке и был похож на брошенного на произвол судьбы пьяницу. Облезлый, изъеденный молью, приукрашенный инеем каракулевый воротник его пальто был поднят. На

голове, втянутой в плечи, — тоже побитая молью заячья шапка. Чтобы хоть-то как согреться, Юзя, словно заведенный, хлопал в ладоши и молотил ногами по деревянному полу беседки. Рядом на скамейке стоял его знаменитый огромный портфель, с которым он никогда не расставался.

Окоченевший от холода поэт даже не заметил, как к беседке подкатила машина. Николай остановился рядом, коротко просигналил. Юзя, словно его укололи, подскочил с места, потом схватил свой портфель, бросился к машине.

Когда он, ввалившись в салон, упал на сиденье рядом с Николаем и судорожно непослушными губами промямлил «…астутя…», Владимир Трофимович, глянув на него, некстати засмеялся: «Ну, брат, ты словно пленный немец…»

Николай удивился такому бездушию гостя. Видимо, Юзя ждал их с самого утра. Впрочем, если им он нужен, то Эдуард Иванович должен был предупредить его, когда примерно они за ним приедут. Телефона у него не было, — видимо, боялся, что приедут во двор, а его нет, разозлятся и уедут. Такое уже однажды было: как-то явились сюда с одним гостем, а Юзи — нет. Шеф сказал, чтобы подождали в машине, дескать, я схожу за ним. Гость взревел:

— Я тебе, что, мальчишка? Хочешь угостить, так угощай, а не вози по всяким закоулкам да к каким-то неизвестным мне поэтам. Поехали!

— Возьмем на вооружение, — пролепетал тогда шеф.

Не исключено, что после этого Юзя получил указание ждать гостей на улице.

Николай отметил про себя, что ни один, ни другой руки Юзе не подали. Хотя сейчас это ему было не нужно: Юзя поставил на колени свой объемистый портфель, простуженно захлюпал носом, застучал зубами.

Николай знал, что у Юзи в портфеле как всегда рыбные деликатесы. Откуда они у поэта, можно было только догадываться: раньше Юзя, когда еще не возомнил себя поэтом, работал в одной организации, занимавшейся то ли торговлей, то ли разведением рыбы, и там у него остались друзья (он окончил биофак университета). Они и подбрасывали Юзе по дешевке рыбпродукцию: тот нигде не работал, потихоньку приторговывал рыбой и писал стихи. Говорили, что поэтический талант Юзи то ли спьяну, то ли искренне открыл один начальник, которому Юзя на юбилей написал поздравительные стихи и прочитал их в учреждении во время чествования юбиляра. Тот прослезился, обнял и поцеловал Юзю взасос, как это раньше было принято в политбюро, сказал, чтобы товарищи берегли Юзю, ибо всякий талант — народное достояние. Юзя уверовал в свой дар: не может же начальство сказать глупость!..

Николай видел, что гость пристально рассматривает Юзю. Как только выехали со двора, Владимир Трофимович заметил:

— Переслужился человек, случается. Такие служаки нужны. А как же?

Шутка ли здесь была, или издевка, Николай не понял. Но он знал, что Юзя не простой человек. А портфель с рыбой — неотъемлемая часть его образа. Куда бы он ни шел (ребята смеялись, однажды даже на правительственный концерт — шеф отдал свое приглашение), везде нес с собой портфель, набитый сырой, вяленой, соленой рыбой. Но просто так Юзя никого не угощал. Обычно, если видел, что ошибся и угощает не того, кто ему нужен, Юзя, как человек воспитанный, сразу виду не подавал и денег не требовал. Но через некоторое время он находил того человека в какой-нибудь компании или в учреждении и прилюдно осторожно дотрагивался рукой до его плеча, напоминал:

— Уважаемый, вы забыли, что до сих пор так и не рассчитались со мной за две вяленые плотки и спинку леща? Забыли… Ничего, бывает. Если сейчас денег нет, я подожду.

Как мог себя чувствовать при этом «должник»?..

То были времена, когда везде всего не хватало. И рыба из Юзиного портфеля была той своеобразной искусительной наживкой, на которую при разных обстоятельствах клевали многие нужные ему люди, среди них — далеко не простые. Однажды один старый литератор, весельчак и добряк, этакая щедрая душа, в своей статье назвал Юзю белорусским Пушкиным. Потом Юзя носился с этой газетой по всем известным ему учреждениям. Он заставлял людей читать то высказывание писателя о нем. Одни смеялись, зная настоящую ценность его «поэзии», другие недоумевали: неужели этот прохиндей — талант? Ну и дела…

Дела-то, конечно, дела, но в то время ясно вырисовывались методы разрушения литературы: один из них — сами писатели разрешили приближаться к ней тем, кому по своей сущности заниматься литературой было противопоказано…

Сейчас, когда Юзя был в машине, Николаю стало жаль Владимира Трофимовича: и его этот прохвост заманит вонючей рыбешкой. Кроме того — гость не дурак выпить, так что поэт, как говорят, съест его с потрохами и не облизнется. А это означает, что он поживится деньгами Владимира Трофимовича, — судя по всему, они у него водятся.

Николай подумал, что они сразу, как бывает в таких случаях, поедут в лес. Там у них есть давно «обжитое» место, где можно, никого не опасаясь, выпить водки, поболтать. Но шеф сказал, что сначала надо заехать на Сельхозпоселок — старый район города, — там их ждет машина Владимира Трофимовича, пришедшая еще позавчера.

Николаю это показалось странным. Приехали в Сельхозпоселок. Владимир Трофимович приказал остановиться возле какого-то деревянного двухэтажного дома, огороженного плотным забором, из-за которого были видны крыши нескольких иномарок. Возле дома на улице стоял уазик. Оказалось, что это и есть машина гостя.

Владимир Трофимович из «Волги» не вышел. Наоборот, из уазика, увидев Николаеву машину, выскочил пожилой водитель и подбежал к «Волге». Владимир Трофимович открыл окно, водитель сказал ему только одно слово: «Выполнено».

Николаю приказали ехать туда, куда собрались. Он тронул с места. За ним — уазик.

По дороге Владимир Трофимович будто вскользь сказал шефу, что сейчас за границей есть телефоны — сотовые называются, очень удобная и надежная связь. Вскоре они и у нас будут, тогда жить станет легче: достал из кармана телефон, набрал номер — говори. Шеф не поверил: возможно ли такое? Гость сказал, что вообще-то уже кое у кого и у нас есть, сам видел.

Представить это было не так уж и сложно: есть же телефон в машине, так почему не может быть в кармане? Но вряд ли это будет хорошо: нигде ни от кого не спрячешься, если так, в том же лесу, куда едут: жена шефа может позвонить, друзья, начальство…

Николай всегда, когда привозил шефа и его друзей сюда, в лес, знал свое место: сидеть в машине, посматривать вокруг, чтобы никто непрошеный не помешал, да ждать, пока господа выпьют и закусят.

Обычно гулянье начиналось с того, что на разостланную на земле клеенку (она всегда в багажнике) раскладывали еду. Это потом уже, когда разгорится костер, шеф и гость говорили о работе, начальстве, размышляли о том, как бы они руководили отраслью, а то и страной, если бы занимали соответствующие должности. Чаще всего гуляли до полуночи. Случалось, допивались до того, что шоферу приходилось выходить из машины и шарить по кустам, чтобы не забыли кого: замерзнет же человек! А если кто, изрядно выпив, не мог держаться на ногах, друзья смеялись: «Слабак!..»

Потом Николай развозил всех туда, куда кому было нужно. Последним вез домой шефа.

Когда приходилось после гулянья убирать полянку, нередко находил недоеденное, а вот чтобы недопитое — никогда. Хотя назавтра шеф мог спросить, не осталась ли «горючка». Если же Николай говорил, что не осталась, шеф очень злился. Николай тут же доставал что-нибудь из своих запасов — нужно было у начальника снимать депрессию.

Хорошо, что он не пренебрегал ни дешевым вином, ни сахарным самогоном. Самогоном снабжала Николая интеллигентная Артимоновна — ей его для натирания спины привозила подруга из села, с которой она когда-то училась в институте. Подруга не скупилась, наверное, этого добра у нее было хоть залейся, и Артимоновна если уж давала, так трехлитровую банку.

Но раньше шеф никогда не приглашал с собой в лес Юзю: возьмет у него во дворе портфель и — будь здоров!

Вообще-то Юзя — личность удивительная. Попробуй пойми: он на самом деле такой или прикидывается? Ребята говорят, что Юзя — графоман, каких не сыскать. Но тогда непонятно, почему известный писатель сравнивал его с Пушкиным? Пошутил? Но как бы там ни было, простые люди верят тому, что пишут в газетах.

Николаю непонятно, почему человеку хочется, чтобы его называли поэтом. Тем более сейчас, когда писатели как растворились, будто их и нет. Да и живут они — не очень. Николай как-то вез Юзю и одного поэта в писательский бар. Оказалось, что поэт тот настоящий! Садясь в машину, он назвал свою фамилию: мать честная! Это же песни на его стихи часто звучат по радио. Юзя требовал, чтобы поэт переписал какой-то его стишок так, чтобы его можно было напечатать в журнале. Поэт отвечал, что никогда и ни за какие деньги не будет переписывать бездарные стишки.

— Но меня вся республика читает! — орал Юзя, суя под нос поэту какую-то районную газету. — Вот, смотри!

— Говорили мне, что ты на ксероксе в сотнях экземпляров откатал какой-то свой стишок и разослал его по всем газетам, какие только есть. Где-то даже печатают. Смотри, попадешь в Книгу рекордов Гиннесса.

— И попаду! — грозился Юзя, явно не понимая иронии.

— Литература должна быть совестливой, — высокомерно пытался образумить Юзю поэт. — В ней должна быть хотя бы элементарная этика.

— Плевал я на твою совестливость и этику! — кричал Юзя. — Мне отовсюду гонорары шлют. Назови хоть одного поэта, чтобы его стихи везде печатали!

Поэт не назвал. Он застонал. Затем вновь попытался что-то говорить о совести, но Юзя не слушал его, пригрозил:

— Да я вашу культуру и этику давно купил! И тебя, дурачок. А ты и не заметил. Вы все падки на мою рыбку. Подожди, еще подо мной ходить будешь, вот стану большим начальником, тогда узнаешь!.. — вдруг успокоился Юзя.

— В этом мире все может быть, — ответил поэт. — А вообще-то, скажу тебе, полуколлега, имел основания наш земляк, великий Достоевский, когда о таких, как ты, сказал следующее... — Он на минуту смолк, прикрыл глаза, вспоминая. — Да, дословно, Федор Михайлович сказал так: «Поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете брать билет, чтобы показать вам свою власть…» Так и ты, дорогой мой друг, дай тебе только какую должностишку, и неважно где, но ее, ты и ее…

— Издевайся, издевайся, — не обиделся Юзя, — я давно привык ко всяким издевкам, и они меня не волнуют. Они — от вашего бессилия передо мной. Так что стишок ты мой перепишешь, и под ним будет стоять мое имя. Пройдет

время, и ты будешь радоваться, что когда-то мне помогал. Будешь подолгу ждать, когда я тебя приму в своем кабинете. Вот увидишь.

— Ты — сможешь. Только знай, с голоду подыхать буду, а к таким, как ты, в услужение не пойду!

— Ну, смотри…

Разговор был вроде серьезный и несерьезный. Николаю было ясно одно: что-то вокруг не так.

И еще он думал о том, что как ни противится песенник, а Юзя давно его захомутал. Вместе они не впервой. И ругаются не первый раз. Часто, когда шеф давал Юзе машину для поездок по организациям по каким-то делам, тот брал с собой поэта.

Юзя всегда садился рядом с Николаем, держа в руках свой провонявший рыбой портфель.

Из машины Юзя любил звонить в организации и учреждения. Обычно он представлялся сотрудником какой-нибудь газеты или журнала. Должность называл, как понимал Николай, не самую большую: заведующий отделом, специальный корреспондент. И словно между прочим замечал тому, с кем разговаривал, что звонит прямо из своей служебной машины. Просил, например, будто для журнала «Маладосць», три килограмма дешевых дрожжей, мешок крупы для «Полымя», сахар для «ЛiМа», кирпич для какой-то газеты (в то время все это было страшным дефицитом). Но более всего Юзя любил выпрашивать в каком-то магазине дешевых кур, и не штуками, а ящиками. Кур, правда, уже не для редакции, а якобы для учреждения, которым руководил шеф.

Но в учреждении и в редакциях никто эти дефицитные товары и продукты не видел. Те люди, что давали их Юзе, наверное, считали, что в редакциях и в организациях, для которых якобы Юзя доставал продукты, — крохоборы.

Как-то песенник попросил Юзю, чтобы тот дал ему курицу в долг, Юзя обрадовался:

— А фигушки! Ты мне и так должен, как земля колхозу. Не дам! Заработай.

— Ну, погоди! — сказал песенник. — Вот получу гонорар — рассчитаюсь с тобой, и — знать тебя не знаю! Надоело.

— А это еще надо посмотреть, — ухмыльнулся Юзя, — хватит ли твоего гонорара рассчитаться со мной.

Однажды Юзя дал поэту тяжелую папку, сказал, чтобы тот отредактировал его книжку. Поэт, мельком взглянув на первый лист, застонал. Потом сказал Юзе, что потерял очки. И вообще — хватает своей работы.

— Я тебе привезу очки, — пообещал Юзя. — А твоя работа подождет.

И привез. С Николаем. На следующий день. Где-то откопал старые кругляшки с одним ушком, вместо другого привязал резинку. Поэт, увидев такую важную для редакторского труда вещь, улыбнулся, взял ее, напялил на нос и радостно закричал, что очки ему не подходят. «Здесь минус, а у меня — плюс три!» Хотел вернуть назад, но Юзя не позволил:

— Не выпендривайся! Тоже мне, господин нашелся! Минус, плюс… Работай! Я ведь тоже иногда для солидности ношу не свои и — ничего, жив.

Николай предполагал, что книжка та — поэма об угре. Об этой поэме Юзя много говорил. Дескать, какой-то Гусовский или Гусаковский несколько столетий назад написал поэму о зубре. Там ничего нельзя понять, и все почему-то ее хвалят. А я — об угре! А что? Это знаменитая и дорогая рыба, и он о ней много читал в университете. Кроме того, там говорится и про вес рыбы, и как она у нас разводится… Юзя надеялся, что за свой труд он может получить большую премию: кто-то из писателей то ли в шутку, то ли всерьез пообещал выдвинуть Юзино произведение на какой-то литературный конкурс.

…Тогда, когда разговаривали о Книге рекордов Гиннесса, Николай вез Юзю и поэта в писательский бар. Николай никогда не видел настоящих писателей, тем более не мог представить их пьющими и закусывающими. Ему казалось, что они такие, как герои их книг. Вот песенник, так он такой, как и его песни: и грустные, и веселые, и задорные. А другие писатели?..

— А мне можно зайти с вами? — спросил Николай, когда они приехали.

— Конечно, можно будет, если найдется место, — ответил поэт. — А пока подождите в машине. Мы сходим посмотрим.

Юзя и песенник исчезли в здании Союза, но вскоре вышли оттуда злые, оказалось, их не пустили: бар оккупировали какие-то коммерсанты то ли из Смоленска, то ли из Воронежа. Правда, Юзе и песеннику разрешили быстро выпить по стопке на кухне.

— Эх, — говорил после Юзя, — вот стану начальником, и коммерсанты передо мной плясать будут…

Тогда, когда ехали в лес, Николай думал о том, что такие, как Юзя, могут много плохого сделать людям, пусти их только в начальники.

…Вот он, Юзя, сидит рядом с водителем. Хлюпает сопливым носом, несет от него залежалой рыбой. Уже и гость морщится, принюхивается, никак не может понять: откуда в салоне такая вонь? Он вопросительно посматривает на шефа, а Эдуард Иванович молчит. Он давно привык к этой вони.

В боковое зеркало Николай видел машину Владимира Трофимовича. Она, как говорят водители, висела у него на «хвосте».

Николай отметил про себя, что этот периферийный водитель чувствует себя в городе так, словно ездит здесь всю жизнь: не отстал ни на одном светофоре.

За кольцевой дорогой через пару километров съехали на узкую, одной машине проехать, дорожку. Вскоре выехали на мостик, под которым бежал и дышал паром незамерзающий ручей. Через этот мостик не каждый осмелится не то что ехать — идти. Николай знал, что мостик довольно-таки крепкий, на бетонных сваях, но почему-то колышется: наверное, плахи рассохлись и не очень прочно приделаны к сваям. Шеф говорил, что когда-то здесь была дорога на хутор. Но хутор снесли, а дорога заросла, и сейчас по ней, кроме них, никто не ездит и не ходит.

Ручей, или речушка, начинается где-то в лесу, недалеко отсюда. Петляет среди холмов и холмиков, он бежит по березняку и ольшанику, не замерзает ни в какой мороз, здесь водится форель...

Николай про себя назвал эту дорогу именем товарища Эдуарда Ивановича Т. — шеф ее открыл давно, когда еще не был начальником и пешком ходил сюда по грибы.

Сгущались сумерки. В колеях, слегка присыпанных снегом, слабо отражался лунный свет. Небо на западе было еще красноватое. Обычно так бывает перед хорошими морозами. По обе стороны дороги, как изваяния, стояли заснеженные ели и березки с заиндевевшими ветвями. В низинах чернели ольхи. Местами здесь встречались дубы с пожухлой, кое-где не опавшей листвой. Вершины у высоких деревьев были еще розовато-золотистые, а вот стволы — коричнево-черные.

Николай знал, что он околеет в машине: не будешь же весь вечер сидеть с включенным двигателем да с работающей печкой. Хотя ему было не привыкать мерзнуть: если уж очень проберет — он мог подойти к костру, чтобы погреться.

Но сидеть в машине ему вообще не пришлось. Как только остановились на полянке, гость, выходя из машины вслед за шефом и заметив, что Николай остается, словно попросил:

— Ильич, может, и ты выходи. Надо проветрить салон: чертом воняет. А пока они, — кивнул на шефа и Юзю, — будут сооружать ужин, так мы с

тобой разложим костер. Люблю, брат, костер ночью: таинственным все вокруг кажется.

Конечно, Николай не мог ослушаться Владимира Трофимовича. Решил, что шеф не будет ругаться, что шофер присоединяется к компании, — велено же! А вот своего водителя Владимир Трофимович почему-то в компанию не пригласил.

За дровами далеко не надо было ходить. Еще с осени здесь делали санитарную вырубку, вокруг поляны хватало валежника.

Костер разжигал гость. Видно было, что он в этом деле мастер, — одной спичкой разжег валежник.

Николай стоял возле костра и не знал, что ему делать дальше: идти к машине или оставаться, — он принес валежник и сейчас не нужен. Шеф и Юзя не обращали на него внимания. На клеенку, разостланную на снегу, они выставляли бутылки, клали хлеб, вяленую плотву, копченого карпа, жареных окуней, соленого леща и даже баночку консервов «угорь в желе».

Пили они культурно. Перед каждой рюмкой — обязательно тост. А тост у них один. Его произносил гость: «Вперед!»

Первым после этого «мудрого» слова выпивал сам оратор. Шеф и Юзя ждали. Видимо, считалось, что этим они оказывают гостю глубокое уважение.

Сейчас гость пил иначе, чем утром. Тогда — одним глотком полстакана. Сейчас выпивал содержимое целого стакана в три глотка, и тело его не дергалось в конвульсиях.

Шеф выпивал сразу же после гостя. Пил он маленькими глотками, морща лоб. Опорожнив стакан, нюхал хлеб, но не закусывал им, клал на клеенку, ждал, пока выпьет Юзя. Юзя пил большими глотками, словно утолял жажду.

После каждого стакана начинался разговор. Сначала говорили спокойно. Потом, хорошо опьянев, начали орать, перебивать один другого, и наконец уже никто никого не слушал. Больше говорили гость и шеф. Юзя, очистив три плотвички, — одну положил возле себя, вторую — возле гостя, третью подал шефу, пристал к Владимиру Трофимовичу:

— Попробуйте! Нарочанская! Специально для вас, глубокоуважаемый Владимир Трофимович, такая вкусная! Кому иному я такую не дал бы!

Но гость не слушал. Юзя, наверное, вообще мешал Владимиру Трофимовичу отдыхать после нелегких дневных забот. Кроме того, человек ночью ехал в поезде, наверное, не выспался как следует…

Когда Юзя надоедал со своей рыбкой, гость легонько отталкивал его от себя, но это на стихоплета не действовало. Он вновь приставал со своим:

— Попробуйте! Совсем не воняет…

Николаю все это было противно. Может, если бы тоже выпил (но он — за рулем) и был с ними на равных, ни на что не реагировал бы. А так…

Он уже завидовал шоферу шефа: наверное, человек, укутавшись в теплый кожух, давно спит и все ему нипочем. Здесь же…

Изрядно опьянев, гость и шеф несут вздор да нахваливают один другого. Время от времени Владимир Трофимович отталкивает от себя бедного стихоплета. А тому по-прежнему все было нипочем.

Конечно, что все так будет, можно было предвидеть: не первый раз Николай привозит сюда шефа и его гостей, всякое повидал на этой полянке.

Сейчас он сетовал, что легко одет: курточка, осенние туфли. Впрочем, пока у него нет добротной одежды.

Юзю с его рыбкой оттолкнули в очередной раз. Но теперь стихоплет обиделся. Он отошел от костра и, как настоящий поэт, посматривал на звездное небо, что-то бормотал себе под нос. Потом принялся размахивать руками, ходить вокруг костра. Наверное, слагал стих.

Юзя расстегнул пальто, но не снял его, не снял и шапку, сдвинул ее набекрень — видно, так за день промерз, что и сейчас еще не согрелся.

Разгоряченный же гость сбросил на снег свою легкую курточку, остался в белой рубашке. Сейчас он был похож на привидение: что-то непонятое бормотал, шатаясь возле костра. Огонь высвечивал его смуглое костлявое лицо, тонкий силуэт, совсем не похожий на тучный шефов.

Эдуард Иванович что-то хотел сказать гостю, но тот его не слушал. Было заметно, что Владимир Трофимович почему-то начинает злиться.

Постепенно костер догорал. Вокруг поляны сгущалась тьма. Березняк, окружавший ее, преобразился в сплошную темную стену. Казалось, снизу она подрезана острой розовой полоской.

Николай почти на ощупь сходил к куче валежника, принес большую охапку сухих ветвей. Пока он отсутствовал, мужчины еще выпили и совсем опьянели. Владимир Трофимович уже сильно шатался, но пытался стать по стойке «смирно», щелкал каблуками, орал:

— Слушаюсь только вас, мой молодой генерал! За вас любому морду набью, мой молодой генерал!

Сначала Николаю показалось, что гостю стало плохо: перепил. Такое случается с теми, кого называют «слабаками», любящими хорошо выпить. Но когда присмотрелся, то понял, что Владимир Трофимович, представляя себя военным, просто дурачится. Пусть, только бы не начал буянить или драться: тогда неизвестно, кого надо будет спасать.

«Молодой генерал», как понял Николай, его шеф, поддерживал игру. Он посмотрел на гостя, вытянул перед собой руку, наставлял «пистолет» (палец) тому в грудь, орал:

— Стоять, лейтенант! Упадешь — пристрелю!..

Юзя бегал вокруг них, словно подталкивал свояка на настоящее дело:

— Стреляй в него, Эдя, стреляй! Что-то не нравится мне этот длинноногий. Ты зачем меня сюда привез?

Услышав это, гость вдруг сорвался с места и неожиданно бросился на Эдуарда Ивановича. Но тот опередил, успел «выстрелить». Тогда «лейтенант» неизвестно какой армии, падая, обхватил за шею «молодого генерала», но тот удержался на ногах, — начали целоваться.

Юзя же упал на колени, принялся прихлопывать в ладоши, считая: «…пять, шесть, семь… одиннадцать…»

Гость, все еще целуя друга, одной ногой оттолкнул Юзю, на другой прыгал вокруг Эдуарда Ивановича.

Юзя упал, но продолжал считать. На счете «пятьдесят три» гость вдруг сильно оттолкнул от себя друга — тот упал спиною на снег, заорал:

— Эдя! Убери этого юродивого, а то убью!

— Его? — спросил шеф, пробуя подняться. — Так это же Юзик, поэт. Мой свояк… За что?

— Поэт? — удивился гость и внимательно, изучающе посмотрел на Юзю. Казалось, только сейчас он впервые увидел его. Изучив же, нагнулся, решительно схватил стихоплета за воротник пальто, приподнял, словно щенка, повернул лицом к костру, костер вновь вспыхнул, Николай подбросил веток, потребовал:

— Фамилия?

— Импетовский! — выкрикнул Юзя. — Если не слыхали — вам минус.

— На каком языке пишешь?

— А на каком надо?

— Н-да, — сказал гость. — Даже так… Тогда кто же ты такой, Юзя Импетовский? Может, мой адрес не дом и не улица?.. Иль ты, как Паниковский, гражданин мира?.. Говорят, что настоящие поэты пишут на том языке, на каком думают, на каком душа поет… Хотя, не знаю, не знаю, далек я от этих дел.

— Володя, что ты к нему прицепился? — вмешался Эдуард Иванович. — Юзя хороший парень. Поэт. Но пока в госизданиях его не хотят печатать. Говорят, ему нужен хороший редактор. А частники согласны издать хоть вчера, но за деньги автора. Юзе спонсор нужен. Я не могу ему помочь. Нет у меня в учреждении возможности спонсировать. А вот если бы ты…

— Говоришь, поэт? — переспросил гость. — Думал, что меня можно рыбкой купить. Нет, братец, мелко берешь. Если хочешь знать, я сам могу любого купить. Я ведь такую жизнь прошел, что…

Гость приподнял Юзю от земли, затряс, словно щенка.

— Пусти, болит! — заорал стихоплет. — Удавишь… Рыбу жрал, а сейчас меня же за мое добро…

— Брось, брось, Володя! — закричал шеф. — Да ты его на самом деле задушишь!

— Брошу, — спокойно сказал гость и отпустил воротник Юзиного пальто.

Импетовский тяжело шмякнулся на землю и затих…

Все это вспомнилось сейчас Николаю и, как казалось, на некоторое время отвлекло от мыслей о жене, дочурке, которую он еще не видел, сыне... И было еще одно то ли воспоминание, то ли видение, но не сейчас, а вчера, когда Николай, вымыв машину, опоздал на автобус и не поехал домой, а заночевал в Ерофеевой сторожке.

9

…Каждое лето после обильных дождей на реке случается паводок — тогда вода срывает с нижнего склада, находящегося выше Буды, бревна, а то и целые плоты, и стремительно несет их по течению, пока здесь, возле деревни, где русло делает колено, не сталкивает с левым берегом. Тогда бревна перегораживают реку: здесь образуется своеобразная запруда. Держится она до тех пор, пока не придут плотогоны и не растянут баграми затор, свяжут кругляки в плоты, подцепят к маленькому буксиру, и тот потянет их к плотине Чернецкой электростанции, чтобы там через шлюзы спуститься с ними ниже и тащить древесину в город к лесокомбинату.

Такой порой буднянские кавалеры перебираются по бревнам на тот берег в соседнюю деревню Хвойницу на танцы — там девичье общежитие местного торфопредприятия и лесхоза. Не будут же женихи, как ребятня да старушки, ходить за три километра к плотине, а потом почти полтора по ней, чтобы попасть в Хвойницу. (Так малышня бегала в кино, а старушки ходили в церковь — в Буде нет ни клуба, ни храма.)

Когда-то в детстве Колька осмелился перебраться по круглякам с того берега реки на свой.

…По мокрым, скользким, крутящимся в воде бревнам с того берега на этот, где стоит Николай, бежит мальчишка. Так и мелькают его покрасневшие пятки, а за спиной ветер развевает длинную, с чужого плеча, красную рубашку.

Николай видит, что мальчишка прижимает к груди что-то круглое, желтое, похожее на большую луну. Кажется, еще мгновение, и оно или она выскользнет из его рук, покатится по бревнам, а на самом глубоком месте нырнет между ними, и пока мальчик добежит до того места, исчезнет, заколышется из глубины бледным светом…

Николай не понимает ничего, что происходит вокруг, тем более не понимает, почему мальчик бежит через реку по скользким бревнам, если можно было перейти ее по плотине. Бежит он, как говорят в деревне, когда кто-то делал совершенно не то, что надо, а оно грозило опасностью, — на слом головы…

В то мгновение, когда Николай осознал это «на слом головы», он ясно представил, какая беда надвигается на мальчишку. И сразу же, словно через туман, он разглядел: это же его сын, Гришка…

Николай закричал, чтобы сын, пока не поздно, возвращался назад, к тому берегу, и ждал там отца: ведь если кто сейчас и сможет перебраться через реку по скользким, танцующим под ногами бревнам, так это он, отец. И он все кричал Гришке, а тот не слышал его, бежал и бежал сюда, к своей деревне, домой. И Николай с ужасом понял, что он сам не слышит своего голоса — из груди вырывается стон…

Тогда он попытался сорваться с места, броситься навстречу сыну, надеясь перехватить его возле того места между бревнами, куда нырнула луна (откуда она взялась днем?), но не смог — ноги словно вросли в землю. И вообще сейчас Николай был сам не свой. Единственное, что ему сейчас было подвластно, — только мысли. А между ними, самыми разными, одна — жуткая: он не может предотвратить беду, надвигающуюся на сына с катастрофической скоростью…

А сын по-прежнему бежал к фарватеру, где течение раздвинуло бревна. Там — омут. И было понятно, что Гришке его не перепрыгнуть и что остановиться он уже не сможет. И вот до омута остается один шаг. И в этот момент Николай закричал что есть силы, сорвался с места, бросился навстречу сыну. Но было поздно. Гришка оттолкнулся от бревна, оно нырнуло в воду, взлетел над омутом, раскинув руки, замахал ими, словно крыльями: в то же мгновение круглый, как полная луна, хлеб исчез в бурлящей темной воде. А Гришка, на секунду задержавшись в воздухе, неистово закричал:

— Хлеб!.. Хлеб!..

То ли сон, то ли видение исчезло…

…Николай с трудом поднял от стола голову, словно налитую свинцом. Кололо в висках, болел затылок, одеревенела шея. И сразу же, как открыл глаза, его ослепил яркий свет лампочки, висевшей низко над столом. Какое-то время Николай не понимал, где он и что с ним. Но вскоре стол, сколоченный из грубых досок, старая шинель без погон, висящая справа на стене, узкие деревянные нары вдоль нее и небольшое зарешеченное окошко напротив, лай собаки на дворе и яростный приказ: «Фас!..Чужие!» возвратили его в реальность — в сторожке.

Почему-то вольной показалась ему тьма за зарешеченным окошком, как и вольными казались мотыльки-снежинки за ним. Но приснившееся чувство страха еще долго овладевало им. Может, потому, что вновь до него долетел яростный лай овчарки и идиотски-радостная команда: «Фас! Чужие…» Подумалось, что сейчас прозвучит выстрел… Николай вздрогнул… Ему захотелось подхватиться, вышибить тяжелую железную дверь, броситься в темноту, подбежать к хозяину пса, схватить того за грудки, заорать на весь мир: «Люди, что же это такое…» Но не бросился, он даже не пошевелился на табуретке — Ерофей тренирует пса, есть такое хобби у бывшего охранника ГУЛАГа… Верит человек, что вернется то далекое страшное время.

Беда это: больной, несчастный старик. Наверное, то время сломало его жизнь, заставило видеть мир, полный врагов, убедило, что с ними надо бороться ежедневно, ежечасно, беспощадно уничтожая…

Беда и в том, что ночные забавы старого отставника далеко не безобидны. Еще бы: вдоль высокой, похожей на тюремную ограду из бетонных плит стены, сверху оплетенной колючей проволокой, между двумя столбами он натянул шнур, закрепил его на шарнирах и коловороте. На этом шнуре болтается набитый опилками комбинезон. Когда Ерофей крутил коловорот, муляж человека начинал «убегать», и волкодав по команде «фас!» бросался на него.

Старые комбинезоны сторож выпрашивает у водителей. Ему нужно, чтобы одежда пахла теми людьми, которые здесь работают. Мужчины смеются, дескать, пусть забавляется старикан, а Николаю в этом видится нехорошее...

Сегодня, точнее, вчера, вернувшись в полночь в гараж, чтобы утром, как было приказано, «подать» шефу без пяти шесть машину, Николай с разрешения Ерофея решил скоротать ночь в его сторожке. Ужасное место, ужасный сон, приснилось, будто это не он мальчишкой бежит по бревнам через реку, а сын.

…Тогда Николаю было столько же, как сейчас Гришке, — девять лет. Колькина мать лежала в больнице в райцентре. За мальчиком присматривали соседи, дед Федор и бабушка Полина. А чтобы он не шлялся без дела, хвойницкий пастух, старый Евтеха, друг деда Федора, взял мальчика к себе в пастушки.

Мальчику было тяжело подниматься рано утром, чтобы не опоздать. Дед Федор всегда будил его стуком в окошко. Когда же Колька вставал, приводил себя в порядок, старик не преминал напомнить ему, чтобы он аккуратно, без баловства, переправлялся через реку на его челноке. И пока Колька плыл к тому берегу, дед Федор стоял и наблюдал за ним.

Переправившись через реку, Колька привязывал к вербе челнок и бежал в деревню. С этого ее конца он собирал стадо и по длинной улице гнал на тот конец, где его ожидал живший там дед Евтеха.

Вдвоем они гнали стадо за деревню. Сразу же за последними избами начинался колхозный луг. Надо было смотреть в оба, чтобы стадо не вошло в луг, тогда беды не миновать — пастухов оштрафуют за потраву: коровы-то не колхозников, а лесоучастковцев из нижнего склада. (У колхозников было свое стадо.)

Колька как угорелый носился за коровами, справлялся. Конечно, Евтехе без мальчишки никак нельзя.

Когда по пыльной дороге, минуя луга, входили в лес, можно было отдышаться. Коровы начинали есть лесные травы, разбредались по полянкам. Евтеха садился на пенек, звал Кольку. Когда тот прибегал, старый пастух говорил, что сейчас буренки никуда не денутся, разбредутся по своим полянкам, а к полудню, как всегда, потянутся в глубь леса к ручью на водопой и отдых. Так что — в самый раз пастухам перекусить.

Старик клал на колени полотняную торбочку, будто спрашивал:

— Ну как, раб божий Николай, посмотрим, что собрала нам моя Невдашечка.

Он важно, не спеша, развязывал торбочку, доставал из нее хлеб, яйца, сало, бутылку молока. Затем все перекрещивал, приглашал Кольку завтракать.

Евтеха как никто в деревне был набожный. Взрослые говорили, что он еще до войны где-то принял старую веру. Вспоминали, что когда его раскулачили (хотя никто не знал — за что?) и гнали по деревне, Евтеха, кланяясь людям, крестился тремя пальцами. Но после войны, когда в пятидесятые годы возвратился, крестился уже двумя перстами. Пришел он из ссылки не один, привел с собой хрупкую, маленькую, ну совсем девчонка, жену, которую почему-то звал Невдашечка.

Николай и сейчас не знает, что связывало старого солдата и героя деда Федора, любителя хорошо выпить и покурить крепкий самосад, с богомольным Евтехой: этот водки не замечал и на дух не переносил табак. Более того, он никогда не пил воды из одной кружки с иноверцами — так он звал всех буднянцев и хвойничан. Но говорили также, что в молодые годы Евтеха и Федор якобы дрались за Полину: тем более непонятной была сейчас их дружба…

Сначала Колька отказывался от чужой еды. Он говорил, что дома позавтракал. Евтеха сказывал, что это в его, Колькину, оплату не входит, да и негоже врать старшим, мол, я все о тебе знаю: и что один, и что мама в больнице, и что парень ты неплохой…

Старик доставал из торбочки две одинаковые кружки. Одну себе, другую, ручка которой была перевязана веревочкой, подавал Кольке и объяснял:

— Ты, Николай, не обижайся. Вера у меня такая, запрещает пить-есть из одной посудины с иноверцами.

Колька ничего не понимал, но не обижался на Евтеху: что возьмешь с этого старика с седой длинной бородой, который верит в Бога. Он же, наверное, в школе не учился. А какая школа при царе была, Колька знал из учебников: да в ней закон Божий преподавали, вдалбливали детям в голову всякую ерунду. Тогда даже пионерской организации не было! Колька же готовился вступать в пионеры: а как же!..

Но и иное слышал мальчик от старого богомольца: «Если человек обижает другого, если не разделит с голодным свой хлеб, не согреет того, кто нуждается в тепле, так какой бы он веры ни придерживался, сколько и какому Богу ни молился бы, грош ему цена».

Колька тогда мало что понимал в такой философии старого отступника (так Евтеху иногда называл дед Федор), но боялся одного: вдруг в школе узнают, что он слушает нравоучения богомольца, тогда не примут в пионеры и на этот раз. Ведь в прошлый раз, когда в пионеры принимали его одноклассников, Кольки в школе не было — болела мама, и он пропускал занятия, ухаживал за ней.

Тогда Колька тайком плакал: ведь он один из класса не пионер. Ему было очень обидно. Но однажды учительница сказала, что в пионеры его примут уже в четвертом классе, перед Октябрьскими праздниками. А это значит этой осенью, так что ждать ему не так уж и долго.

Евтеха все лето подкармливал мальчика, хотя кормили его и хозяева коров. Давали с собой. И Колька даже приносил еду домой.

Дед Федор, глядя на Кольку, радовался, что он за лето набрался сил, как говорил, «окреп», и сейчас называл его не иначе как Николай. Сосед несколько раз ездил в райцентр, чтобы навестить Колькину мать в больнице, возил ей передачи, собранные Невдашечкой. Возвращаясь, успокаивал мальчика, что его мама поправляется, что она радуется за сына — он же при деле, взрослый.

Этот «взрослый» не раз втайне от людей плакал, что его мамы нет с ним, что она все болеет и болеет. Единственное, что было его утешением, так это что он работает, а коли так, то, как вернется мама, они смогут какое-то время жить без забот. И все у него было хорошо до тех пор, пока не пошли дожди. Тогда с нижнего склада сорвало эстакаду и на реке возле деревни образовалась запруда из бревен. Колька вынужден был вставать совсем рано, бежать к плотине — а это большой круг — и по ней перебираться на тот берег, чтобы не опоздать собрать стадо.

Часто утром, когда Колька бежал к плотине, его на «козлике» обгонял Гел. Мальчик знал, что тот ехал в Хвойницу, но Гел ни разу его не подвез. В Хвойнице была замужем Гелова дочь, и отец (это знали все) часто возил ей что-то из колхозной фермы или амбара.

Евтеха говорил Кольке, что к школе он неплохо заработает, сможет купить себе не только костюмчик, но и теплую жакетку для матери, да еще останутся деньги на жизнь. Старый богомолец, когда Колькина мать вернулась из больницы, давал ей лекарственные травы — Евтеха слыл знахарем, он им стал, говорили, вернувшись из ссылки с севера.

Трудно определить, от лекарств или от трав, но к осени мать выздоровела и даже стала ходить на работу в колхоз: боялась, что на зиму останется без трудодней. Да и бригадир не раз упрекал ее, что все деревенские мальчишки помогают колхозу, а ее сынок к вражине-кулаку приклеился. А раз так, то к зиме она ничего не получит из колхоза: поголодает с сыном — будет знать, что почем. Но мать не хотела, чтобы Колька ходил в колхоз, говорила, что в колхозе она «поклала» на ферме здоровье и сейчас никому до этого нет дела.

До болезни мать доила коров в продуваемом ветром коровнике. Она очень рано поднималась, поздно возвращалась. Сама, с другими такими же доярками, таскала коровам бесконечное множество ведер воды, силос, убирала навоз. Вечно ходила простуженная, но ни бригадиру-пьянице, ни Гелу до этого не было дела. Конечно, в таком положении были все доярки, молодые и пожилые женщины. Все они часто болели, работали как каторжные, у них не было ни выходных, ни отпусков, в отличие от тех, кто работал на лесоучастке или на нижнем складе. Мальчик, видя это, уже тогда понимал, что чем больше работает человек, тем более он унижен, как его мать, например.

Однажды накануне Спаса, когда из больницы вернулась Колькина мама, Евтехина Невдашечка испекла хлеб. Старик утром, когда Колька собрал стадо, дал ему огромный душистый каравай и сказал, чтобы мальчик шел домой, отнес матери — приближается праздник. И вообще, пусть Колька уже отдыхает перед школой, расчет Евтеха принесет ему чуть позже, когда соберет с людей плату. И еще говорил ему пастух, что хлеб этот — особенный, ибо Колька его заработал сам.

Мальчик еще никогда так не радовался, как тогда. Еще бы: он заработал хлеб! Он взрослый и сильный. Сейчас он никого и ничего не боялся, даже ихнего обидчика Гела. Колька верил: как только мать поест этого хлеба, то выздоровеет окончательно.

Конечно, Кольке хотелось как можно скорее порадовать мать. Разве он мог бежать домой по дальней дороге — через плотину? Известно, если у тебя такая радость, забудешь о всякой осторожности и никакие преграды тебе не страшны: скорее, скорее…

Уже когда мальчик бежал к реке, прижимая к груди каравай, его на «козлике» догнал Гел. Колька, чтобы не попасть под колеса, остановился. Гел, как показалось мальчику, нехорошо усмехнулся, прибавил газу — машина направилась к плотине.

Колька вновь побежал. Он спешил к реке и думал только об одном: как обрадуется мама, когда он положит на стол каравай… Он представлял, как она будет гладить его по голове, говорить, что сын уже взрослый, настоящий помощник, и что сейчас ей ничто не страшно, даже Гел.

Колька бежал и не видел, что на противоположном берегу, на том месте, к которому он стремился, стоит конюх Осип. Он, как всегда в это время, пригнал к реке поить лошадей. Осип, поняв, что мальчик собирается по бревнам перескочить реку, начал махал ему кулаком, кричал, чтобы Колька не смел лезть на бревна, грозился исполосовать ремнем задницу, а мальчик ничего этого не видел и не слышал. Он уже вскочил на первый плот. Слабо связанные бревна, словно клавиши, заплясали у него под ногами, а Колька, не обращая на это внимания, прыгал по ним вперед, к родному берегу. Он не видел, что ближе к середине реки, к фарватеру, не плоты, а несвязанные бревна, что они тяжело трутся друг о друга, угрожающе ворочаются — здесь бездна…

…А дальше все было, как во сне с его сыном Гришкой… Прыжок над бездной, и раскинутые в стороны руки, словно крылья, будто Колька хотел взлететь, и каравай, нырнувший в темную глубину, и отчаянный крик: «Хлеб!.. Хлеб!..»

Уже проваливаясь в бездну, Колька чудом успел ухватиться за бревно и не выпустил его даже тогда, когда из разжатых пальцев по воде растекалась кровь. Он не помнил, как Осип длинной жердью подтаскивал его к прибитому к берегу плоту. Когда мокрый, перепуганный Колька лежал на берегу и повторял как заведенный одно и то же: «Хлеб!..», Осип не бил его и даже не бранил, а только беззвучно, по-старчески плакал.

Кажется, ни до того случая и никогда потом Николаю не было так больно и обидно. Ему было жаль себя и маму. Тогда ему казалось, что с этим зарабо-

танным караваем, раздавленным бревнами, исчезнувшим в бездне, навсегда исчезла надежда на добро в его, Колькиной, и горемычной маминой жизни. Он считал себя виноватым в том, что не послушался маму, просившую ходить только по плотине, деда Федора, Евтеху. Это была его не по-детски осознанная вина (подвел всех). Она жгла душу словно незаживающая рана. И дома, куда его, выбиваясь из сил, почти бесчувственного принес старый Осип, Колька не мог успокоиться, понимая, что он натворил.

А вечером, когда он, истерзанный обидой, упал в полузабытьи, во дворе застучали колеса. Послышалось: «Тпр-у-у!..» Через минуту в хату вошел Евтеха. Он посмотрел на него, лежащего на кровати, на опечаленную, растерянную мать, постоял у порога и вдруг вопреки своей вере взял на скамейке кружку, посудину иноверцев, из которой они пили, зачерпнул из ведра воды и, думая о чем-то своем, долго пил.

Потом Колька заснул, спал целые сутки. Мать говорила, что Евтеха творил над ним молитвы и заговоры. Он просил Бога, чтобы к рабу Божьему Николаю «не пристала никакая хворь», чтобы «ум его не помутился», чтобы «падучая» прошла стороной и сгинула в сухом лесу.

Колька проснулся только тогда, когда следующим вечером приехал на телеге Евтеха. Он подошел к кровати и положил свою грубую ладонь ему на лоб. Какое-то неизвестное до сих пор спокойствие заполонило мальчика. Ему стало легко и хорошо.

И снова старый богомолец пил воду из их кружки.

А осенью, когда пошли первые заморозки, Евтеха привез его, Колькин, заработок: три мешка ржи (он сказал: «хлеба»), хорошую плашку сала, почти воз картошки и даже горсть денег.

Евтехина Невдашечка передала от себя гостинец: яблок, лука, чеснока, огурцов, помидоров — чего в тот год у них не было, так как за огородом ухаживать было некому и он зарос сорняком.

С тех пор Николаю, и когда был мальчиком, и когда вырос, стал взрослым, и сейчас, может быть, тысячу раз снилось одно и то же — он, мальчишка, прижимая к груди каравай, бежит по мокрым скользким бревнам через реку, и… срывается в бездну…

Во сне он понимал, что это сон, на самом ужасном заставлял себя просыпаться, а проснувшись, вновь и вновь мысленно возвращался к былому. И сейчас его сковывал ужас, ему как никогда было жутко: сейчас во сне был не он, а его сын, Гришка…

После этого Николай уже заснуть не смог. Может, если бы был дома, еще поспал бы. А здесь, в сторожке — нет!

Он подумал: если бы дежурил другой сторож, Пенкрат, так с тем можно было бы договориться, взять машину и съездить домой, посмотреть, как там сын. А с Ерофеем, помешанным на ненависти и недоверии к людям, не договоришься. Для него люди существуют только как враги. Наверное, когда-то Ерофей в лагерях издевался над невинными: вот и пришла расплата, его разум помутился, иначе как объяснить такое?

Тогда Николай подумал, что, видимо, зря волнуется за сына: да спит Гришка, спит. И все же в семь утра, позволит или не позволит шеф, Николай позвонит Артимоновне. Старушка в это время просыпается, чтобы вести Рекса на прогулку. Николай попросит, чтобы она посмотрела, как там Гришка, проследила, чтобы он поел, не опоздал в школу. Артимоновна просьбу выполнит с радостью, позовет Гришку к телефону, заставит покушать, вообще посмотрит, как там и что.

Да и с женой должно быть все в порядке: там же врачи, и с малышкой — тоже. Но к чему такое приснилось?..

Иногда он верил в сны, иногда — нет. Когда у тебя все хорошо, на сны не обращаешь внимания. Когда же что-то не ладится, начинаешь верить в разные глупости: гороскопы, приметы, боишься черных котов, перебегающих перед машиной дорогу, сглаза, и вообще сам не знаешь чего. Наверное, такова человеческая натура.

10

Для волнений у Николая нет причин. Шеф все еще не выходит? Ну и что? Посиди, подумай, повспоминай хорошее, тогда легче станет. А то сам себя загонишь в угол… Вот приедет Владимир Трофимович. Встретят его на вокзале. Лучше, конечно, было бы, чтобы встречал один шофер. Тогда Николай сказал бы Владимиру Трофимовичу, что у него родилась дочь, что жена в роддоме, а он даже туда не подъехал.

Несомненно, Владимир Трофимович, услышав это, поздравит, скажет: езжай, обойдусь без тебя. У гостя здесь и без Эдуарда Ивановича друзей хватает, могут дать машину, если надо. Впрочем, Владимир Трофимович такой, что и такси может взять. Денег у него хватает, он не жадный. Вон тогда, когда в лесу кутили, каким ни был пьяным, а поинтересовался, как семья. Николай сказал, что жена в положении, живут как все: не бедствуют, но и не жируют, угла своего нет, но ничего…

Гость выслушал, потом достал из кармана бумажку, подал Николаю:

— Извини, Ильич, и не посчитай за оскорбление. Возьми. Мы сегодня с Эдиком кое-что заработали, а ты нас возил.

В иных обстоятельствах Николай ни за что не взял бы, сгорел бы со стыда. А здесь…

Сколько ехал потом с шефом по городу — гость укатил на своей машине, в кармане жгло, словно раскаленным железом: что же за бумажку дал Трофимович?.. Ведь при нем не рассмотрел. Как только отвез шефа и отъехал от его дома, достал и остолбенел: сто долларов! До сих пор такие деньги к нему не приходили: в одно мгновение — сто долларов! Вот это гость! Но что делать?.. Хорошо, что ни шеф, ни Юзя не видели, как Владимир Трофимович давал ему деньги.

Жена, увидев деньги, испуганно замахала руками:

— На гостинец или в подарок столько кто же даст? Целое богатство. Смотри, еще втянут тебя куда. Здесь что-то нечисто.

— Не похоже, — сказал он и тоже засомневался: за что?..

Сейчас Николай решил, что если сегодня Владимир Трофимович будет давать ему деньги, не возьмет. Да, была искусительная мысль, но он вовремя ее отогнал. Сейчас же ему не деньги важны, а сочувствие. Много в чем. И в семейных делах, и по работе, и…

Вообще-то дела такие: нужно будет заехать в учреждение и получить аванс за месяц — задерживают. Тогда он сразу отложит деньги Гришке на обеды на целый месяц. Потом нужно выкроить время, чтобы купить цветов, заехать за сыном и — в роддом. А вечером обязательно надо зайти к Дунину и отдать тому часть денег за уворованные вещи: не отдашь своевременно — нарастают проценты. За квартиру он заплатит с получки. Так они договаривались с хозяином. С тем договориться проще, чем с Дуниным. Да и не отстрочит он, как ни проси, и рождение твоей дочери ему нипочем.

А с Дуниным Николай связался потому, что тогда не было у него другого выхода, не было. Говорят, когда тонешь, за бритву схватишься, так и Николай. Что ему, безработному и бесквартирному, оставалось делать, как не «ухватиться» за Дунина? Семья голодала. Вообще, если подумать, этот коммерсант его заметил вовремя: «Иди ко мне, человеком станешь».

Николай поработал на Дунина два месяца и понял, что лучше перебиваться случайными заработками, чем тому угождать. Да и нет у Николая коммерческой жилки! Он сказал Дунину, чтобы тот искал замену. А на следующий день только развесил дунинский товар на стадионе в палатке, как обнаружил, что не хватает каких-то тряпок. А тряпки те, оказалось, ох какие дорогие. Вот и выплачивает Николай до сих пор за пропажу. (Этот прием, когда хозяин вменяет в вину работающим на него исчезновение товара, его порчу или растрату, и до сих пор используется Дуниными, повсеместно известен, описан сотни раз, показан в кино, но тщетно: многие по-прежнему попадают в подобное положение.) Каждый месяц это выливается в треть Николаевой шоферской зарплаты. На день опоздаешь, Дунин ставит «на счетчик», что означает — увеличивается процент долга. И вообще, если Николай вдруг не сможет сполна рассчитаться с Дуниным, тогда ему нужно будет опасаться за семью. Дунин такой, захочет, наймет крутых парней, чтобы те «выбили» должок.

Николай знает, что этот коммерсант иногда любит показать людям, зависящим от него, что он вершитель их судеб.

Дунин также любит поучать не только тех, кто работает на него, но и своих бедных соседей. Как назло, в доме чуть ли не на двести квартир — один он коммерсант, остальные — обычные работяги, пенсионеры да два-три нищих интеллигента. Дунин при возможности и им замечает, что сейчас деньги просто так никому не даются, что пора заняться делом, а не ходить с портфеликами в какие-то свои никому не нужные институты. Всем говорит, что каждый должен быть сам по себе. Иначе в этой жизни ничего путного не будет.

11

Что деньги тем, кто работает по совести, и таким, как Николай, да и ему подобным, легко не даются, и без Дунина известно. Раньше, как бы тяжело ни жилось, но за будущее семьи не было страшно. Раньше верилось, что не сегодня, так завтра будет лучше. Также верилось, что наступит время, когда люди и ты сам станут добрее. Помнится тогда, если чего и боялся, то кого-то конкретного. В детстве — шофера председателя колхоза Гела, учительницу, директора школы. Позже — начальства, комендантшу общежития. Но все равно кажется, что жить было не страшно. Знал, что не пропадешь в стране, где родился, вырос, стал работать на заводе.

А сейчас проснешься утром и думаешь только об одном: что же сегодня будет с твоими родными? Сейчас живешь одним днем, не заглядывая в будущее. А если иногда и заглядываешь, так становится жутко: неужели никогда твоя семья не будет жить по-человечески?..

Может быть, сейчас страшно потому, что ты зависишь не столько от государства, сколько от таких людей, как Дунин и ему подобных, считающих вправе вершить твою судьбу… Что, наступают времена крепостничества?.. По чьей вине? Неужели со временем люди становятся глупее, чем их предшественники, и слепо верят в ложь?

Николай, когда так думает, не может найти определенного ответа. И наверное, не только он один. Взять хотя бы его соседа, человека более образованного, немало повидавшего на своем веку, Валентина Иосифовича, учителя-пенсионера, настоящего интеллигента.

Смелый старичок. Антипод Дунину.

Сейчас, наверное, страшно жить еще и потому, что каждый сам по себе. Вот и думаешь: если вдруг с тобой случится беда, то вряд ли кто тебе поможет. Правда, Николаю, когда ему было очень плохо, помог школьный товарищ, а

сейчас священнослужитель отец Василий. И если бы не он, то неизвестно, что сейчас было бы с Николаем. Но это же — свой человек, да и служба у него такая — помогать ближнему: Василий говорит, что сейчас настали такие времена, что люди полностью погружаются в свои личные заботы, чуждаются друг друга. Отсюда и все беды. А Валентин Иосифович утверждает, что деньги закрывают им глаза и изгоняют из сердец сочувствие и сострадание. Так ли это, Николаю судить трудно. Василий Василием, а вот от этого неугомонного интеллигента всякое можно услышать. Иногда довольно крамольное, — становится очень страшно. И если ему осторожно об этом скажешь, ответит:

— Мне уже ничего не страшно. Я всего повидал на своем веку! И войну, и ссылку. И холод, и голод.

Хотя, что такого крамольного он говорит?..

Летом вечерами во дворе собираются мужчины чуть ли не со всего дома. Пенсионеры играют в домино — это их привилегия. Остальные смотрят, болеют. И Валентин Иосифович здесь. Сюда любит приходить и Дунин. Коммерсант и бывший учитель — главные фигуры иной, чем домино, увлекательной игры. В личности одного и другого, как может показаться, присутствуют «новые белорусы», хозяева жизни, вовремя присвоившие результаты общего труда, и старые, что всю жизнь работали, создавали страну, ее богатства, а сейчас остались ни с чем.

Образ у старика такой: высокий лоб, ленинская лысина, седая бородка клинышком. Но несмотря на уже далеко не молодые годы он все еще энергичный. Взгляд у Валентина Иосифовича ясный.

Старик всегда аккуратно одет в одно и то же (больше у него ничего нет). А именно — отутюженный, послевоенного кроя бостоновый костюм, чистая, порыжевшая, когда-то белая, сорочка, широкий коричневый галстук в белый горошек. Туфли у него — не иначе как из шадринской скульптуры «Булыжник — оружие пролетариата», но в галошах.

Бывший учитель, хотя ему всегда уступали место на скамейке, никогда сразу на нее не садился, если даже она не была посыпана песком. Он благодарил за предложение, с минуту стоял молча, потом доставал из кармана старую, пожелтевшую газету, разворачивал ее, уже собирался разложить, чтобы на нее сесть, но вдруг передумав, прятал обратно в карман.

Когда ему говорили, что эта газета столетней давности, зачем он ее хранит, старик многозначительно поднимал палец вверх. Что это означает, никто не знал. Но знали одно: в тридцатые годы он, студент университета, в компании друзей, чтобы не испачкать новые брюки, сел однажды не на голую скамейку, а на газету с портретом вождя всех времен и народов, лицо которого попало под соответствующее место. Этого было достаточно, чтобы вскоре будущий историк под конвоем поехал далеко на север. Знали также, что после смерти вождя этого интеллигентика реабилитировали, и он потом всю жизнь преподавал в школе историю и был неплохим учителем. Но уже сколько лет прошло с тех времен, как он сидел, все в мире изменилось, многие люди забыли, а он, доставая газету, шутит. Иногда мужчины смеялись: «Дошутитесь, Иосифович!» Он же отвечал, что больше такого не будет, и сетовал на то, что молодежь мало знает о прошлом, хотя надо бы. Зачем? Да чтобы Отечество больше любить…

Старика уважали — голова! Еще бы: он, Иосифович, коммерсанта Дунина, бывшего райкомовского работника, окончившего в свое время Высшую партийную школу, в мгновение ока отправляет в нокаут, если тот пробует говорить об истории, о прошлой и сегодняшней жизни.

Когда во двор приходил Дунин, мужчины забывали о домино, ждали, что будет.

Коммерсант обычно приезжал часов в восемь вечера. Он ставил машину у подъезда, под окном своей квартиры — она на втором этаже. Важно выходил из авто. Сразу к компании не спешил: несколько раз по очереди проверял каждую дверцу — закрыта ли… Потом медленно, твердо ступая по земле, нес к людям свое короткое, туго обтянутое черной скрипящей кожей тело.

На вид Дунину было лет пятьдесят — пятьдесят пять. У него были маленькие, заплывшие жиром глаза, черные курчавые волосы, густые брови, курносый нос и двойной подбородок.

Старожилы дома помнили Дунина иным, когда тот еще работал инструктором райкома. Он был всегда чем-то напуган, выглядел беспомощно и очень не любил, когда при нем говорили о политике. Тогда Дунин осматривался по сторонам и, даже не вслушиваясь в то, что именно говорят, нес какую-то ахинею о «достижениях», «успехах», планах на будущее. На всякие глупости, вылетающие из уст дворовых политиканов, у него была одна фраза: «Как сказал Петр Миронович… Как сказал Николай Никитович…» — в зависимости от того, кто в данный момент руководил республикой.

Произносил он эти фразы высокопарно, взахлеб, но было видно, что неискренне, трусливо. И еще, если кто вдруг возмущался, дескать, нет порядка, Дунин «выпускал» свою другую дежурную фразу: «Партия знает… Партия позаботится… Партия в обиду не даст…»

Позже, когда опорочили партию, Дунин, большой шутник, проговорился, что какому-то коллекционеру продал за доллары свой партбилет. А еще позже проговорился, будто те доллары и стали его маленьким стартовым капиталом, во что, конечно, никто не верил. Когда же о себе заявил ГКЧП и прошел слушок, что все вернется назад, Дунин не на шутку испугался, что за него возьмутся как за предателя. (Об этом ему сказал Валентин Иосифович, дескать, тебе отступничество не простится.) Он наглухо закрылся в своей квартире, наверное, ждал, что за ним придут. А потом, когда все окончилось, начал ходить по соседями, будто шутя, спрашивал, где кто был девятнадцатого августа. Тогда Дунин многих напугал: кто его знает, может быть, у бывшего партработника особые полномочия…

Так вот, приближаясь к мужчинам, играющим в домино и наблюдающим за ним, Дунин издали махал рукой:

— Общий привет пенсионно-безработному и иже с ним народу! — И, не ожидая ответа, подходил к Валентину Иосифовичу: — И лично тебе, глубокоуважаемый сеятель разумного, доброго, вечного в отставке!

— Здорово, если не шутишь, — отвечал бывший учитель. — В отставке я или нет, но скажу тебе, малоуважаемый господин Дунин, что сейчас одинаково поросло сорняками и мое разумное, доброе, вечное, и твое партийно-классовое, что мы с тобой высевали.

Далее начиналась игра:

— Но я же — не ты, — говорил Дунин. — Я не очень старался сеять, ибо никогда не верил тому, чему учили. Знал, лгут. А вот ты, старый дурак, верил, что на своих уроках создаешь человека будущего. Создал лентяев, бездельников, никто работать не хочет. Я же — нет. Я все понимал, поэтому был в духовной оппозиции к партии и ее гнусным делам. Я понимал, что партийное учение — лживое. Да если хочешь знать, это выявлено уже в первых строках самого Манифеста. Помнишь: «Призрак коммунизма бродит по Европе…» Дураку понятно, что призрак не может стать явью.

— Молодец! — говорил Иосифович. — Все же кое-что знаешь. Но мало. Учился плохо.

— Как сказать. Ты лучше скажи мне, дорогой сеятель, — издевался далее Дунин, — чем дышат массы? Какое у них настроение?

— Это хорошо, что тебя интересует настроение масс, товарищ-господин-спадар, или как тебя там. А настроение у масс такое, что однажды таких, как ты, и потрясти могут, чего, собственно, я и побаиваюсь, ибо бунт, как показывает история, страшен для всех.

— Поздно! Упустили шанс. Хотя был: ГКЧП. А сейчас твои массы пусть работают как надо.

— На тебя?

— И на меня тоже.

— А если они не захотят работать на таких, как ты?

— Заставим.

— Можете вообще-то, — соглашался старик. — Ведь национальный продукт сейчас у вас. Подгребли.

— Было ваше — стало наше.

— Вот за это я тебя почти уважаю, капиталистик ты наш хреновый, — тряс лысой головой сеятель разумного, доброго, вечного. — Ты не прячешь свой цинизм: большая редкость в наше время.

— И я тебя уважаю. Тоже редкость в наше время — такие умные люди, как ты. Я с тобой душу отвожу. Иногда думаю, что ты был бы неплохим духовником.

— Ни в коем случае!

— Почему?

— Да зол я на таких, как ты. Против вас всю паству настроил бы. Церковь же призывает к покорности. Правда, к тому, у кого богатство и сила.

— Богохульник!

— Еще бы!.. Раб, подчиняйся господину своему.

— Но там же есть и иное?

— Есть. Напомню тебе, экс-партработнику: из первого послания Павла к Тимофею, в шестом разделе, песни восьмая, девятая и десятая. Дескать, имея еду и одежду, будь доволен этим. Это про нас, — стучал старик сухим кулачком себе в грудь. — А про вас следующее: «А желающие отягощаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Что корень всех зол есть сребролюбие…» и так далее. Изучал в партшколе?

— Нет.

— А зря. В этой главной книге человечества много для всех нас поучительного, и прежде всего для таких, как ты, атеистов.

— Это ты ловко! Только точно ли цитируешь? Не врешь?

— Точнее и быть не может. Проверь.

— Давай дальше, коли уж так.

— Тогда псалом двадцать пятый, песнь девятая. Это уже совсем о таких, как ты. Слушай, грешник, и запоминай. Сказано там, что везде вокруг нас безбожники, ибо среди чинов человеческих возвысились наиболее, — старик замолкал, вопросительно посматривал на Дунина.

— Вот здесь я тебя и прижучу! По-твоему выходит, возвысились наиболее негодные?

— Не по-моему, а по Библии. В ней же — общечеловеческий опыт. Ей же тысяча лет. А впрочем, тот, кто ее излагал, наверное, о таких, как ты, сегодняшних, не думал.

— Не выкручивайся, старый демагог! Признайся, кого имеешь в виду? Наверное, не только нас, коммерсантов?

— Хочешь донести?

— Нет. Предупрежу, если увижу, что пора. Такой мой гражданский долг — предупредить.

— Ты на самом деле дурак или прикидываешься? Себя же выставишь на посмешище. Сейчас там, куда побежишь, люди умные. А за нас, за массы — сам знаешь, кто. Он нас в обиду не дает и никогда не даст.

— Думаешь?

— Конечно.

— Ладно, надо будет проверить, что в тех книгах крамольного о руководителях.

Все знали, что Дунин ничего проверять не будет. Да и какая крамола в Писании? Понимали, что спор с Валентином Иосифовичем — забава для Дунина. И обращаясь к старому учителю, он к ним обращается, к «массам». Знали, коммерсанту мало лишь одних денег, чтобы возвышаться над людьми, ему нужно еще показать, какой он умный.

Вообще-то Дунин знал себе цену: все же партшколу окончил. И как бывший партработник «прижимал» «крамольника» к стенке:

— Хорошо. Пусть будет по-твоему. Но скажи мне, дорогой Иосифович, слыхал я, будто тоже сказано, что птички ничего не делают, а живут. Это что, хорошо?

— Отвечу охотно. Евангелие от Матфея. Там серьезно говорится о службе Богу и богатству, о птицах небесных, не сеющих и не жнущих. Только это требует особенного осмысления, и нам с тобой, видимо, такое пока неподвластно. Но есть толкования святых отцов: читай! Я же пока не готов объяснить тебе все.

— Попался! Наконец ты попался! — потирал Дунин руки. — Там смысл такой: кто не сеет и не жнет, так ничего и не имеет. Так что, дедулик, прежде чем настраивать массы против таких, как я, дающих им работу, вбей в свой головной кумпол следующее: работать надо! А они не хотят.

— На таких, как ты, — нет.

— Дурак! В государстве работы, может быть, и нет, а у меня — пожалуйста! Хочешь — сигареты продавай. Хочешь — одежду. Хочешь — еду. Скажу больше: у меня очень неглупые люди работают. Есть кандидат наук. Есть бывший врач. Учитель. И даже — партработник. Между прочим, тот говорил, что за мои деньги даже согласен возить на тачке мое дерьмо по проспекту — так было изголодался, так его было прижало безденежье.

— Нет, извини, твое дерьмо возить не буду, хоть умру с голоду.

— Ладно, это дело, может быть, я тебе не доверил бы. И наверное, не так ты и голодаешь, пенсию получая. Но если прижмет, как его (Дунин давно уже заметил Николая, не имевшего тогда работы), так на все согласишься… — И, обращаясь к нему, Николаю, сказал: — Пойдешь ко мне?

— Пойду. Если не дерьмо с тачкой.

Взял Дунин тогда Николая. Не с тачкой. Поставил продавать шмотье. Назначил плату за работу. Цену определил на каждое изделие. Платил мизер. Упрекал, что Николай, как и другие работники, не оправдывает доверия. В конце концов Николаю это надоело. И здесь ему повезло: его нашел бывший одноклассник, сейчас священник, отец Василий. Помог устроиться на водительские курсы, денег дал взаймы. И вот благодаря ему Николай возит Эдуарда Ивановича. Это его он сейчас ждет в машине. А того нет. Но, как говорят: солдат спит — служба идет.

12

…Тем временем в роддоме нянечки в очередной раз принесли матерям кормить малышек. В 201-й палате по-прежнему одна из четырех матерей отказывалась давать грудь своей дочурке…

13

Николай очень благодарен шефу за то, что тот взял его, откровенно говоря, неопытного водителя, к себе. Сам Николай, без помощи отца Василия, конечно же, на такую работу не устроился бы. Для Николая загадка: откуда Василий знает шефа и что их связывает. Известно одно, что Эдуард Иванович сказал Василию, дескать, если шофер будет работать хорошо, так он, начальник, подумает, как его пристроить в какой строительный кооператив, постарается помочь с кредитом. Вот и появилась у Николая надежда, что рано или поздно его семья будет иметь свой угол. А когда Верка забеременела, они не рассуждали: нужен им еще один ребенок или нет.

Конечно, поднять двоих детей им будет непросто — помощи ждать не от кого: одни они с Веркой остались на этом свете, без родителей, сестер и братьев. Мать у Николая умерла, когда он заканчивал школу, отца он не помнит. Был еще совсем маленьким, когда отец уехал на целину на заработки да там и остался. Может быть, не хотелось ему возвращаться — был он в деревне чужой, пришел в Буду из далеких краев. Веркины же родители умерли рано, настрадалась она среди чужих людей, прежде чем встретилась с Николаем да вышла за него замуж.

В деревне уже и хаты Николаевой не было. Продал за бесценок колхозу, когда после школы устроился в городе на завод. Василий говорил, что сейчас домик тот купил под дачу какой-то городской пенсионер.

Васька, отец Василий, с которым Николай не виделся с выпускного вечера — тот уехал в Ленинград к дядьке-священнику, который потом устроил племянника в какое-то духовное учебное заведение, отыскал бывшего школьного товарища именно в тяжелое для Николая время. Они всю ночь проговорили, сидя на кухне квартиры, которую снимал Николай: тогда Василий взялся помочь бывшему однокласснику, уладить его дела. Василий шутил: направлю тебя на путь истинный. То, что Бог послал Николаю Василия, так это несомненно. Сам Василий говорил, что замечает за собой такое: появляется там, где нужен другим.

Наверное, это действительно так: нужна была Николаю помощь, нужна. Хотя и иная была причина для встречи. Василий через двадцать лет после окончания школы решил собрать всех своих бывших одноклассников, как когда-то договаривались выпускники. Перед этим он съездил в свою деревню. Там у него тоже уже никого не было. Взял адреса бывших одноклассников, начал их разыскивать. Там, где Николай прописан, на окраине города в частном секторе, конечно же, его не оказалось, но хозяин дал его адрес Василию. С ним, хозяином, Николай когда-то работал на заводе в одной бригаде, тогда человек прописал его, и сейчас они поддерживали хорошие отношения. Но дома Василий ни Николая, ни его жену не застал, а Гришка сказал, где сейчас отец продает шмотье. Василий пошел на стадион, где и нашел Николая.

Николай хотя и обещал, что приедет на встречу выпускников в родную деревню, в школу, но не приехал — не получилось, да и денег не было. Он считал себя виноватым перед Василием, но тот все понял, когда еще раз встретились, рассказал, кто из одноклассников был, кто кем стал.

Николай по-разному относился к своей работе: если все хорошо — гордился, что возит начальника. Когда же начальник или его жена надоедали своими капризами, хотелось уволиться, но сдерживало то, что эта работа — пока единственный шанс заиметь квартиру. Иногда он почему-то вспоминал другое время, другого шофера. Гела, или Пущую Важность, тоже возившего начальника, председателя их колхоза.

Матвей Петрович Гел, или Пущая Важность, как его прозвали сельчане (почему, об этом позже), после председателя был самой властной и опасной

фигурой для крестьян. Ни агроном, ни председатель сельсовета, ни директор школы не имели в деревне такой власти, как этот человечек.

Он был низкого роста: чтобы было видно из-за руля «козлика», подкладывал на сидение пуховую подушку.

У Гела была большая голова, череп заметно сдвинут назад, узкий лоб, кустистые брови, колючие (хотя бы изредка в них блеснула радость) глаза, мясистый нос и острый подбородок, выпирающий вперед.

Можно было подумать, что этот человек потому и злой, что так выглядит. Но, наверное, это не так, ибо Гел, Пущая Важность, любил, чтобы на всех деревенских свадьбах его фотографировали рядом с молодыми, невзирая на то, что те не хотели этого. Но дело в том, что прогнать его нельзя было: родители молодых во многом от него зависят, да и молодые, если живут в деревне и работают не на лесоучастке, а в колхозе.

Гел не только возил председателя колхоза Петухова, чтобы тот, как говорили, из-за своих беспробудных пьянок не забыл, где поля, фермы и деревни, но и делал много чего иного, не предусмотренного никакими инструкциями для водителей председателей, если такие инструкции существуют.

Все буднянцы знали, что перед каждыми выходными вечером председатель, запустив руку в колхозную, и без того бедную, кассу, ехал в город к своей любовнице, а Гел ночь напропалую сидел в «козлике» возле ее дома.

Гелу также доверялось перед праздниками загружать «козлик» тушками поросят или телят и развозить в городе по нужным адресам.

Но, смеялись, главное, что доверялось ему, — привозить домой мертвецки пьяного председателя, тянуть его к кровати и даже снимать с него мокрые брюки, что брезговала делать жена Петухова, тихая, беспомощная учительница начальных классов.

Постепенно Гел настолько укрепил свою власть в колхозе, что он, а не какой-нибудь бригадир решал, кому и когда дать лошадь, кому и где отвести делянку под сенокос, чью дочь или сына отпустить после школы в город.

Словом, как помнит Николай, этот обезьяноподобный человек решал, как говорится, кого казнить, кого миловать. А что это так, Николай хорошо уяснил еще когда был мальчишкой, таким, как его Гришка.

Сельчане с нетерпением ожидали Первое мая: обещали, что перед праздником наконец-то выдадут деньги — их люди не видели с Нового года.

Очень ждала тот день и Колькина мать. Она говорила, что на второе мая Гел дает им лошадь, что они посадят картошку и мама сможет лечь в больницу в райцентре.

О том, что обязательно надо там «пролечиться», ей уже второй месяц говорил деревенский фельдшер Гуринович. Он даже ругался на мать: «Тебя, женщина, бить некому! Ты же сама себя в могилу загоняешь: подумала бы, что с ребенком будет!..»

С весны мать заметно похудела, под глазами у нее появились черные круги, ходить ей было тяжело, но на свои хвори она не жаловалась. Иногда, когда сильно закашляется, посетует, что, наверное, у буртов грудь простудила. Туда, в поле, в конце зимы, когда открыли бурты, ее с женщинами посылали перебирать картошку.

Больная мать по-прежнему ходила на работу в колхоз. Когда же было невмоготу, отпрашивалась, забегала в фельдшерско-акушерский пункт, просила лекарство от простуды. Гуринович вновь ругался на нее, давал направление в районную больницу, а она противилась: «Нельзя мне сейчас… А если не наберу трудодней, лошадь не дадут огород вспахать или вообще сотки обрежут, тогда — ложись да умирай!»

И все же мать лошадь получила. Пошла к Гелу, занесла тому гостинец, завернутый в скатерку, чуть не упала на колени:

— А мой ты голубчик, Матвей Петрович! Ты же меня и моего сынишку на свете держишь (как это — Колька не знал, и кажется, Гел никогда ничем им не помогал), пожалей меня, бабу горемычную. Распорядись, чтобы бригадир на второе мая дал лошадь посадить огород. Нужно в больницу ложиться. Гонит туда Гуринович, а я же немного трудодней недобрала…

Гел взял гостинец и, прежде чем сказать свое слово, вытащил из горлышка бутылки пробку, сделанную из газеты, сморщился, понюхал, сказал:

— Ну если так, иди. Будет тебе лошадь, собирай баб и ищи плугаря.

…Мать спешила управиться по хозяйству. В тот же день соседки выбросили навоз из сарайчика, развезли на тележке по огороду. Дед Федор командовал женщинами, и настроение у всех было приподнятое: вечером из района должна приехать кассирша Франя и выдать деньги.

Ближе к вечеру сельчане потянулись к конторе. Первым, обогнав женщин, туда спешил дед Федор, старый вояка и не дурак выпить. Но и он опоздал: в очереди к окошечку кассы уже стояло человек десять. Старику ничего не оставалось, как стать в очередь и ждать. Дедок нервничал. Колька знал, что соседу очень не хочется, чтобы бабушка Полинка знала, сколько он получит.

Люди спешили, волновались. Их мечту — получить деньги да пойти к продавцу Кириле — развеял лектор из райкома, который должен был прочитать лекцию в клубе. Кириле строго запретили открывать магазин, пока не окончится та лекция. Людей же предупредили: кто не пойдет на «торжественное мероприятие», добра пусть не ждет.

Колькина мать вместе с соседками, бабкой Полинкой и тетей Матреной Сидориной, стали последними, но не очень расстраивались: куда спешить, если все равно магазин закрыт?

Колька был с матерью, она обещала купить ему конфет.

Касса находилась напротив кабинета председателя. Двери кабинета оказались открыты, и было видно, как там председатель и лектор внимательно рассматривают какие-то бумаги. В углу на табуретке сидел Гел, наблюдал за очередью. Вскоре лектор, высокий пожилой мужчина в черном костюме, в очках, в белой рубашке, при галстуке, отложил бумаги и, посматривая на счастливых колхозников, сказал:

— Да, товарищи, мне радостно видеть ваши счастливые лица. Я доложу где следует, что колхозники колхоза «Борец» живут богато и счастливо, как и все сельские труженики нашей необъятной страны. А вам скажу, что благодаря именно заботе партии, вы, крестьяне, сейчас получаете деньги, которые еще не заработали. Иначе говоря — аванс, ибо урожай еще не собран. Как видим, вы должны благодарить партию и лично Никиту Сергеевича Хрущева за эту заботу о вас.

— Правду говорите, товарищ начальник, — как кто дернул за язык деда Федора, — сейчас мы живем хорошо, и пусть проклятые капиталисты завидуют нам. За это мы бесконечно благодарны родной партии.

Каким образом дед успел получить деньги, непонятно. Но он очень быстро, не пересчитывая их, одной рукой подал бабке Полинке, а другая его рука, Колька видел, полезла за воротничок рубашки, почесала под мышкой.

— Вот видите, — сказал вдохновленный дедом Федором лектор, — среди вас есть сознательные граждане, которые всецело поддерживают политику партии в области сельского хозяйства. И если у каждого будет такое высокое сознание, мы догоним и перегоним Америку.

— И даже быстрее, чем планируется! — обрадовался дед Федор.

— В принципе, — сказал лектор, — это будет даже быстрее. Сейчас идет корректировка правильного курса партии на еще более правильный. В принци-

пе, думаю, по зарплате крестьян мы ее уже перегнали. Вот, скажем, отец, сколько ты получил? — спросил он у старого солдата, который никогда не снимал со своего истрепанного кортового пиджака орден Славы.

Дед Федор почему-то норовил уйти отсюда, но лектор остановил его:

— Да, да, я тебя спрашиваю, отец-герой!

— Спасибо партии и правительству, целых двадцать три рубля, — раздраженно ответил старик.

— Вот видите, товарищи, — радостно воскликнул лектор, — как много — двадцать три рубля…

Он хотел что-то еще сказать, но в окошке кассы появилось сытое Франино лицо:

— Врет, товарищ лектор! Двадцать четыре рубля тридцать пять копеек!

Дед Федор обиженно сморщился, посмотрел на Франю, покрутил пальцем у виска.

— Ах ты, старый дурак! — набросилась на него бабка Полинка. — Хотел меня при всем честном народе вокруг пальца обвести! Признавайся сейчас же, где спрятал рубль тридцать пять?! А не то — стяну портки, все вытрясу, а найду!

Бабка Полинка, довольно еще крепкая, плотная, угрожающе приблизилась к своему худенькому, небольшого росточка муженьку, но лектор остановил ее:

— Подождите, гражданочка, с самосудом! — И, обращаясь к крестьянам, сказал: — Вот видите, товарищи, оказывается, среди нас есть еще несознательные элементы, как данный, указанный мною выше гражданин. Если вы все будете такими, разве мы сможем построить коммунизм, как определено в свете высказываний Никиты Сергеевича, к 1980 году? Разве можно обманывать жену-труженицу, нашу простую советскую гражданку?.. Подумать только: получил целых двадцать четыре рубля со значительно большой мелочью и при этом утаил рубль с обозначенными кассиром копейками?.. Да за двадцать четыре рубля можно... — лектор запнулся, наверно, начал прикидывать, что можно купить за эти деньги, но обиженный и принародно уличенный в воровстве, иначе не скажешь, старый солдат подсказал:

— Нашему председателю и тебе один раз поужинать в ресторации в райцентре.

— Нет, пожалуй, не хватит, — не раздумывая, не согласился лектор.

— А не разорвет вас обоих? — тихо произнесла Колькина мать. (После она говорила женщинам, что не помнит, как это у нее сорвалось с языка: просто так про себя подумала, а все услышали.)

— Их не разорвет, — обиженно сказал дед Федор, доставая из-за пазухи припрятанный рубль и подавая его жене. — Они весь колхоз обожрут и не подавятся. — И вдруг набросился на лектора: — А ты, сопляк, не имеешь права мне тыкать да упрекать в несознательности. Не знаю, где твоя сознательность, а моя при мне. Я до войны горбатился, как последний дурак, одним из первых своей коровушке веревку на рога набросил да в колхоз потянул. Я и в войну по тылам не отсиживался, «Славу» принес. (Старик тряхнул орденом.) И сейчас с рук мозоли не сходят, а боли в спине спать не дают, а ты меня упрекаешь, что партия мне аванс дает!

Дед Федор не на шутку разошелся, хотел было схватить лектора за грудки, но тот бросился в кабинет председателя. Женщины оттянули старика на крыльцо, а Колькина мать сказала:

— Не трогай их, дядя Федор, пусть их сорочка не трогает…

(Потом она и об этом говорила, что просто так подумала, а все услышали.)

Старый солдат махнул рукой, оскорбленный, пошел прочь из конторы. А в конторе поднялся шум. Опомнившись, осоловевший председатель начал орать,

что никому не даст ни копейки, коли такие умные. Подхватился со своего места Гел, угрожая всех разогнать. Но их никто не слушал. Франя что было силы брякнула металлической заставкой своего кассирского окошечка:

— Все! Денег никому давать не буду!

Потом колхозники долго уговаривали председателя, чтобы тот приказал кассирше выдать деньги и не портить людям праздник из-за двух несознательных. А Петухов пожимал плечами, посматривая на лектора: что тот скажет?

Лектор же использовал случившееся в воспитательных целях. Он спросил у крестьян, осуждают ли они поступки своих несознательных односельчан, имевших намерение сорвать в селе празднование Международного дня трудящихся, а заодно и лекцию, тема которой утверждена в самом ЦК?

Когда колхозники, не понимая, какое наказание может ждать их односельчан, перебивая друг друга, зашумели, что осуждают, скажут об этом им прямо в лицо, лектор разрешил выдавать деньги.

Деду Федору, точнее, его жене, бабке Полинке, посчастливилось: деньги она получила. А вот Колькиной матери уже было не до денег. Униженная, посрамленная, она вышла из очереди и медленно, вслед за стариком, побрела домой.

Когда уже возле дома бабка Полинка начала «воспитывать» своего непутевого мужа, обзывая его иродом, дед Федор бросился «в бой»:

— Жизнь прожила, а дурой помрешь! Где это видано, чтобы жена мужа предала за рубль тридцать пять? Сейчас жди, когда меня заберут да влепят лет этак десять лагерей без права переписки, как политическому. Из-за твоей дурости я сейчас — антисоветчик. Так что собери мне бельишко да суши сухари. Власть она такая: измену не прощает, это не баба.

— Ну и пусть, — сказала бабка Полинка, не веря мужу.

Колькина мать еле плелась за ними. Она держала сына за руку и была очень опечаленной. Уже возле дома их догнали женщины. Они говорили, чтобы мать бежала в контору и просила прощения. Говорили, что слышали, как Гел грозился за такие штучки и Федора, и ее отдать под суд, но не товарищеский, председателем которого был, а настоящий: чтобы влепили как следует. Тогда другим будет неповадно!

— А что я такого сказала? — не понимала мать. — Я же власть не трогала.

— Сказала правду, — соглашались с ней женщины. — Но когда им правда нравилась? Повинись!

— Не бойся, соседка, — успокаивал мать дед Федор. — Ты же не политическая, просто темная баба. Ну, сказанула глупость. Может, оштрафуют рублей на сто или дадут суток десять-пятнадцать за оскорбление личности лектора при исполнении, и точка. Мне уж точно политику пришью да на Соловки.

— Где же я им возьму те сто рублей? — все еще не понимала мать, в чем ее вина. — Разве что корову продам?

— Когда захотят, продашь, — говорили женщины. — Иди проси прощения, скажи, мол, глупая и темная баба, ляпнула такое без всякой задней мысли.

Кольке стало страшно: неужели маму посадят в тюрьму и заберут корову? Пятнадцать суток — это очень много, хотя они все равно окончатся, а вот если заберут корову, так ее уже никогда не будет.

Вдруг мать пошатнулась, и если бы ее не поддержал дед Федор, наверное, упала бы. Она обхватила голову руками, заголосила, потом взяла Кольку за руку, и они побежали к конторе.

Они еле успели, когда подбежали к правлению, к машине уже направлялись председатель и лектор. Гел открыл перед человеком из района переднюю дверку. Мать, не добежав несколько шагов до машины, упала на колени и, обращаясь к лектору, запричитала:

— А мой вы человек! Помилуйте меня, глупую и темную бабу! Сказанула, не думая. Не штрафуйте, не судите, не шлите милицию, ребенок сгинет. Я же больная, меня в больницу кладут, спросите у фельдшера нашего.

Лектор и председатель остановились. Петухов, посматривая на мать свысока, набычил шею, презрительно высморкался, а лектор, злорадно улыбаясь, развел руками:

— О ребенке раньше надо было думать. Ишь, устроили антисоветскую демонстрацию! Но у этой хоть хватило ума признать. А тот герой, так что — пан? — И председателю: — А муж ее где?

— Нет его. Давно от нас съехал. По вербовке на целинные земли. Одна она, Влас Сергеевич. Что делать будем?

— Муж патриот, значит, если поднимает целинные и залежные земли. А с ней, коли так, сами разберитесь. Своим судом судите. — И к матери: — Смотри мне, женщина, чтобы знала, что и где говорить.

— Хорошо, разберемся, как велено, в товарищеском суде, — встрял в разговор Гел, — немедленно и по всей строгости.

Мать, осчастливленная, подалась вперед, схватила руку лектора, хотела поцеловать, но тот сильно оттолкнул ее от себя, бросил:

— А того — нужно посадить!

Они уехали, а мать еще долго лежала на земле, заламывая руки, стонала. Колька молча плакал, гладил ее по голове, просил успокоиться, понимая, что беда миновала.

Возле них стояли колхозники, молча смотрели на мать и на него, Кольку: наверное, каждый думал о чем-то своем.

Кто-то осторожно сказал, что надо предупредить Федора.

На следующий день утром Кольку разбудил тяжелый топот за окном, женские голоса. Он открыл глаза. Солнечные зайчики прыгали по полу и стенам, оклеенным пожелтевшими газетами, скользили по серому потолку — в доме было светло и как-то по-своему празднично.

Колька выглянул в окошко. Во дворе дед Федор поправлял лошади подпруги. Соседки, бабушка Полинка, Сидориха и Стремчиха, о чем-то говорили между собой. Мамы не было видно. По женским голосам Колька понял, что они чем-то встревожены, что спешат.

Набросив на плечи фуфайку, всунув ноги в огромные (дал дед Федор) кирзовые сапоги, Колька выскочил во двор. Возле сарая стоял гнедой конь, запряженный в плуг, помахивая хвостом, жевал прошлогоднее сено. Дед Федор был чуть навеселе: наверное, ему Колькина мать, с разрешения бабки Польки, налила рюмочку.

Женщины говорили, перебивая одна другую, и при этом носили из истопки на огород корзины семенной картошки. Мать стояла возле двери истопки еще более печальная, чем вчера, будто не хозяйка, а посторонний здесь человек.

— Мы же успеем много сделать, пока наши паны после вчерашнего проспятся, — сказал дед Федор матери, — не горюй, соседушка. Им сейчас не до нас: головы у них после вчерашней пьянки болят, лечение требуется, знаю. Скажу тебе вот что: я всю ночь ожидал, что за мной «воронок» приедет — в тридцатые годы в основном ночью и брали. Правда, только Евтеху почему-то днем взяли, так его — как кулака, показательно, прилюдно арестовывали. А кто политический — ночью. Ходил по улице, ждал и видел: как на рассвете Гел привез Петухова, чуть вытащил из «козлика», и сам изрядно шатался. А если вдруг прибежит к нам Гел, так заткни ему пасть бутылкой: пусть пьет, пока не подавится.

Сказав это, дед Федор повел коня на огород. Он уже прошел с плугом круг, как через неогороженную межу от улицы пришел конюх Осип. Этот на первый взгляд глуповатый старичок остановил деда Федора, предупредил:

— Смотри, Федя, ты уж меня не подведи. Если что, самолично, без моего разрешения, лошадь взял. Я не видел, когда.

— Не бойся!.. А если боишься, так сгинь!.. Да я сам, коли что, разберусь и с Гелом, и с Петуховым. Не боюсь я их! Немца не боялся, а их… Пусть только кто сюда сунется, так навсегда забудет дорогу!..

Старик кому-то погрозил кнутом.

Осип поспешил удалиться. Женщины торопились садить картошку. Мать не садила. Она подносила им корзины. А Кольке дед Федор нашел дело — доверил загребать в борозденки навоз.

Уже успели посадить несколько борозденок, как вновь прибежал Осип.

— Федька, Гел велит забрать лошадь! — сказал он. — Но ты мне не отдавай. Я буду орать, будто забираю у тебя, а ты веди борозду, веди. Я побегу назад, скажу, мол, не отдает Федор коня, мол, лошадь бабе дана по закону, и пока буду бегать туда-сюда, так вы пол-огорода посадите.

— Ах ты, такую твою мать! — вдруг разозлился дед Федор и стрельнул кнутом перед Осиповым носом, да так, что тот присел в борозде, закрыв лицо руками. Второй «выстрел» заставил Осипа вскочить и кинуться прочь. Через минуту он уже бежал по улице в сторону конторы.

Дед Федор улыбался как-то неестественно, зло. Колька видел, что он приспешивает лошадь, торопились и женщины. Лица их были потными, но женщины не обращали на это внимания. И мать, разнеся корзины по огороду, принялась садить картошку.

Занятые делом, люди не заметили, как на огороде появился сам Гел, опешили, когда тот схватил лошадь за уздечку.

— Я ваши хитрики сразу разгадал, — злорадно усмехаясь, сказал он. — Давай коняку!

— А этого не хочешь? — Федор ловко «выстрелил» кнутом возле Геловых ног. Он взмахнул еще раз и, видимо, прошелся бы кнутом по Геловой спине, но тот бросился прочь и, остановившись у калитки, заорал, ткнув пальцем в сторону конторы:

— Все! Спета твоя песенка, старый тхор. Смотри туда — приехали ребята, враз тебя в бараний рог скрутят!..

Люди видели, как возле конторы остановилась милицейская машина-будка, прозванная в народе «черный ворон». Из кабины вылезли два милиционера, они открыли дверку будки, на землю соскочили еще двое с собакой.

Женщины побросали корзинки: что ж это такое?

Федор, внимательно посмотрев туда, где остановилась машина, оценив обстановку, сказал:

— Фигушки им! Эти сопляки задумали просто так, с позором, взять старого разведчика. Вишь, я их ждал ночью, а они днем заявились. Нет, ребятишки, я у немца под самым носом ходил, он не смог взять меня, а вы и подавно не возьмете!

— Беги, Федя! — закричала бабка Полинка.

— Не причитай! Живьем не сдамся!

Милиционеры что-то выясняли у Осипа, а затем все вчетвером направились к конторе, дед Федор, долго не раздумывая, через малинник по меже бросился к поросшему лозняком болоту, начинающемуся за выгоном. За болотом, тем его краем, бежала река. До нее было с полкилометра. Старик держался зарослей, и от конторы его не было видно. В зарослях, Колька это знал, лежат три жердочки, ведущие к старице, а там — лес, спасение деда Федора.

Когда старик скрылся в зарослях, от конторы по улице к выгону направилась машина. Вскоре она уже ехала вдоль берега реки по направлению к старице, где исчез дед Федор.

Вновь на огород притащился Осип. Гел все же хотел добиться своего — забрать коня. Посматривая на «воронок», остановившийся возле зарослей, из которого с лаем сначала выпрыгнул гончак, а потом милиционеры, глупо усмехаясь, похвастался:

— От дал мне Гел так дал! Заехал прямо по уху. Вот, смотрите, распухло. Кричал, что выгонит из конюхов, а потом передумал. Гы-гы…

На него особого внимания не обратили. Всех тревожило иное: успел ли Федор через старицу добежать до болота, а потом в лес? Если успел, то там уже его никто не возьмет ни с каким гончаком.

Осип, взяв за уздечку коня, рассуждал:

— Я вам, бабы, скажу: фигушки они Федора возьмут. Он же — не дурак. Я тоже разведчиком был, знаю, как от преследования уйти. Он след свой табаком посыплет — и собака по нему не пойдет… Может, у Федора в лесу оружие припрятано, так он стрельнет поверх голов — те юнцы в штаны наложат. Оружия после войны в лесу много осталось, здесь же какие бои были.

— Молчи, разведчик, — сказала Колькина мать. — Знаем твою разведку: дядя Федор на фронте с первого до последнего дня был, а ты возле женской юбки сидел до сорок третьего, пока наши не подошли. Ты только тогда в лес побежал. Наразведывался: где у кого поросенок спрятан, у кого куры, кожух… И не стыдно с дядей Федором себя сравнивать?

— Меня на войну, может, по голове не взяли! — огрызнулся Осип. — Но разведчиком я стал. И ходил туда, куда приказано было…

Даже Колька знал, что Осип в партизанах был при кухне и время от времени появлялся в деревне. Здесь он выпрашивал у женщин то еду, то одежду, но сам никогда в сараи и кладовые не лазил. (Его действительно в армию не взяли «по голове» — считался, вроде, глуповатым.) Но сейчас женщинам было не до Осипа, тем более что там, у болота, куда побежал дед Федор, слышался заливистый лай гончака. И вдруг — выстрел…

Сразу же заголосили женщины. Бабушка Полинка беспомощно осунулась в борозду. Второй выстрел, точнее, его далекое эхо, заставил ее подхватиться. Она попробовала податься вперед, туда, где стреляли, но женщины остановили ее, взяли под руки, посадили на землю.

— …три, — считал Осип, по-прежнему глуповато усмехаясь.

Потом выстрелы слышались один за другим.

Никто, кроме Осипа, не считал, сколько раз стреляли, и когда прозвучал еще один выстрел, бывший «разведчик», а сейчас конюх, с распухшим ухом, чуть не лишившийся своей должности, засмеялся как дурак:

— А что я говорил? Фигушки они Федора взяли! Больше у них патронов нет. Я другим ухом, не битым, слышал, как старший, тот, у которого пистолет был, говорил, что патронов у него аж девять.

— Не сглазь! — замахнулась на него пустым мешком тетя Сидориха. — А вдруг… попали?

— Говорю, фигушки! Не такой Федор дурак, чтобы под пули лезть. Да он этих желторотиков обведет вокруг пальца, и они не поймут как! Я же видел — совсем еще мальчишки! И завтра не возьмут, и послезавтра.

— Уйди с глаз, Осип! — прикрикнула на него бабушка Полинка. — Завтра его здесь и следа не будет.

Колька видел, что после последнего выстрела женщины повеселели. Но тихо было недолго. Минут через пять уже в другом месте, кажется, ближе к старице, послышался взрыв, всколыхнувший воздух. Осипка упал на землю, вжался в борозду.

— Ложись! — закричал он. — Граната!..

Никто не выполнил его команды, женщины вновь заголосили.

— Не достали пулями, так… — проговорил Осип, нехотя вставая.

Тем временем, пока он рассуждал, от реки в деревню, но уже не по дороге, а напрямик, по лугу, мчался «воронок». Один милиционер стоял на подножке, что-то кричал. Зачем и почему, когда ничего не слышно?

Неожиданно возле их дома машина остановилась. Тот, что был на подножке, соскочил с нее, бросился сюда, на огород, к людям. Был он совсем юный, на побелевших щеках даже не было видно мужской щетины. Испуганно посматривая на людей, чуть не плача, он попросил, чтобы показали, где живет фельдшер... А женщины заголосили пуще прежнего, и только Осип, забыв о коне, вызвался показать, как заехать в проулок за ольшаником, в тот конец деревни, где жил Гуринович.

Но пока вернулся Осип, пока принес весть, что Гуринович перевязывает раненого, женщины уже совсем извелись в плаче: дед Федор кого-то ранил, и сейчас ему «светят» уже не десять лет, как «политическому», а может, и все двадцать или даже смертная казнь…

Над болотом и старицей, там, куда побежал дед Федор, высоко в небе кружили дикие утки.

Через час машина уехала. Женщины не отпускали от себя ни на шаг бабку Польку. Она вся извелась, изнемогла. Ее завели в хату, отпаивали водой. Утешали. Но разве утешишь, если все так обернулось?..

Чуть позже во дворе появился Гел. Осип топтался возле хаты, не зная, что делать. Гел постучал в окошко, вызвал мать:

— Иди-ка сюда, девка, и малого возьми.

Они вышли. Осипа Гел отправил на огород посмотреть коня, а Колькиной матери, отведя ее подальше от крыльца, сказал:

— Будь умной, Марфа. Если вдруг кто у тебя будет спрашивать, что здесь сегодня было, так скажи, что твой пацан играл на выгоне, нашел какую-то игрушку. Тем временем здесь случайно ехали милиционеры, увидели с ней пацана, остановились. Они за ним — он убегать… Догнали. Один хотел уничтожить эту игрушку подальше от деревни, а она в руке у него взорвалась. Ясно тебе?

Мать ничего не понимала: какая игрушка? От кого убегал Колька? Что взорвалось в руке?.. Гел терпеливо и долго повторял одно и то же, а потом пригрозил, что если ее будут спрашивать о том, что здесь сегодня произошло, и она не скажет так, как он ей велит, — житья не даст!..

— Теперь тебе все понятно?

— Понятно, — ответила мать.

— Тогда иди зови баб да сажайте огород. Пусть Осип за плугом ходит, пока Федор где-то в реке штаны отмывает.

Как ранило милиционера, никто у них не спрашивал.

И все же в тот год их огород так и остался незасеянным. Мать, придя в хату, упала, потеряла сознание. Гуринович, за которым сбегал Колька, вызвал «скорую помощь». Она приехала ближе к вечеру и забрала мать в районную больницу.

А дед Федор, придя в деревню уже в сумерки, угнетенный, озабоченный, еще долго никому не рассказывал, что милиционеры (были ли это они, а не какие-то знакомые Петухова и Гела?) не его ловили, а приехали пострелять диких уток. Юнцы, наверное, раздобыли где-то пистолет, патроны, втихаря решили порезвиться. Постреляли, ни в одну не попали, так решили глушануть на старице рыбу. Что они туда кинули — неизвестно. Мальчишки! Спросили бы у него, старого солдата, как смастерить запал, он бы им показал. А так…

Рассказал он об этом несколько лет спустя, при каком-то случае, хорошо выпив, играя в компании молодых в «дурака».

В тот день и бабушка Полинка залегла надолго. Соседи, у которых сейчас, весной, своих дел невпроворот, решили, что осенью дадут картошки Марфе, что ей, когда вернется из больницы, не надо будет полоть огород, — отправили Осипа с конем на конюшню. Колька остался дома один. За ним присматривали дед Федор и бабушка Полинка. Дед Федор ездил к матери в больницу, там он сказал ей, что Евтеха не прочь взять Кольку на каникулы себе в помощники: малец при деле будет, да и сможет кое-что себе к школе заработать. Мать была не против: «Пусть».

14

Николай часто думал, почему так устроена жизнь, что в ней, где бы ты ни был, что бы ни делал, обязательно найдется человек, от которого во многом зависит твоя судьба. Сейчас это шеф, а в детстве же и позже судьба Николая и судьба его матери, да и почти всех односельчан, во многом, без преувеличения, зависела от никчемного человечка Гела-Пущая Важность. И все почему-то считали, что так и должно быть, хотя Гела ненавидели и проклинали.

А этот вершитель чужих судеб не брезговал объедками с хозяйского стола, с разрешения своего хозяина запускал руку в колхозные закрома. И жил лучше, чем кто-либо в деревне. И тогда, когда возил председателя, и сейчас, на пенсии. А как только лишился своего хозяина, сразу же стал относиться к нему с презрением, рассказывать о нем все, что знал, — оказывается, для Гела не было более низкого человека, чем Петухов, у которого был в услужении.

Петухов же после того, как его повысили, перевели в район возглавлять общество рыболовов и охотников, «доруководился» до того, что был торжественно отправлен на пенсию, стал законченным алкоголиком. Только до того он успел пропить все наворованное в колхозе. На новой должности, наверное, нечего было пропивать. Правда, еще будучи председателем колхоза, он построил себе в райцентре домик, в котором сейчас живет один — жена осталась в деревне, — доживая свою безрадостную старость.

Николай знал, что Петухову пенсии на пьянки не хватает, и он, бывший деревенский властелин, отирается возле пивнушек, ожидая, чтобы кто из жалости подал недопитый бокал или чего покрепче.

Но Гел, даже спустя столько лет, по-прежнему рассказывает о своем хозяине всякую дрянь. Несколько лет тому, когда Николай ездил в деревню на Радуницу, чтобы проведать могилы матери, деда Федора, бабки Полинки и Евтехи, сельчане говорили ему, что Пущая Важность, встретив Петухова в районе, гонит того прочь от себя, как последнюю собаку: «Пошел вон, паршивец!..»

Вот как бывает в жизни… Думая так, Николай приходил к выводу что, наверное, такова участь добровольных рабов типа Гела: служить своему хозяину, пока тот имеет над тобой власть, а только стоит тому ее потерять, как у раба пробуждаются животные инстинкты. Тогда он уж всласть может поиздеваться над тем, кому служил.

Странно, конечно, но почему в жизни часто такие никчемные людишки так возвышаются над людьми?..

Подумав так, Николай вздрогнул: а Эдуард Иванович не из таких? Да и его жена, и та же Альбрехтовна, которые постоянно его, Николая, унижают. И сейчас битый час шофер ждет Эдуарда Ивановича, а того нет. Неужели нельзя было сказать точно, когда нужно приехать? Шеф же знает, что у Николая родилась дочь, что сынишка дома один…

— Папа?.. Да, я. Вот собрался в школу, Артимоновна позвала к телефону. Нет, за меня не беспокойся, все хорошо. Покушал (сказал неправду)… Приедешь за мной?.. Хорошо, после школы буду дома, никуда не пойду… Сестричка?.. Сестричка… Подумать, как назовем?.. Хорошо, плохо слышно, что-то пипикает… Слышу, слышу… Хорошо, сразу же — домой…

Когда позвонила в дверь Артимоновна, Гришка уже сидел одетый в школьную форму, и ему было очень обидно, что он сегодня один дома. Ночью он проснулся оттого, что болело под ложечкой, а лоб был мокрый. Болело не так, как вчера вечером: не оттягивало, не расплывалось по всему животу и не сходилось в одно, когда сворачивался калачиком, а кололо, словно внутри была игла — от нее расходились горячие круги.

Прежде всего Гришка открыл кран, подождал, пока вода станет совсем холодной, набрал стакан, всыпал туда ложечку соды — так делает Артимоновна, когда у нее, как она говорит, «мутит» внутри, выпил. Сразу же, кажется, полегчало, живот стал мягче — ничего, терпеть можно.

Есть не хотелось, завтракать он не стал. Да и боялся, чтобы от горячего не сделалось хуже. Сегодня его очередь бежать за хлебом. Но он скажет Витьке, если до того времени не перестанет болеть живот, что лучше пообедать в столовой, один день пропустить — не большая потеря в его, Гришкиной, экономии. Если Витька не согласится, так Гришка сбегает за хлебом, пусть Витька сам съедает все, а он потерпит…

Вообще-то, когда полегчало, так и обида исчезла: он же не маленький и понимает, что никто нарочно его дома одного не оставлял, что мама в роддоме, а отец на работе. Знает, что родители надеются на его самостоятельность, так зачем нюни распускать?

А ровно в семь позвонила Артимоновна. Когда он открыл ей дверь, полезла целоваться — он чуть вырвался из ее объятий: «Поздравляю тебя, Гришка, с сестричкой!»

Гришка сразу же побежал к старушке на квартиру, туда звонил отец.

По радиотелефону было плохо слышно — как из-под земли. Но Гришка все понял и очень обрадовался, что сейчас у него, как и у Витьки, есть сестричка, о которой он тоже будет заботиться. И Гришке даже лучше, чем другу: пока его сестричка станет такой, как сейчас Витькина, Гришка уже вырастет и не позволит никому обижать свою… А еще папа сказал, чтобы Гришка сам придумал имя сестричке. Но сколько мальчик ни думал, ничего не мог придумать. Лезут в голову какие-то Лели, Жанки, Снежанки, но ничего, он придумает что-то лучшее.

Размышляя так, Гришка посмотрел на часы: время выходить из дому.

15

Дом постепенно оживал. То здесь, то там в окнах зажигался свет, в шефовых окнах по-прежнему было темно. Но сейчас Николая это не очень волновало: он поговорил с сыном по телефону, дома — все как и должно быть. А шеф, видимо, спит. Или увидел из окна, что машина стоит, и не звонит, не спрашивает, далеко ли Николай. А то было однажды, в первый день работы, опоздал шофер к назначенному времени на десять минут — чуть работы не лишился.

Тогда утром машина долго не заводилась, а потом почему-то был перекрыт проспект. Когда Николай приехал, то увидел, что шеф возле подъезда в свежем снегу, ожидая, вытоптал большую площадку. Ворот его коричневой кожаной куртки был поднят, а уши пыжиковой шапки опущены.

Возле подъезда стояла чья-то новенькая «Волга», тоже с антенной-радиомаячком. К ней из дома вышел какой-то важный начальник в длинном белом плаще и черной шляпе, в темных, от снега, очках.

Шеф, заметив его, учтиво поклонился. Тот улыбнулся, похлопал Эдуарда Иванович по плечу, показал на свою «Волгу», предлагал подвезти. Шеф тоже заулыбался, направился было к чужой машине, но Николай в это время резко газанул, поставил свою развалюху впереди новенькой «Волги».

Шеф заметил его, опешил, направился к своей машине, потом вдруг остановился как вкопанный, погрозил кулаком Николаю и, уже открывая дверцу, засипел:

— Где ты стал? Съедь, съедь! Дай дорогу Игорю Андреевичу.

Тогда Николай понял, что не следовало ставить свою колымагу впереди машины Игоря Андреевича, резко рванул с места, стал позади новенькой «Волги».

Шеф не удержался за дверку, поскользнулся, чуть не упал, но его поддержал Игорь Андреевич. Потом Игорь Андреевич, садясь в свою машину, засмеялся. Глядя на него, неестественно засмеялся и Эдуард Иванович. А Николай совсем растерялся: что он сделал не так? В конце концов, когда его вчера инструктировал механик Сергей Афанасьевич, как себя вести, не говорил, где ему ставить машину, если возникнет подобная ситуация.

Сев рядом с Николаем, шеф набросился на него:

— Еще раз такое — выгоню!

Поехали. Минут пять помолчав, шеф вдруг взорвался:

— Почему опоздал? Халтурил или проспал? Здесь же десять минут ехать.

— Долго не заводилась. Добита. Да и проспект был перекрыт.

— А мне какое дело? Проспект… Добита… Ремонтируй!.. Приказано быть без пятнадцати девять — будь! Иначе — вон к такой матери!

Николай тогда опешил: уж какой ни был Петухов противный, а вот так на своего шофера Гела не орал, что бы тот ни делал.

16

Николай не однажды замечал: стоит только ему задуматься о своем теперешнем положении, обязательно почему-то вспоминается Гел-Пущая Важность. Вот уж врезался в память так врезался. Да, есть такие вредные люди, случается, и бьют их, и отталкивают, а им все нипочем.

Что же касается Гела, так, кажется, однажды все же нашелся человек, осмелившийся показать буднянскому обидчику, где раки зимуют.

Тогда Николай был уже подростком и еще была жива его мать. Случилось это весной. Ребят постарше забирали на армейскую службу. Однажды проводили Юру Добника. Юра работал в городе, но родители решили, что провожать его в армию нужно из дома.

Добники, Юрины родители, были учителями. В городе у них жило немало родственников, тогда они приехали на праздник в деревню.

Гости долго не садились за столы: не было Гела. Городские все спрашивали, почему не начинают праздновать. Им отвечали, что здесь издавна так повелось: ждать главного гостя, без него не принято начинать, обидится, а им — здесь жить и зависеть от него…

Городские недоумевали, возмущались: это что за цаца такая, что всю деревню в кулаке держит? И как ни хотели Юрины родители, но все же были вынуждены начать застолье без Гела.

Когда уже хорошо захмелели, появился он, главный гость. Гел был очень недоволен, что начали без него, внимательно всматривался в гостей, выискивая того, кто посмел так его унизить.

Застолье вел пожилой горожанин. Он каждому давал слово и, увидев Гела, приказал, чтобы тому налили штрафную.

Низенькому Гелу, обиженному и оскорбленному, это очень не понравилось, и, отставляя от себя стакан, он сказал городскому тамаде:

— Я сам могу кому хочешь не только штрафную налить, но и штраф влепить в силу данной мне власти! Что ты мне суешь?

Горожанин, ничего не понимая, махнул рукой, мол, как знаешь, и больше на Гела не обращал внимания.

Вскоре во дворе заиграла гармошка и застучал бубен, начались танцы. Гел изрядно захмелел, подошел к тамаде. Тот стоял у забора, курил. Гел подставил свою сигарету, дескать, дай огня. Горожанин дал, прикрывая большими руками спичку от ветра. На одной Гел увидел татуировку «Север» и лучи. Гел нарочно долго прикуривал, посматривая на наколку, потом строго спросил:

— За что ходка на «десятку» была? Вор? (Гел, несомненно, знал, что десять лучей — десять лет заключения.)

Горожанин такой наглости от незнакомого человека не ожидал. Он внимательно посмотрел сверху вниз на Гела, потом медленно проговорил:

— Ошибаешься, уважаемый. Я не вор и не бандит. Меня забрали прямо с фронта, дядя. Был случай, одному старшине, вроде тебя, он приставал к солдаткам, морду начистил.

— И схлопотал, как я понимаю! — обрадовался Гел. — Жаль, что к стенке тебя не поставили. Ты же враг, на командира руку поднял. Знаю я вашего брата, знаю.

— Как это знаешь? Откуда? Сам сидел? Охранял?

— Чтобы я да сидел? Нет, не сидел. И не охранял. Если хочешь знать, я, может, не одного такого, как ты, выкрыл!.. Он мне еще тыкает!

— Стукач? — нехорошо спросил горожанин.

— Дурак! Не стукач, а тайный осведомитель, — вызывающе сказал Гел, плюнул под ноги горожанину, добавил: — Слыхал о таком звании? Если хочешь знать, я и сейчас любого могу отдать под арест, только пикни! Чтобы знал, тайные осведомители всегда на службе.

— Врешь, дядя! Еще ни один стукач не признался в своих пакостях. Ты что, подписки не давал?

— Давал. Я же не говорю про то, что тебе не положено знать. — Гел разошелся не на шутку и, наверное, решив вконец добить бывшего «врага народа», подступая к нему, заорал: — Да я тебя сейчас!..

— За что?

— Да за оскорбление при исполнении моей неприкосновенной личности тайного сотрудника! — два ряда Геловых вставных металлических зубов блеснули перед глазами оседающего от неожиданности горожанина.

Гел не рассчитывал, что его власть над людьми дальше односельчан не распространяется. Горожанин молчал, а Гел почему-то ушел за сарай.

Кто-то их разговор слышал, кто-то — нет, да и до них ли было? Играла гармошка, стучал бубен, танцевали, шумели, веселились. Когда через некоторое время вновь сели за стол, обнаружили, что нет Гела и горожанина. Тем временем в дом вбежала Николаева мать:

— Люди, Гела городские топят!

Гости только что подняли полные рюмки, а тут — такое!

Деревенские мужчины Гела «уважали» так, что любому своему, кто хорошенько проучил бы его, отдали бы последнюю рюмку и сигарету. Но сейчас,

услышав такое, они не спеша выпили, закусили, а уж потом высыпали во двор. Но какая ни есть паскуда Гел, но все же свой, деревенский, а городские дают себе волю!..

Затрещал новенький штакетник палисадника, множество ног затопали по улице, под крик женщин понеслись к реке.

Николаева мать зря кричала вслед, что топят Гела не в реке, а за сараем. Мужики, предчувствуя наслаждение от невиданной для Буды битвы в мирное время, ничего не слышали.

И вот уже на дворе остались только Николаева мать, дед Федор и еще несколько некогда бравых солдат, а сейчас вряд ли годных даже в обоз.

Первым опомнился дед Федор.

— Вот незадача, — разочарованно сказал он. — Так и жди: где Гел, там и пакости.

Бывший храбрый воин пошел за сарай. А там, возле уборной, приделанной к стене сарая, лежала сорванная, сколоченная из досок дверь. Возле самого «заведения», заслонив широкой спиной проем, расставив ноги, согнувшись к дыре, стоял горожанин-тамада и, держа в руках что-то живое и воющее, тыкал вниз, приговаривая:

— Признавайся, дядя, губил невинных?

— Ни одной души, — хрипело что-то живое, в котором все узнали: Гел! — Ни одной. Это я — для пущей важности, для пущей важности…

— Осведомитель?

— Нет! Для пущей важности. По мелочам — сигнализировал… По мелочам…

Оттянули горожанина от уборной, но тот еще не выпускал из рук, держал его, Гела крепко. Тогда дед Федор, понимая, что дело нешуточное и что добром оно не кончится, скомандовал: «Расступись, народ! Беру на себя!..», подбежал к горожанину, упал сзади тому под ноги. Никто ничего не успел понять, как горожанин взметнулся вверх, перелетел через деда Федора и, как сноп, рухнул на землю. Валялся на земле и Гел.

— Ша! — принял боксерскую стойку дед Федор. — Ша! Обоих пригвозжу. Очумели? Такую беседу споганить! У нас отродясь не было, чтобы дрались там, где гулянье!

Дед Федор говорил правду: в Буде не было заведено драться там, где гулянье. Обычно дрались подальше: на выгоне, возле клуба, у магазина, а там, куда тебя пригласили, — нет!

Ни горожанин, ни Гел на деда Федора не набросились. Горожанин приостыл и, видимо, был рад, что все так окончилось. Рад был и перепуганный до смерти Гел.

— Драчуны сопливые, — сказал, наконец, дед Федор, — когда-то мы не таких брали. Мойте морды и — мировую!

Бывший разведчик с видом человека, прилюдно предотвратившего какую-то ужаснейшую катастрофу, расправил плечи и, снисходительно посматривая на женщин, даже не отряхнув галифе, пошел во двор: не вернулись ли «вояки», выщербившие заборчик палисадника.

А тех еще не было. Женщины тем временем, воротя носы, отмывали Гела, от которого изрядно несло совсем не парфюмерией. Гел время от времени делал слабые попытки броситься в драку, хотя никто его не удерживал, и вполголоса, чтобы не слышал его обидчик, все еще находившийся на огороде, говорил:

— Это же он напал на меня неожиданно! А то я ему показал бы!.. Но все равно ответит он за меня — на всю катушку! Я же его предупреждал о неприкосновенности моей тайной личности при исполнении.

— Молчи уж, тайная личность при исполнении… Для пущей важности, для пущей важности… Дурак ты, в дерьме выкупанный. Скажи спасибо, что отбили. А то утонул бы в уборной, — сказал дед Федор.

Удивительно, но Гел против высказываний деда Федора не возражал, сделал вид, что не слышит его. А дальше события разворачивались таким образом…

Пока женщины отмывали Гела, пока мальчишки искали потерянные его вставные челюсти, пока от реки еще не возвратилась наиболее воинственная часть буднянцев, во двор, крепко держась за руль велосипеда, спотыкаясь, явился участковый Петька, прозванный сельчанами Спотыкач. Этот, как говорили женщины, золотой для них милиционер (никогда никого не обижал: разве что из дома не выпроводишь, пока не напоишь в стельку) имел необычайное чутье появляться всегда в нужном месте в нужное время.

В форме, в ремнях, при кобуре, в которой вместо оружия часто можно было найти луковицу, кусочек сала, хлеб, а то и конфету, Петька сейчас был очень строг. Он поставил велосипед под выщербленный заборчик (неизвестно каким образом узнав о случившемся), достал из-за спины планшетку, заявил сельчанам, что начинает «следствие по факту инцидента, случившегося на торжественных проводах в армию гражданина Добникова Ю. М.».

А следствие, как известно, имеет тайну, а так как во дворе были посторонние, Спотыкач нетвердой походкой направился в сарай, куда велел принести две табуретки. Прикрыв ворота сарая, уже из-за них вызвал «для дачи показаний потерпевшего гражданина Гела Матвея Петровича».

О чем участковый и потерпевший говорили в сарае за прикрытой дверью, никто не знал, даже те женщины, которые прикладывали к доскам ухо. Слышали только, как Гел все бубнил: «Бу-бу-бу…», а Спотыкач: «Присядьте, присядьте, гражданин уважаемый дядя Гел Матвей Петрович, разберемся…»

В Буде, конечно же, как и везде, два-три раза в год во время бесед случались драки. Но дрались здесь, как было заведено, только до первой крови. Спотыкач никогда никакого следствия не вел, разгонял дерущихся, а потом драчуны и свидетель вместе пили мировую. Но тогда же дрались простые люди, а здесь самого Гела побили!..

Вскоре заскрипели ворота, из сарая вышел осмелевший Гел. Спотыкач сразу же затребовал на допрос горожанина. Вид у того был — пожалей человека: лицо темное, морщинистое, руки заложены за спину, будто его уже взяли под стражу.

Вновь нельзя было разобрать, что говорит допрашиваемый, зато было слышно, как на него орал Спотыкач:

— Стоять! Стоять!..

И этот допрос длился недолго. Неожиданно вновь заскрипели ворота, оттолкнув тех, кто прикладывал к ним ухо. Из сарая послышалось грозное:

— Хозяева! Подать сюда литр да чего прикусить!.. Да Петровича, пожалуйста, дядю Матвея — ко мне!

Подали.

И Петровича — тоже.

Несколько минут в сарае было тихо. Затем оттуда вышли: впереди радостный беззубый Гел, за ним с опущенными руками краснощекий горожанин, последним — Спотыкач. Спотыкач вялой рукой пытался застегнуть кобуру, но долго у него не получалось, в конце концов он так и оставил ее расстегнутой, набитую закусью…

Как раз к этому «торжественному» выходу из сарая, где шло дознание, от реки вернулись мужчины, жаждущие подраться. Спотыкач вмиг умерил их пыл: приказал вернуть на место штакетник и всем — за столы!

А на следующий день, как только открыли почту, где одновременно находилась и сберкасса, Гелова Манька положила на сберкнижку целых сто рублей! Женщин такая невиданная сумма шокировала:

— Вот уж повезло Маньке так повезло.

Мужчины же, похмеляясь, говорили Гелу так:

— Эх ты, а еще Пущая Важность! Продешевил ты с горожанином. Один твой авторитет рублей на десять тянет, мог бы и поторговаться, а ты за все сто взял.

— Может, и продешевил, — размышлял пьяный Гел. — Да, авторитет, думаю, подороже стоит, рублей на двадцать тянет, не подумал как-то в спешке. Наверное, за одно посягательство — сотня. А я же — при исполнении. Да… Сейчас с него уже не взыщешь: уехал неизвестно куда.

Мужчины с тем, что Гел находился при исполнении, не соглашались: на беседе же был, ко всему же пьян, какое ж здесь при «исполнении»? При этом они хитро переглядывались меж собой: вообще, какое может быть «исполнение» у Гела, кроме как обслуживать председателя и трезвого, и пьяного?..

Дед Федор, на которого все посматривали как на героя, сумевшего одним движением положить на землю горожанина и тем самым освободившего Гела, спросил:

— Зубы, Петрович, нашлись?

— Нашлись, Илларионович, — Гел ощерился, показывая челюсть. — Ведром вычерпали, Манька содой отчистила. Блестят?

— Блестят, уж как блестят, Петрович, — говорили мужики. — Пуще прежнего блестят, как новенькие.

Все это Николай вспомнил сейчас, ожидая своего начальника. Долго ждал, вот и вспомнилось, делать-то нечего…

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Гастроном находится недалеко от пустыря. Ранним утром, когда было еще довольно темно, здесь встретились двое мужчин. Их привели сюда тяжелые ночные страдания, от которых, по их разумению, могли они избавиться на какое-то время только одним — похмельем.

Они также знали, что такой порой спасительное, как сами говорили, пойло, можно, если повезет, достать только здесь, у Кати-похметолога. Катя-похметолог — женщина, торгующая из-под полы сахарным самогоном, отравой, способной на какое-то время оглушить, сняв невыносимую головную боль. Они также знали, что потом, через час-два, станет совершенно невыносимо и вновь нужно будет думать, как добыть выпивку, но это будет потом. А пока…

Первым сюда пришел мужчина в истрепанной фуфайке, рваных ватных штанах, в больших резиновых сапогах, в заячьей ушанке с оторванным ухом.

Он знал, что днем из-за одного такого вида его могут остановить милиционеры. Их он боялся как огня, а сейчас здесь никого нет. Сейчас он никого не опасался, смело ходил возле гастронома, ожидая, когда появится Катя-похметолог: в кармане у него имелись деньги на полстакана «пойла» — сдал вчера перед самым закрытием приемного пункта бутылки.

Он также знал, что вот-вот сюда обязательно явится еще кто-нибудь, такой же, кому так же плохо, как и ему.

Этот человек давно свыкся со своей судьбой бомжа и уже не представлял себя в иной жизни. Его иная жизнь давно прошла, тем не менее изредка все же

она появлялась в его сознании через сны. Случалось это обычно тогда, когда в подвале пятиэтажного дома, где он жил за отопительными трубами вот уже несколько лет, вдруг в его руке на ночь оказывалась бутылка дешевого вина. Это было счастье! Вино на время облегчало душевные и физические страдания, и тогда ему удавалось на час-другой заснуть.

Тогда, словно сквозь туман, ему виделась освещенная прожекторами сцена, он — не он на ней, саксофон в его или в чужих руках, и публика, вызывающая кого-то на бис. Он (или кто другой) начинает играть, и с первой, не помнит, с какой конкретно, нотой далекое эхо, кажется, чужой жизни исчезает…

Кроме этих редких снов да этого эха, у него больше ничего не осталось, что связывало бы с прошлым, вообще с миром людей, в котором, кажется, он никогда и не жил.

Иногда, когда исчезал этот сон, ему вспоминались, словно придуманные, красивые молодые женщины, окружавшие его, тоже когда-то молодого и, кажется, самого талантливого музыканта в мире…

Но много лет тому или всего два-три года (сейчас он и сам не мог точно определить — сколько) его звезда неповторимого музыканта незаметно погасла. Он и сам не заметил, как спился. Не заметил, как женщины, бывшие поклонницы не его таланта, а денег, мгновенно забыли о нем. Он не знал, что так называемые друзья, радующиеся его падению, сейчас будут драться меж собой, чтобы занять освободившееся место на Олимпе. Он также не понимал, что они сознательно спаивали его и делали все для того, чтобы разные профкомы, парткомы, администрации и иные органы в конце концов «добили» его как человека, лишив своими «воспитательными наказаниями» малейшей возможности вырваться из того капкана, в который он угодил незаметно для себя.

Когда-то музыкант, приняв с вызовом обвинения не столько в пьянстве, сколько в «антинародности и антипартийности» его музыкального исполнения «безыдейных» произведений, махнул на все, уехал из большой столицы в меньшую, где в свое время учился, и отдался «свободной» жизни, только бы быть подальше от тех, кто его наставлял на путь «истинный».

Тогда этот человек не имел даже малейшего представления о том, что наступит время и он будет ошиваться по подвалам и пустырям, подальше от непохожих на него людей, что каждое утро будет искать «спасительной» капли, без чего уже не сможет существовать на этой земле.

Способов добыть питье у него, как и у каждого бомжа, было немало — от помойки, где иногда, если повезет, можно насобирать пустых бутылок, до попрошайничества на улице. И когда ночами, не имея ничего выпить, ожидая «спасительного» утра, он в одиночестве тысячи раз умирал в подвале. Но как только начинал брезжить рассвет, бежал к пивнушкам, гастрономам, туда, где рано или поздно удавалось опохмелиться. Там, когда у тебя нет даже копейки, умереть не позволят: в конце концов найдется такой же, как и ты, даст глотнуть, а то и плеснет в стакан или воткнет в испекшиеся потресканные губы горлышко бутылки.

Второго мужчину, который пришел сюда чуть позднее, местные бомжи и алкоголики звали Афган.

Афгана знали во всех ближайших пивнушках. Ему везде разрешалось брать пиво вне очереди. Говорили, что Афган — чокнутый, но не от рождения. Говорили, что таким он вернулся с афганской войны — молоденьким лейтенантиком. Сейчас он жил одиноко в своей однокомнатной квартирке в этом микрорайоне. Знали, что Афган самый богатый из местных пьяниц, не говоря уже об алкоголиках: он получает пенсию. С пенсии Афган угощает всех, никогда не пройдет мимо того, кому плохо, кого трясет, кто еле живой стоит возле пивнушки, ожидая сочувствия…

Афган, как и маэстро, давно уже не мог существовать без спиртного. Если бы вдруг у него исчезла возможность пить, наверное, он умер бы. Жутко, но только выпив стакан, он на некоторое время чувствовал себя живым. Тогда он понимал, что болен, ругал себя последними словами. Но при этом даже не пытался искать хоть какую возможность избавления от страшнейшего недуга, поражающего волю, ум, все жизненные органы: стоит ли, если тебя, когда ты в нормальном состоянии, сжигает на адском костре одно видение… Оно преследовало Афгана уже много лет, с той минуты, когда на его глазах заживо сгорел весь экипаж БТРа — его солдатики. А его с ними нет, он в страхе успел первым соскочить с брони…

Вот так тогда для него перевернулся мир обычной человеческой жизни, исчез навсегда. Сейчас он не помнил ничего, что было с ним раньше. Сейчас он просто существовал помимо своей воли, и когда изредка находился в состоянии, напоминающем трезвость, тогда все вокруг казалось ему чуждым, абсолютно нереальным, к чему он не имел никакого отношения. Он чувствовал, что не может существовать в этом мире, он чужд ему, чужд…

Наверное, этот мир был чужд ему прежде всего потому, что он не знал ни отца, ни матери: Афган был подкидышем. Когда-то вот такой снежной зимой ночью дежурный одного провинциального вокзальчика услышал в пустом зале ожидания слабый детский плач, доносившийся из темного дальнего угла.

Дежурный, предпенсионного возраста мужчина, еще минуту тому проводивший в путь поезд дальнего следования, останавливавшийся здесь, недалеко от воинской части на две минуты, не видел перед этим на станции никого с ребенком на руках. «Что за напасть? — подумал дежурный, одновременно прислушиваясь к затихающему вдали перестуку колес и нарастающему детскому плачу, уже похожему на крик. — Померещилось?»

Нет, не померещилось. Дежурный нашел на скамейке завернутого в солдатское одеяло ребеночка. Ребеночек был в том возрасте, когда образ матери еще не мог явственно запечатлеться в его памяти так, чтобы на всю жизнь. Впрочем, в подсознании у него еще не оборвалась та природная связь с матерью, когда голодный ротик ищет грудь в каждой женщине, которая в этот момент возьмет его на руки. И он, изнемогая в крике, искал материнскую грудь у женщины-кассира, такой же пожилой, как и дежурный, да так и не нашел тогда ни у нее, ни после, в Доме малютки, куда был сдан, как и подобает в таких случаях.

И все же каким маленьким он тогда ни был, что-то неуловимое, похожее на женский образ, пахнущее молоком, несущее тепло, скользнуло в его то ли сознании, то ли памяти, если они есть у человека в таком возрасте. И потом через какое-то время, через несколько лет, десятилетие, два с половиной десятилетия, этот образ, это неуловимое ощущение ускользающего тепла хотя и очень смутно, но возникало в его сознании. Правда, только в очень тяжелые минуты его жизни (для каждого возраста они разные). И тогда хотелось, ни на что, ни на кого не обращая внимания, закричать, позвать: «Мама!» Позвать, чтобы, как крестом, прикрыться этим именем, ощутить себя защищенным ее образом, похожим на лик иконы, который он однажды, после окончания военного училища, видел в храме, когда перед отправкой в Афганистан ноги сами принесли его туда…

«Мама!» — он крикнул, но не в голос, а мысленно, когда прыгал с брони горящего БТРа (да не прыгал он, его сдуло взрывной волной, он потом зря корил себя за трусость, корил долго, пока что-то не случилось с его умом, когда мир вокруг словно накрыла какая-то зловещая серая пелена), но никто тогда ему не отозвался, и лика он не увидел…

С тех пор этот мир, некогда принявший его, безымянного, наградивший чужим именем — Иван Иванович Привокзальнов, мир, который вырастил его без материнской ласки и тепла, взявший на себя право выстраивать его судьбу,

бросивший воевать на чужую землю, в одно мгновение стер из его памяти, воображения тот образ, который был нужен ему всю жизнь. И этот мир стал ему чужд, он перестал существовать для этого человека.

Но он знал: стоит только выпить хоть полстакана «пойла», как он начнет существовать в каком-то сомнамбулическом пространстве, где нет того ужасного зрелища, увиденного им тогда…

Когда встретились эти двое мужчин, они даже не обрадовались (чувство радости у них давно атрофировалось). Они просто знали, что произойдет дальше.

Они знали друг друга, хотя не слышали, как кого зовут. Просто в памяти были отмечены, словно какие-то знаки: есть такой. (Впервые это отпечаталось в их сознании прошлой осенью, когда им случилось вместе через камыши убегать от милиции.)

Потом их тропки не однажды сходились возле гастронома. Случалось, если у кого-то были деньги и он брал бутылку, спешили на пустырь за трубы или блоки. Там по очереди пили из горлышка, ни о чем не говорили, вообще не издавали ни звука, разве что, когда по тропинке какой-нибудь мальчишка бежал в школу или из школы, просили:

— Мальчик, посмотри, нет ли кого?

Они не знали, что их зовут «горнистами», что они — жертвы своих судеб и что все на них, разве что кроме мальчика и его друга, смотрят как на «отбросы» общества, не задумываясь, почему такими стали, и если вдруг случится кому-то упасть, вряд ли кто подымет — алкаши…

А между прочим, когда-то и их родила мать, и они, как каждый из нас, жили среди людей…

Хотя до открытия гастронома было еще далеко, им повезло: во-первых, у Афгана были деньги, во-вторых, когда они пришли сюда, здесь уже была Катя-похметолог. Афган купил у нее бутылку самогона. Мужчины сразу же направились к пустырю, чтобы там, не опасаясь никого, выпить: утром возле гастронома может появиться милицейская машина: патрульная служба ездит и здесь. У них хватило выдержки спуститься по насыпи к пустырю и знакомой тропкой пройти к плитам.

Афган, он шел впереди, вдруг споткнулся на полдороге: на снегу на тропинке лежало что-то похожее на кругляк.

Какое-то внутреннее, не изничтоженное ни войной, ни алкоголем чувство сопричастности к миру вдруг вспыхнуло в нем, подсказало, что это не бревно, а что-то живое, еще теплое, дышащее.

В следующее мгновение его душу вновь, как часто случалось, обожгла огненная вспышка. Он застонал и, чтобы погасить испепеляющее все внутри пламя, зубами яростно вырвал из горлышка бутылки бумажную пробку, поднес ко рту, но в эту же секунду через свой стон услышал слабое, как далеко эхо: «Мама…»

В какое-то неуловимое мгновение его сознание озарилось дивным умиротворяющим светом, и свет этот вытолкнул из души жуткое видение, испепеляющее ее еще секунду тому, он прохрипел: «Люди, помогите», но услышал в ответ только обрывки холодного эха. Он отбросил бутылку, из которой так и не хлебнул спасительного для него «пойла», склонился над тем, кто лежал на снегу, огрубевшими, еще минуту назад совершенно бесчувственными пальцами нащупал холодный лоб, закричал: «Мама!» — подхватил его на руки, заметался, не зная, что делать, потом бросился в направлении школы.

Он бежал к ней с мальчиком на руках, далекие огни в ее окнах прыгали у него перед глазами, и казалось, что они ни на шаг не приближаются, а сзади, чуть ли не наступая ему на пятки, хрипел в темноту его товарищ: «Люди... Люди...»

Они бежали вперед, спасая человека, и не знали, что по улице от магазина параллельно им наперехват направляется милицейская машина. Они также не знали, что молоденький милиционер, посматривая на два темных силуэта на пустыре, сжимал в руке резиновую дубинку и в охотничьем азарте приговаривал:

— Ничего, далеко не убегут. Перехватим их там, где не ждут: пора с ними кончать, алкашами…

А алкаши все бежали и бежали, мальчик был в беспамятстве, время от времени он звал то маму, то папу, и тот, что нес его, задыхаясь, успокаивал: «Терпи, терпи, сейчас…» Второй, бегущий следом, все хрипел в пустую темноту: «Люди…»

И первый, и второй не знали, что будет с ними после того, как они добегут до людей.

Это позже люди будут вспоминать, что тот, который нес мальчика, добежав с ним до школы, через какую-то минуту умер от разрыва сердца, а другого увезли…

— Послушай, Светланка, меня, я же тебе в матери гожусь. Что-то не так с тобою, моя ты девочка. Не разрывай свое сердце… У меня шестеро, и вот как-то живу. Две уже невестятся. А сейчас, вишь, под старость седьмую родила. И ничего, вырастим. Сами голодные-холодные жить будем, а ее поднимем. Что же ты, детка, такое нехорошее себе в голову взяла, что не хочешь своей дочушке дать грудь?

— Скажите, а женщины спят? — перебила ее та.

— Спят, спят. Лена тоже спит. А Верка вряд ли: это же надо такому случиться, больную доченьку родила… Врачи говорят, что ребенок будет жить, — сейчас такие операции делают. Говорят, что делают за границей, а она стоит тысячи долларов! Дай Боже, все будет хорошо, среди людей живем.

— Вот вы, тетка, говорите, чтобы грудь дала. Разве я не знаю, дашь, а потом уже не оторвешь от сердца… Не могу… Разве я осмелилась бы на такой грех, если бы у меня все было по-иному, чем сейчас?..

— Хорошо, хорошо. Поплачь. Тихо, но не голоси. Когда тихонько плачешь, на душе легче становится, когда кричишь — душу рвешь… По себе знаю. И у меня всякое в жизни было. А я думала, когда привели тебя в палату: вот лярва, спит, и все ей нипочем. Да еще когда забрали от тебя дочушку, совсем плохо подумала: есть ли у этой матери сердце или нет? Ни зверь, ни птица свое дитя не бросает.

— Почему же? И душа есть, никуда не выветрилась, и сердце болит, разрывается на части. Если бы ты, теточка, знала, сколько раз я хотела на себя руки наложить. Только дитя, что под сердцем носила, сдерживало. Одно тебе скажу, ты мне сейчас как мать: настоящей матери у меня никогда не было. Спилась, сгулялась, когда я еще в школу не ходила, и где-то исчезла без следа. А отец... не знаю его, может, солдат какой или офицер. Мы ведь жили в небольшом городке возле воинской части, и девушки под колючую проволоку туда лазали. Жили мы в бараке, и то ли помню, то ли чудится мне, что однажды соседка, поругавшись с матерью, кричала ей, что она сынишку своего где-то кому-то отдала. Больше ничего не знаю. Хотя, случается, когда мне тяжело, чувствую, что я не одна на этом свете, что есть у меня братик и ему еще тяжелее, чем мне. Как это, откуда такое чувство, я не знаю: но есть оно, есть… Но как матери скажу тебе: дочь моя не от того лысого, что привез меня сюда. Может, слышала, как обещал озолотить врачей, если со мной и ребенком все будет хорошо? Я, тетка, гулящая была. Молодая, интересная, не сразу гулять стала. Жить надо было на что-то. Вот и подобрали однажды крутые парни, поиздевались, а потом поставили к гости-

нице: работай! Работала, что им отдавала, что мне оставалось. А этот лысый потом меня увел оттуда. Говорит, что уж очень полюбил, мол, я его последняя любовь… Напьется, а потом бьет меня, все прошлым как факелом в душу тычет. Говорит, подобрал, как суку на помойке, отмыл…

— А мое ты дитятко!

— А как-то парень приглянулся мне. Из его обслуги. Тоже страдалец. Сирота. Ни кола ни двора. Я его жалею, а он — меня. Лысый куда поедет, а он охраняет его дворец и меня. И все было у нас, как в сказке. Я не за себя боюсь. За доченьку. Лысому кто-то донес обо всем. Знает, что дитя не от него. Сказал: «Из твоей шкуры буду ремни резать да солью раны посыпать, а выблядка удавлю». И сделает, он такой…

— А мое ты дитятко! Значит, от любви ваша девочка родилась. Выходит, вдвойне грех от нее отказываться. Что ж это такое делается на этом свете?

— Доченька, а, доченька? Светланка, ты меня слышишь?

— Слышу, слышу…

— Дай грудь своей дочушке. Сострадалась она.

— Дам, теточка, дам…

2

В семь пятнадцать, как показывали часы на приборной доске, в спальне шефа загорелся свет, а через минуту в машине зазвенел телефон.

«Наконец-то», — подумал Николай и взял трубку.

— Ты где едешь? — вместо приветствия спросил чем-то недовольный шеф.

— Доброе утро, Эдуард Иванович, — бодро сказал шофер. — Я — здесь. Прибыл, как и было велено, без пяти шесть.

— На улице холодно?

— Есть малость. Если Владимир Трофимович будет так легко одет, как прошлый раз, наверное, неплохо было бы взять для него что-нибудь потеплее.

— При чем здесь Владимир Трофимович? — не понял шеф.

— Ну как же! Разве не его будем встречать?

— «Будем встречать». Я встречаю, а не ты. Понял?

— Понял.

— Никакого Трофимовича сегодня не будет. Сейчас поедешь по адресу (шеф назвал), возьмешь там Константиновича, помнишь, ветеринара? Отвезешь его к Альбрехтовне. Подождешь, пока он там с Мартином разберется, привезешь назад. Затем подъедешь к Юзе. Да не жди во дворе, поднимись, позвони в дверь, доложи: «Иосиф Аркадьевич, я — в ваше распоряжение». Погрузишь в машину то, что прикажет, да смотри, чтобы он сам не носил: говорит, ему руку срывать нельзя — пишет! А когда Юзик тебя отпустит, приедешь ко мне. Ясно?

Николай не сразу понял, что к чему. Если все так, тогда зачем нужно было ему так рано ехать к шефу? И вообще, не проще ли было сразу забрать ветеринара? Ведь Николай знал, где тот живет. Возил же уже его к Мартину. Помнится, когда ехали назад, ветеринар удивлялся: «Не пойму бабу! Такой породистый кот, а она хочет его кастрировать. Да он ей доллары должен приносить, да еще какие! Хотя, мне что: за ваши деньги — любой каприз».

Еле сдерживаясь, Николай сказал:

— Все сделаю, как сказано. Но не понимаю, почему так рано надо было к вам ехать? Я же в сторожке ночевал. А у меня жена родила, и сынишка один дома. Я же об это всем сказал.

— Ты что, учить меня собрался? Я что, должен перед тобой отчитываться? Ты же знал, на какую работу идешь? И еще за тебя просили.

Шеф «воспитывал». Распалялся. С каждым его словом Николаю становилось все более обидно: не болит им чужое. И вот уже обида, как вода в половодье, поднимается до краев берегов, наполнила душу, пошла через края, он еле сдерживал себя, чтобы не взорваться. Это ему никак нельзя: выгонят! Тогда все, конец.

И он молча, до крови кусая губы, дальше слушал шефа. А тот все говорил и говорил, и каждое его слово, словно капля камень, била по сознанию. Дальше не было никакой силы терпеть, обида выплеснулась через края, и он с болью молвил:

— Спасибо, Эдуард Иванович, но меня уже не ждите — ставлю машину в гараж.

Он не слышал, что шеф дальше кричал в трубку, — с презрением бросил ее. И сразу же почувствовал, как все начало входить в русло — схлынуло половодье, ушло, — на душе стало легко.

Он гнал машину по еще полупустынным улицам. Скорее, скорее в гараж! Он ехал и не знал, что в это время жена кормит дочурку. Николай не знал, что у той больное сердечко и что сегодня-завтра ее должен осмотреть какой-то «светило», чтобы подтвердить: есть или нет у этого маленького Человечка шанс на жизнь…

Николай спешил. Щетки на ветровом стекле судорожно счищали легкие снежинки. Он не знал, что в это время такие же снежинки медленно тают на еле теплящемся, сморщенном от невыносимой боли лице сына… Он не знал, что Гришку, выбиваясь из последних сил, чувствуя, что еще мгновение и разорвется сердце, не обращая на это внимания, несет на руках к школе чужой, не известный ему мужчина, для многих — пропащий человек. Николай не знал, что следом бежит другой и неистово хрипит в холодную пустоту: «Люди…»

Он не знал, что именно сегодня у мальчика начались обмороки — результат постоянного недоедания, недетской работы на сытых «дядей». Не представлял, что Гришке сейчас очень и очень плохо и что сынишка в беспамятстве зовет маму и папу…

Он не знал, что пока ехал в гараж, шеф, оскорбленный его неслыханной дерзостью, позвонил сторожу и приказал: «Ни в коем случае не выпускать с территории водителя С., когда тот поставит машину. Немедленно вызвать милицию, полицию, дьявола, самому на него наброситься, задержать до моего приезда!..»

Он не знал, что как только поставит машину и положит ключи от нее на стол в сторожке, направится к выходу вдоль бетонного забора, обнесенного колючей проволокой, радостный сторож Ерофей бросится к овчарке, рвущейся с цепи и царапающей когтями утрамбованный возле конуры снег, спустит ее и с яростным наслаждением даст команду: «Чужой! Фас!..»

Он не знал, что собака, почувствовав свободу и получив команду догнать, повалить, разорвать человека, пулей бросится к нему и, пока он успеет повернуться, толкнет его в спину сильными передними лапами.

Он также не знал, что когда повернется на этот толчок, овчарка на мгновение отскочит в сторону, потом вновь подлетит к самому его лицу, раскроет клыкастую пасть и горячим шершавым языком лизнет в щеку, завиляет хвостом, заластится: она каким-то своим внутренним животным чутьем почувствует, что сейчас на душе у этого человека и что ожидает его впереди…

Перевод с белорусского
Максима Печеня.

ВАЛЕНТИН ЛУКША

Надежды белоснежный бриг

Да здравствует бессонница!

Да здравствует бессонница!
Известно,
Кто рано встанет —
Бог тому дает.
Твоей душе не будет
в доме тесно,
Когда заря в ней птицами поет.

Да здравствует бессонница!
Певучей
Высокой песне не склониться ниц,
Покуда, вдохновенная, кипуче
Искрится жизнь глубинная криниц.

Да здравствует бессонница вовеки!
Пока живет она —
живет поэт,
Что будит человечность в человеке,
Душе уснувшей открывая свет.

Мне выдан Божий агреман…

Мне выдан Божий агреман
Послом добра пройти по свету,
Не сеять злобу и обман,
А добротой спасать планету.

Мне выдан Божий агреман
На бесконечные дороги,
Чтоб равнодушия туман
Рассеять в душах одиноких.

Мне выдан Божий агреман
На трудную земную службу,
Чтоб гнева черный океан
Не захлестнул святую дружбу.

Мне выдан Божий агреман
Свой крест нести не за награду,
А чтобы пьяный балаган
Не воровал людскую радость.

И агреман поэту дан,
Чтоб, люди, песнею святою
Боль нестерпимых ваших ран
Он мог бы отвести собою.

Прощайте

Не лейте по судьбе напрасных слез —
Для утешений слезы не годятся.
Прощайте, как учил прощать Христос,
И вам на небесах
грехи простятся.

Десяток слов, что сказаны не в срок, —
Достойны ли они вселенских споров?
Нет, это ваш непройденный урок,
На вас самих ложащийся укором.

Обиды пусть стекают, как вода, —
Обратно им не стоит возвращаться.
Кукушка накукует нам года,
Чтоб мы успели
в небеса подняться

И по земле достойно пронесли
Свой крест людской, на Бога не пеняя…

Так ввысь уходит журавлиный клин,
Свои печали
миру оставляя.

Белый бриг

Когда раздастся чаек первый крик,
И небо посветлеет на восходе,
Моей надежды белоснежный бриг
С рассветом в гавань шумную заходит.

И паруса натянутые — ниц,
Подобно крыльям, опадают сонно.
В них дальний отблеск розовых зарниц
И синь недостижимых горизонтов.

Возьмет воды и хлеба капитан,
Вином наполнит емкую баклагу,
И вновь его поманит океан,
К далеким островам пути пролягут.

Я бриг тот провожаю всякий раз,
Чтоб снова встретить в гавани знакомой,

Когда ж пробьет назначенный мне час,
Взойду на борт, чтоб распрощаться с домом,

Я помашу товарищам рукой,
Слезу сотру натруженной ладонью…
Нет, это, верно, все же не за мной
Моей надежды бриг приплыл сегодня…

Весеннее настроение

Яркий блик на лужицах играет,
И петух уже полощет горло.
Сретенье дорогу пролагает
Вешнему теплу в лесные долы.

Хоть зима берет свое ночами,
Щеки, словно пьяный гость, целует,
Талый снег под первыми лучами
Водостоки гулкие шлифует.

Солнцу благодарные синицы
Распевают радостные гимны.
Родники торопятся пробиться
Из-под немоты сугробов зимних.

Небеса струятся синевою,
Словно ручейки водою талой, —
Вечность над седою головою
Зайчиком веселым пробежала.

Мой ангел

Мой ангел не был странником беспечным —
Ну где ему со мной найти покой!
Как белка в колесе, крутился вечно,
Горбатился над призрачной строкой.

Был спутником моим во всех дорогах,
Рукою доброй пот со лба стирал,
Мои молитвы искренние Богу
Старательно и точно доставлял.

Не покидал меня в беде и горе,
И боль, и радость поровну делил,
И только застывал в немом укоре,
Когда по жизни криво я рулил.

Я чист пред ним. Его рукой хранимый,
Я не таю обиды на судьбу…

Парят над миром ангелы незримо,
Как звезды, нам подсказывая путь.

Беслан

День обещал быть солнечным и славным,
И птицы распевались друг за дружкой,
А школу беззаботную Беслана
Берет убийца-душегуб на мушку.

Слепая злоба радость погасила,
Втянув детей в кровавую вендетту.
И вздрогнула от боли вся Россия,
И эхо гнева разнеслось по свету.

Три долгих дня без сна, воды и пищи
Заложники сидят на подлых минах…
Хоть думалось:
На всей Земле не сыщешь
Того, кто покусится на невинных.

И первоклассник перетряс копилку,
Слезу рукой с ресниц дрожащих вытер
И к нелюдю с мольбой метнулся пылкой:
— Вот выкуп…
Только маму отпустите…

Да что тому страдания людские?
Он ненависть на слабых вымещает,
И смерть — его родимая стихия…
Такое Бог вовеки не прощает.

Учил Скорина…

Учил Скорина:
чтоб в науках вольных
И творчестве успехов
достигать,
Ты должен научиться —
вечный школьник —
Читать!

Чтоб не сорить словами
как попало,
Чтоб правильно и точно написать,
Тебе сама судьба предначертала —
Читать!

Чтоб с логикой все было
ладно-складно,

Чтоб мог узлы
житейские связать,
Тебе, как воздух крыльям птичьим,
надо —
Читать!

Чтоб успевать
за быстротечным веком,
Чтоб не отвыкнуть
думать и мечтать,
Как хлеб,
необходимо человеку
Читать!
Читать!
Читать!..

Предчувствия Максима Богдановича

Ялта. Май 1917-го

Я чувствовал:
Судьба уже не пустит
Пройтись по рушникам родных дорог…
Волошковое поле Белой Руси
Не разольется музыкой у ног.

Я чувствовал,
Что крымской теплотою
Не заслонить той скромной теплоты,
Что сердце наполняет непокоем
Снов юности ушедшей золотых.

Я чувствовал,
Ручьев живой водицей
Не выпадет мне жажду утолять…
Орлу над Ялтой солнечной с орлицей
Над бездной крылья вечно расправлять.

Я чувствовал,
Что звуков милой речи
Не принесут ветра с родных полей…
И все острее чувствуется вечность…
И с каждым днем дышать все тяжелей…

Предчувствовал,
Что песнею вернусь я…
Иначе поступить никак не мог…

Волошковое поле Белой Руси
Как море, тихо плещется у ног…

Перевод с белорусского
Андрея Тявловского.

НАТАЛЬЯ ИЛЬЮШИНА

Боль

Рассказы

Ой, не могу, я умираю!

Она не знала, где и когда родилась, и даже не предполагала, что у детей бывают родители, — ведь ни у кого там, где она находилась, их не было. Только после того, как одного из мальчиков нашли, она узнала, что у детей бывают мамы и папы. Потом еще нескольких детей забрали из детского дома. Как же ей хотелось, чтобы и ее нашли!

Она почти ничего не помнила, и ей было страшно заглядывать в закоулки памяти, где находила обрывки воспоминаний о самых ранних переживаниях едва теплящейся в ней жизни.

Первый обрывок — женщина, с трудом переводя дыхание, бежит вверх по крутому косогору. Из-за ее плеча выглядывает девочка. Эта девочка — она. За ними бегут солдаты в касках и с автоматами наперевес. Ей хочется закричать, но что-то огромное, ледяное так сжало горло, что ни закричать, ни заплакать она не может. По внезапно возникшему чувству полета девочка понимает, что женщина падает…

Что же было потом? Сумела ли женщина подняться? Сама ли она успела положить девочку на крыльцо детского дома?

Тогда она не знала всех этих слов — «солдаты», «автоматы»... Но узнавая, чувствовала что-то незнакомое, пугающее. Не знала она и того, что чувство это — страх, который будет сопровождать ее всю жизнь. Именно страх, обостривший чувство самосохранения, заставит ее сражаться, совершать безумные поступки, падать и подниматься, снова падать и снова подниматься.

Другой обрывок памяти — длинная скамья и стол до подбородка. С большой ложкой в руке она терпеливо ждет, когда перед ней окажется алюминиевая тарелка с чем-то очень вкусным. Первая же мысль «Чтобы не отняли!» заставляет ее обхватить тарелку левой рукой и быстро-быстро съесть все. Она могла бы съесть еще много-много, но больше не дают, поэтому она начисто вылизывает уже пустую тарелку.

На следующем обрывке бережно хранится чудом уцелевший вкус первого в ее жизни кусочка колотого сахара, протянутого ей каким-то солдатом. Это другой, совсем не страшный солдат. У ног его лежит вещмешок, из которого и появляются желтоватые кусочки чего-то непонятного, но (это она понимает сразу) съедобного! И снова первая же мысль «Чтобы не отняли!» заставляет ее поспешно засунуть слишком большой кусок в рот и зажать рот ладошкой. Никогда еще не пробовала она ничего подобного и чуть не давится от восторга. Слюна переполняет рот, течет по подбородку. Второй рукой она старается подхватить и проглотить каждую каплю этой влаги, чтобы навсегда запомнить ни на что не похожий, удивительный вкус.

Повинуясь той сладкой детской памяти, много лет спустя, когда колотый сахар появлялся в продаже, она покупала его как самое роскошное лакомство и сохранила его вкус на всю жизнь.

Истощенное тело девочки было покрыто нарывами. На ее кривых ножках выступали непропорционально большие колени. На тощей шейке едва держалась казавшаяся слишком большой почти лысая голова. Только на затылке были редкие тусклые пучки свалявшихся рыжеватых волос. Она была одним из осколков минувшей войны и ничем не отличалась от всех остальных детей в первом послевоенном детском доме Минска, находившемся на улице Обувной, нынче улице Короля.

Только огромными, не по-детски печальными карими глазами эта девочка привлекла к себе внимание немолодой женщины, вернувшейся в Минск в июле 1945-го.

— Возьмите эту девочку, — обратилась к ней одна из воспитательниц и со вздохом добавила: — В наших условиях она не выживет.

Пронзительный, все понимающий взгляд девочки поразил женщину.

Через несколько дней женщина появилась снова. В руках у нее был сверток. Когда сверток развернули, все ахнули. Были в нем чудесное бумазейное платьице и сандалики. Платьице было ярко-зеленым с блестящими пуговками и чудесными желтыми цветочками.

Все с завистью наблюдали за счастливицей. Каждый хотел дотронуться до ароматных цветочков, растущих на мягком платьице. И только сама девочка, казалось, ничего этого не видела. Она смотрела на тетю, которую назвали ее мамой. Уж она-то точно знала, что незнакомый аромат, который завораживал всех, исходил совсем не от цветочков, а от мамы!

Как же ей повезло! Именно ее выбрали из множества других сирот! Теперь и у нее есть мама! А дома их ждал папа!

— Что же ты наделала! Она нежизнеспособна! — всплеснула руками врач-педиатр, ближайшая подруга взявшей девочку женщины, и расплакалась. Затем решительно заявила:

— Немедленно неси ее обратно!

Но женщина уже почувствовала себя матерью. Она успела полюбить девочку той любовью, которую особенно испытывают к больным и беспомощным. Любовь плюс ответственность — никто еще не придумал названия этой формуле любви, но именно это сложное, обостренное чувство и не позволило обменять так поспешно, безоглядно выбранного ребенка на более здорового, с которым, несомненно, было бы меньше хлопот. Истинная доброта в сочетании с жалостью редко бывает благоразумной.

Ей дарили заботу и ласку, время и силы. Ей даже подарили имя, назвав Зинаидой, Зиночкой, — она просто не могла не выжить!

Несмотря на приговор врачей, из хрупкого рахитичного гадкого утенка постепенно превращалась Зина в обычную девочку, которая, правда, не умела говорить.

Но ей, все еще беспомощной, трудно было поверить, что в ее черно-белый голодный мир вошло все многоцветие добра и ласки. Но страх — а страшнее всех страхов был глубоко затаившийся в ней страх голода — так и не оставлял ее. После обеда Зиночка не могла отойти от стола. Оставшись одна, повинуясь древнему животному инстинкту, тайком сгребала несколько кусочков хлеба, быстро прятала их под платьице, потом — под матрац своей кроватки и, просыпаясь ночами, с жадностью грызла твердые сухарики.

— У Зиночки, наверно, глисты, — сетовала мама. — Она так скрежещет зубками по ночам! — и кормила девочку цитварным семенем с медом и тыквенными семечками. Даже в самые тяжелые времена, во многом отказывая себе, мама доставала для нее все, что только было возможно.

Зиночка никогда не смеялась, даже не улыбалась, за что и получила прозвище «Царевна Несмеяна» — и молчала, как звереныш, хотя и понимала все, когда к ней обращались, — значит, слышала! Ее водили на консультации к лучшим специалистам, самые дорогие дефицитные лекарства упрятывались в не менее дефицитные для тех лет конфеты, чтобы вкуснее было глотать. Но Зиночка съедала вкусные конфеты, незаметно сплевывая горькие таблетки, и… продолжала молчать.

Так прошло почти четыре года….

Но однажды мама исчезла. Утром она не подошла к Зиночкиной кроватке, не поцеловала ее. Каша, приготовленная тетей Варей, помогавшей маме по хозяйству, оказалась невкусной, подгоревшей. А мама так и не появлялась. Отец, отвечая ее тревожному взгляду, сказал, что мама уехала лечиться, но скоро обязательно приедет. Потом он пошел в свой кабинет и уселся за стол. Зиночка знала, что мешать папе работать ни в коем случае нельзя: ее папа был очень важный начальник.

Как всегда молча, Зина побрела по опустевшей квартире. Она тосковала. А что, если мама совсем не приедет? Ей очень хотелось заплакать, но, понимая, что плакать не для кого, сдержала готовые выплеснуться слезы и села на скамеечку у красивой, старинной, чудом сохранившейся с довоенных времен печки. Дверца печки была приоткрыта, а в печке выплясывал искрометный танец огонь, на который можно было смотреть долго-долго. Прижав головку к печке, девочка почувствовала тепло кафеля, погладила его выпуклый рисунок, и вдруг ей показалось, что она прикоснулась к теплой маминой щеке, а в смеющемся пламени вдруг услышала знакомый, родной, смеющийся голос мамы:

— Ой, не могу, я умираю! — хохотала печка точно так же, как хохотала мама, когда ей было очень смешно, и это была та последняя капля тепла, которая, соединившись со страхом утраты, разомкнула ее непослушные, так долго молчавшие губы, словно эхо, повторившие шепотом:

— Ой, не могу, я умираю!

Испугавшись незнакомого голоса, девочка обернулась, чтобы посмотреть, кто же сказал такие знакомые ей слова. И только убедившись, что в комнате никого, кроме нее, нет, а папа по-прежнему читает свои толстые-претолстые книжки, Зина поняла, что это она сама повторила мамины слова. Оказывается, говорить совсем не страшно! Зиночка еще раз, уже чуть громче, повторила:

— Ой, не могу, я умираю! — и рассмеялась.

Услышав незнакомые звуки, отец подбежал к девочке:

— Повтори! Повтори! Что ты сказала?

— Ой, не могу, я умираю! — еще не полностью осознав случившееся, с удивлением прислушиваясь к собственному голосу, повторила Зиночка.

— Повтори еще раз! — обнимая и тормоша ее, снова попросил папа.

— Мне приснилось, что мама приехала, — заговорила так долго молчавшая девочка, и через края оттаявшего ее сердца выплескивались все детские и недетские горести…

Не все пережитое бесследно ушло в прошлое. Самое сокровенное осталось с ней на всю жизнь и постоянно тревожило своей недосказанностью.

Но теперь Зина научилась смеяться и заговорила! Это не был невнятный лепет ребенка. Говорила Зиночка правильно, не картавя, не сюсюкая, как свойственно говорить детям ее возраста. Отец гладил ее шелковистые локоны, и оба они, мужчина и ребенок, нашедшие и отогревшие друг друга, говорили о том, что скоро приедет мама…

…А мама вечером того же дня читала и перечитывала, про себя и вслух, смеясь и плача, необычную телеграмму: «Немая заговорила!» — и повторяла:

— Ой, не могу, я умираю!

Боль

Время, на мгновение остановившись, метнулось в прошлое и, словно в зеркале, проявило четкую панораму: Дом правительства с полуразрушенным правым крылом, руины костела, где она собирала гладкие, пахнущие дымом колечки, которые находила после праздничных салютов. Гостиницы «Минск» еще не было, и на месте дома, который сейчас находится за ней, пленные немцы строили кинотеатр «Первый». Тогда весь Минск был в руинах. А вот и дом, где жила Зина со своими родителями, бабушкой, дедушкой и двумя домработницами в огромной шестикомнатной квартире.

Высоченные потолки с лепными карнизами и розетками и покрытые выпуклыми разноцветными изразцами печи. На стенах — изумительно красивые картины в витиеватых золоченых рамах. И окна с высокими фрамугами, и двери, и комнаты, и роскошная мебель красного дерева с инкрустированными золочеными завитушками, и черный рояль с изящными изогнутыми ножками, и люди — все было огромным. Маленькими были только трехколесный велосипед с мелодичным звоночком, на котором Зина каталась по комнатам и длинному-предлинному коридору, ее резная деревянная кроватка, и она сама.

Всё и все в доме, даже ее платье и шубка, были очень-очень красивыми. Некрасивой была только она — девочка Зина. И лишь в тесной кладовке, где жили домработницы — немногословная строгая Оля и Маня, ее любимая Манечка, рассказывавшая ей о сотворении мира и о чудесах, которые творил Христос, было ей тепло и уютно. Тепло и нежность исходили от Манечки.

Поблескивая острыми звездочками, серебристый снег во дворе слепил глаза. Мороз больно щипал щеки и лоб. Но еще больнее щипала за любое непослушание злая Оля, крепко державшая девочку за руку. Ей было уже пять лет, но она только что научилась говорить.

В углу двора, рядом с поленницей дров стояла защитного цвета палатка. У палатки, прямо на снегу сидела женщина и кормила грудью ребенка. На ее завернутых в тряпье ногах были галоши, а из-под потрепанной, расстегнутой сверху гимнастерки была видна иссиня-багровая грудь, которую женщина стыдливо прикрывала рукой.

Зина знала, что нельзя подходить к чужим. Даже с ребятами во дворе ей не разрешали ни играть, ни даже разговаривать, но, вырвавшись из цепкой руки Оли, она подбежала к женщине:

— Тетя, вам же холодно, — только и смогла сказать Зиночка. Тяжело вздохнув, женщина ответила:

— Что ж поделаешь? — облачко пара, вылетевшее изо рта женщины, замерзло на губах.

Оля не успела удержать девочку. Зина, резко повернувшись, помчалась домой. Она знала, что нужно сделать!

— Мама, мамочка, там тетя и маленький. Они замерзнут! Давай пустим их в дом! У нас много места и тепло!

— Ты что, погубить всех нас хочешь? — закричала мама.

Никогда раньше она так не кричала, и Зина, не знавшая слова «погубить», решила, что мама подумала, будто она, Зиночка, хочет отшлепать всех по

губам, как это делала Оля, когда Зина брала с еще не накрытого стола кусочек сыра или хлеба.

— Нет! Нет! — закричала она. Тут мама, схватив все еще упиравшуюся девочку за воротник шубы, с помощью подоспевшей Оли быстро втащила ее в квартиру и захлопнула дверь.

— Не смей никого приводить в дом! Имей в виду, что пока мы тебя кормим, здесь распоряжаемся мы! Твое дело — слушаться!

Зина не узнавала маминого голоса и с трудом понимала, что она говорит.

На шум выбежала Манечка. Подхватив девочку на руки и крепко прижав к себе, Манечка унесла ее в кладовку, сняла с нее шубку и долго-долго успокаивала. Только она могла понять захлебывающегося от слез ребенка. Ведь и ее, оставшуюся сиротой, год назад родственники не впустили в дом! И куска хлеба не вынесли! Манечка все знала и все понимала. Она была для Зиночки больше, чем сестрой, больше, чем мамой. Она была Манечкой.

Под утро отец вернулся с работы. В то время все занимавшие ответственные должности работали по ночам. Отец схватил крепко спавшего ребенка за тощую косичку, поволок ее, спросонок ничего не понимающую, в соседнюю комнату, где была огромная тахта и, не говоря ни слова, жестоко выпорол Зиночку ремнем. Сжав зубы, девочка не издала ни звука, ни одной слезинки не выронила. Чужая боль оказалась для ребенка большим потрясением, чем собственная, физическая.

Именно тогда Зина почувствовала, что это не ее дом, и порой ей хотелось стать прозрачной, чтобы не нарушать своим видом это холодное и просторное великолепие. Это был дом, при воспоминании о котором вновь оживала боль от ударов отцовского кожаного ремня, обжегшая неожиданностью, несправедливостью и невероятностью происходящего. За что? Тогда ей это было непонятно. Понимание пришло позже, намного позже...

Четыре кошечки

Кто из детей 50-х годов прошлого века не зачитывался «Швамбранией» Льва Кассиля, где мальчики-гимназисты, необузданные фантазеры, рисовали карту выдуманной ими страны, в которой правила шахматная королева? У двенадцатилетней Зины в то время, а было это в конце 1953 года, фантазии и размаха, слава Богу, не хватило на то, чтобы замахиваться на целую страну. А посему предложила она трем своим одноклассницам организовать всего лишь общество — общество добрых, пушистых, таких любимых всеми кошек. А для того, чтобы игра была всамделишной, совсем как в жизни, одна из девочек очень красиво нарисовала членские билеты с профилями четырех разноцветных кошечек.

Если бы кошечек было не четыре, а три или пять, возможно, никто и не узрел бы потрясающего сходства с четырьмя всем известными профилями вождей пролетариата, красовавшихся на партийных и комсомольских билетах, а также на бесконечных плакатах и транспарантах.

Если бы не анонимный донос некоего «доброжелателя». Наигравшись же в эту, как оказалось, довольно опасную игру, все они могли бы совсем забыть о ней! Ан нет! Нет ничего тайного, что не стало бы явным!

Следовало бы поблагодарить классную даму и наусканных ею одноклассников, сумевших вовремя вправить «мозгушки» маленьким фантазеркам!

На пионерском собрании девочек клеймили позором. Каленым железом выжигали в них ересь неверия в светлое будущее и победу коммунизма во

всем мире. В конце выступила красавица, умница, отличница — староста класса. Наставив указательный перст на Зину, она начала: «И это Зина Смирнова! — и, выдержав для пущей убедительности многозначительную паузу, захлебываясь от искреннего гнева, переполнявшего ее, продолжила: — Имея таких родителей...»

Не успела она закончить фразу, как Зина выпалила: «При чем здесь мои родители!?» — все замерли. Но классная дама, лишь на мгновение замявшись, тут же предложила в связи с вышеизложенными «вопиющими фактами» немедленно исключить всех четырех девочек из пионеров. Их родители получили по строгому выговору и только одну из четырех глупых кошечек не отходили ремнем. Это была не Зина. Уж она-то всегда получала наказания в полной мере.

Тогда Зина не поняла, почему после слов: «При чем здесь мои родители?» все замолчали. Она посчитала, что им было неловко затрагивать честь такого замечательного человека, как ее отец. И лишь много лет спустя ей стало известно: она была единственной, кто не знал, что она не родная дочка у своих родителей.

Купальник

Что только не вытворяла Зина, когда была ребенком, особенно когда оставалась одна! Страх неминуемого наказания не мог остановить ребенка, вырвавшегося из пут постоянного надзора. В ту пору Зине было одиннадцать лет. Не один раз просила она купить ей закрытый купальник, заметив, что у нее, как и у всех девочек ее возраста, начали намечаться прыщики на груди, свидетельствующие о том, что она превращается из девочки в девушку. У всех ее сверстниц уже были закрытые купальники. Эти лоскутки разноцветной ткани и стали предметом ее вожделения. А ей все еще приходилось носить трусики и каждый раз стыдливо прятать прыщики под полотенцем или, сняв платье, тотчас бросаться в воду. Даже позагорать невозможно было! Как же ей хотелось иметь купальник, закрывающий все это безобразие! И вот однажды, когда родители уехали в город, залезла она в шкаф, чтобы найти что-нибудь, из чего можно было бы соорудить себе таковой. И нашла! Была это мамина красивая тонкая шелковая комбинация телесного цвета с роскошными кружевами. Аккуратно обрезав ее и соединив снизу, надела она сей предмет и, посмотревшись в зеркало, очень сама себе понравилась. И ей тотчас хотелось всем показать, что и у нее есть настоящий купальник. Довольная своей сметливостью, немедленно побежала она к озеру.

Можно себе представить, в какой ужас пришли все, кто увидел ее после того, как она, словно русалка, вылезла из воды! Намокший и прилипший к телу, «купальник» очерчивал каждую складочку ее угловатой фигуры. Зина, конечно же, не могла не заметить взглядов окружающих, но, посчитав, что все восторгаются созданным ее собственными руками «произведением искусства», стала лицом к солнцу, зажмурилась и изящно закинула руки за голову, решив позагорать, а заодно и дать всем возможность полюбоваться собою. Вывела ее из счастливого заблуждения одна «сердобольная» женщина, которая, пообещав огреть хворостиной, посоветовала немедленно убраться.

Когда девочка, прячась в кустах, подкралась к дому, она заметила стоящую у крыльца машину и поняла, что родители вернулись. А весь поселок уже гудел о том, что она бегала около озера голая...

В ужасе Зина залезла в дом через окно, быстро набросила на себя платье и, тем же путем выбравшись из дома, побежала куда глаза глядят. Она вознамерилась никогда не возвращаться домой. Выловили ее лишь на следующее утро в пятнадцати километрах от поселка, голодную, искусанную комарами, продрогшую и не способную сопротивляться.

В тот же день мама, заузив свой купальник, подарила его Зине. Но в то лето Зина ни разу не появилась на берегу в дневное время. Дачный домик стоял на отшибе, и можно было, никому не попадаясь на глаза, все дни проводить в лесу. Только там она не боялась, что над ней снова будут смеяться. Но по ночам Зина тайком вылезала через окошко своей комнаты и по узкой извилистой тропке спускалась к берегу, чтобы поплавать в озере.

Для гурманов

Вы когда-нибудь пробовали медузу? Знаете, какая она на вкус? Даже те, кого судьба поцеловала в темечко, у кого было масса возможностей вкушать самые экзотические блюда, вряд ли когда-нибудь пробовали медузу в собственном соку. А вот Зине однажды посчастливилось позавтракать медузой. Она даже может поделиться рецептом ее приготовления!

Везде и всегда поджидали ее удивительные и непредсказуемые приключения. Кто знает, сама ли Зина находила их, они ли искали ее, но вся жизнь оказалась невероятным путешествием по сказочным лесам, морям и океанам, дарованным ей свыше. Можно сказать, что жила она с открытыми глазами. Все ей было интересно, до всего было дело, все нужно было потрогать руками, попробовать на зуб. Правда, сейчас, когда разменяла уже седьмой десяток, все приходится пробовать на протез. Но воспоминания об увлекательных открытиях мира в дни юности и поныне скрашивают ее существование.

Приехала как-то Зина с мужем и дочкой отдыхать в Крым. Кто видел море только с берега, с борта катера или даже самого роскошного лайнера — не видел моря! Это лишь оболочка. Прекрасная, сверкающая, но оболочка. Рассказывать о его великолепии можно часами. Заглянув же в глубины морские, проплывая среди гор, ущелий, равнин и пропастей морского дна, прикасаясь к экзотическим растениям, сверкающим и переливающимся всеми цветами радуги, разговаривая с разномастными тварями морскими на их тихом, но таком понятном языке, можно ощутить полет души в невесомости морского космоса. Вот недалеко от берега плавают прозрачные, как леденцы, креветки, скачут табуны таких же прозрачных морских коньков с мордочками лошадок и свернутыми спиралькой хвостиками, пролетают парашютики медуз... Чуть подальше держатся стайками морские собаки, большеголовые, ярко окрашенные, с ядовитыми шипами. Множество других рыбешек, самых неожиданных форм, раскрашенных, как дикари во время ритуальных плясок, резвятся на лужайках или в зарослях дремучих подводных лесов. А вот и гроза хороших пловцов, тех, кто заплывает далеко, но не может с поверхности увидеть ярко-голубую каемку огромных медуз с кружевными щупальцами и плавающими среди них рыбешками-лоцманами, мелкие чешуйки которых сверкают словно разноцветные звездочки. Прикосновение к таким медузам грозит параличом руки, ноги, плеча — это уж как «повезет». А еще дальше — пустынные барханы песчаного дна, но, приглядевшись внимательней, видишь, что и там кипит жизнь.

И эта скала ей хорошо знакома — под ней Зина когда-то увидела клешни огромного краба. Как же упустить такого? Сунула левую руку в расщелину.

То ли некуда было крабу деваться, то ли оказался он очень храбрым, только не долго думая вцепился он в руку Зины и упускать свою добычу не собирался, не предполагая, на кого клешню поднял. Но и Зина была не промах: несмотря на боль, ухватила его правой рукой сверху за панцирь. Так и доплыла до берега, работая только ластами, краба же не упустила. На память о той схватке остался шрам на руке.

А вот песчаная дорога, на которой оставляет недолгий след большой рапан, а там песок живой, шевелится — это трусишка камбала прячется, точно имитируя цвет дна, и лишь чуть колышущиеся плавники выдают ее присутствие. Пожалуй, радужные краски морского дна намного богаче тех, которые мы наблюдаем на земле...

Но пора, видно, приступить к способу приготовления медузы на завтрак.

Пораньше, до завтрака, нужно пойти к морю, надеть ласты, маску, зажать трубку во рту, заплыть подальше от берега и нырнуть поглубже (в ту пору Зина ныряла аж до девятнадцати метров). Увидев грозно нависающую скалу, забраться под нее, чтобы найти там что-нибудь доселе невиданное: большого рапана или гигантского краба, потрогать снизу причудливый скальный навес или экзотическое морское растение и, почувствовав, что воздуха в легких уже чуть-чуть, изо всех сил плыть, плыть, плыть... наверх. Поняв, что верха нет, нужно еще быстрее заработать ластами, и, наконец-то, вовсе потеряв ориентировку, обнаружить, что все это время плыл вдоль дна, почти касаясь его. К этому времени воздуха в легких уже совсем не останется, и придется очень постараться, чтобы все же всплыть (хоть чучелом, хоть тушкой)... На космической скорости добравшись до поверхности воды и, взметнувшись в воздух до коленей, нужно немедленно вырвать загубник трубки изо рта. А дальше все совсем просто. Так как ходить по воде никто, кроме Христа, не умеет, то за взлетом немедленно последует погружение. Вдох сдержать будет уже невозможно, и сквозь стекло маски можно будет наблюдать, как не подозревающая об опасности легкомысленная юная медуза вместе с «рассольчиком» морской воды сама заплывает в рот. Так как тварь эта скользкая и соленая, то «проглот» происходит непроизвольно. Вкус, можете поверить, незабываемый. Потом, правда, долго придется откашливаться, отфыркиваться и стараться не выплюнуть ни капли аппетитного и весьма питательного блюда, поскольку в прибрежной «стекляшке» к этому времени остается лишь несколько порций холодного, сморщенного, как чернослив, позеленевшего омлета. Но набрасываются на этот деликатес только те, кто не ел медузу в собственном соку.



МЕЛИССА ШВАРЦ

Вуаль из ветра

* * *

Ветер в поле играет с пыльцой,
В бездну дали уносится птица,
И тоскою объятый покой
В сонной дымке заката искрится.
Под колесами стая песка
В мутный дым превратилась, и грусть
Из приемника песней сочится
По губам — по словам — наизусть…

* * *

«Любишь меня?» — мольба вопроса,
Алмаз, потерянный в золе,
И от тебя — подарок мне —
Лежать осталась на столе
Смертельно раненная роза.

* * *

Я сошью себе вуаль из ветра,
Буду прятаться под ней, и взоры
Не коснутся больше глаз неверных,
Не увидят черные узоры
Из ресниц, слезами раскаленных,
Да из глаз, убитых расставаньем.
Я сошью вуаль из утомленных
Лепестков цветов, наказанных касаньем
Твоих уст, соблазном обрамленных,
Твоих глаз, обманчиво красивых.
Я сошью вуаль из раскаленных
Твоих слов, болезненно ревнивых.
Я сошью себе вуаль из тени,
У тебя украденной однажды…
Я сошью — и будет мир потерян,
Но и ты меня не купишь дважды.

* * *

Так кричит тишина...
Шелест судеб,
Шорох на крыше,
Лепет губ,
Стон объятий...
Ты слышишь?
Так кричит во тьме тишина.

Плач стекла,
У окна
Кто-то дышит.
И дождем
На песке
Голос вышит —
Так зовет тишина.
Звук унижен.
Молча лижет
Кошка руку.
На балконе бесстыжем
Тень любви —
Ты обижен.
Так зовет тебя тишина.
Уходи же.

Обещание

Мы уходим — ты туда, а я сюда.
На полдня, а может, — навсегда.
Обещай же, что останешься собой,
Обещай, что будешь счастлив и с другой.

Согласись, что я совсем не та,
Согласись, что красота чужда
Тем цветам, что выросли на дне,
И вдвоем в твоем лишь будем сне.

Обещай, что будешь рядом только миг,
Обещай, что не услышишь сердца крик,
Обещай, что не проснешься,
Если вдруг скажу: «Прощай!»,
Обещай, что на прощанье
Тихо скажешь: «Не скучай».

И оттуда не вернешься — никогда,
Обещай, что ты уедешь — в города,
Улетишь туда, где ветер не бывал,
Где никто совсем ни разу —
Обещанья не давал.

* * *

Что в этом мире сильнее любви?
Любви безрассудной,
Прожженной запретом.
Что ранит больнее этой любви?
Любви, презираемой солнечным светом.
Лишь наша любовь,
Сокровенная тайна,
Хранимая лесом
И лунным мерцаньем.
Больнее всей силы,
Сильнее всей боли.
Любовь — между нами,
И нет лучшей доли.

МАРИЯ ШАМЯКИНА

Футляры

Рассказ

Сначала мне не удалось стать музыкантом. Хотя казалось, что никто из окружающих не способен понять музыку настолько глубоко, насколько понимаю ее я. Для меня звуки и интервалы, длительности и паузы складывались в изумительное математическое кружево. Нотный стан походил на запись шахматных ходов, каждое произведение было формулой с условием, необходимым перечнем действий и решением. Я просто подчинялся алгоритму…

Да, эмоции для меня упакованы в оболочку, закапсулированы. Они не похожи на чернильные пятна или грубые мазки неумелого художника. Они дозированы, отмерены, взвешены. Отточены, очерчены, закончены. Микеланджело говорил, что идеальная скульптура должна быть изваяна настолько гармонично и плавно — пусти ее катиться вниз с горы, не отколется ни один кусочек. И теперь, в старости, я ощущаю красоту все так же. Гравитация над ней не властна, не отколется ни один кусочек.

Итак, меня не привлекла возможность просто хорошо играть. Ведь к моменту окончания учебы стало совершенно ясно — за моей манерой исполнения никто не видит ничего, кроме точности. А слушатели хотели чувств, хотели кипения каких-то страстей, будто музыка существует только для этого. Всем им была совершенно чужда моя философия — философия Формы.

Потом я хотел учиться на мастера по изготовлению музыкальных инструментов, но было слишком поздно. Кажется, я оказался староват для этого. Впрочем, едва ли смог бы стать лучшим в своем деле, перечеркнув Амати, Гварнери, Страдивари… Может быть, а может, нет. Скорее всего, нет, поскольку старых мастеров любят, обычно, именно за их старость. Годы накручивают им цену. Вот ведь и так бывает: не поймешь, то ли ты слишком стар, то ли недостаточно стар.

Но я все равно копался в забытых рецептах. В инструкциях по сушке дерева, варке клея и лака. В описаниях того, как заставить дерево петь. В то время я уже окончательно определился с профессией.

Стал делать футляры. Не скрипки, а футляры для скрипок.

Казалось, в этом есть нечто жалкое и безнадежное, но в те годы мне нравилось себя жалеть.

Прошло некоторое время, мне стали попадаться на глаза и другие рецепты. Самые разные. Красители, яды, дубильные вещества для обработки кож, духи, лекарства, благовония, афродизиаки, рецепты по получению золота из неблагородных металлов. Рецепты продления молодости и жизни.

Я делал футляры и коллекционировал рецепты.

Изготавливая футляры, применял кое-какие сведения, почерпнутые из старых и относительно новых книг, тетрадей, рукописей, пергаментных свитков.

Мои изделия становились все более причудливыми и стоили все больших денег. Кожа, которой они были обтянуты, обрабатывалась определенным образом. Она была ни на что не похожа и меняла оттенки в зависимости от погоды. Бархат, устилавший ложе для скрипки, благоухал притягательно и подозрительно. На ощупь он всегда оставался теплым.

Прошло несколько лет, может, несколько десятилетий. Я мог продавать один футляр в полгода и жить безбедно.

Появились люди, которые покупали футляр, а скрипку, хранившуюся в нем, оставляли в магазине.

На медных или серебряных застежках, на костяных или деревянных ручках, я вырезал каббалистические символы, печати духов и имена ангелов.

Теперь мои футляры все чаще приобретали для того, чтобы хранить в них инструменты старых мастеров.

Я пропитывал дерево и кожу алхимическими тинктурами. Проводил обряды над футлярами, читал над ними заклинания, которые египетские жрецы читали над саркофагами своих фараонов, перед тем как положить в них тело.

Мои работы стали мечтой самых богатых коллекционеров. Многие хотели приобрести только футляр. Они не интересовались музыкой и были равнодушны даже к инструментам работы тех самых, пресловутых старых мастеров.

Никто и не догадывался, что под обивкой деревянные основы некоторых футляров инкрустированы драгоценными камнями и перламутром. Это были узоры, не предназначенные для глаз.

Потом я и вовсе отбросил идею о том, что мои футляры — просто коробки для хранения инструментов. Я стал делать футляры для скрипок, у которых может быть только одна струна. Футляры для скрипок вообще без струн.

Под тонкой кожей, теплой, как у живого существа, были упрятаны святые мощи и древние амулеты. Или выгравировано вечно благоухающее древо Сефирот.

Но не всегда. Я ведь собирал самые разные рецепты. Сперва не делал разницы между светлым и темным знанием, а потом просто запутался. Я этого не скрываю. Да, запутался. Я ведь обычный ремесленник. Не философ, не богослов. И человеку вообще свойственно ошибаться.

Я стал делать футляры, в которые невозможно было поместить скрипку, не сломав ее.

Под обивкой прятал карты Регионов, Охваченных Тьмой. Черный астрал. Числовые ряды и магические квадраты, предназначенные для связи с потусторонними силами. И, не скрою, это были вовсе не силы света.

Я инкрустировал крышки изнутри и снаружи зубами мертвецов, фрагментами мумий и костями доисторических животных.

Мои футляры стоили все дороже. Скоро у меня отпала необходимость вообще что-либо продавать, я уже обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Даже на очень долгую жизнь, такую долгую, какую трудно себе представить. У меня же имелись самые разные рецепты. Благодаря скрупулезности, присущей мне от природы, я сумел расшифровать рукописи Василия Валентина и Альберта Великого.

Подавляющее большинство коллекционеров и владельцев галерей до сих пор не представляют, что хранится в их собраниях предметов современного искусства.

Эти футляры, в которые вообще невозможно ничего положить, наполнены бусинами, перьями и ракушками. Кусочками кожи, украшенной татуировкой, осколками старинных зеркал. Из них сыплется какой-то порошок. Они пахнут жидкостью для бальзамирования и пеплом. Да, секреты вуду тоже привлекали меня какое-то время.

Те футляры я продал не ради денег, просто подобные вещи совершенно невозможно хранить дома. С ними столько хлопот. Из них время от времени выползают змеи и пауки.

Кажется, можно было бы сосредоточиться на изучении тайных наук, но я уже не мог остановиться. Вот в чем беда — моим знаниям необходима Форма. Я должен упаковывать их во что-то.

Знания как музыка, которую извлекают из скрипки, которую извлекают из футляра…

В моей кладовой находятся вещи, способные изменить мир. Способные подчинить этот мир мне, но я не хочу. Ведь я уже давно перестал интересовать-

ся деньгами и властью. В некотором смысле я вообще веду безгрешную жизнь. Мне чуждо все мирское. Может, стал бы кем-то вроде святого, если бы не эти футляры. Если бы не то, ***чему*** я придаю форму.

Кстати, зло входит в мир не благодаря мне. Оно входит в мир благодаря тем, кто охотно покупает мои работы. Ведь я делал предметы искусства, и не моя вина, что люди видели в них только форму.

Я делал футляры, которые напоминали скрипичные лишь внешне. На самом деле многие из них предназначались для хранения мумий мертворожденных младенцев. Нежизнеспособных уродцев, любимцев доктора Рюйша.

Я сделал даже оживляющий футляр, совершив над ним обряды египетских жрецов и европейских некромантов.

Мои последние работы хранятся у меня. Я не стал их продавать. Правда, несколько штук было украдено и продано на подпольных аукционах. Критики признали их вершиной моего мастерства.

Все эти футляры как будто придуманы для скрипок, изготовленных неправильно. В них помещаются лишь те инструменты, из которых можно извлечь только самые отвратительные звуки. Футляры для альтов-уродцев, для мертворожденных виолончелей и контрабасов.

Владельцы за огромные деньги предоставляют их изготовителям музыкальных инструментов.

Из футляров сыплются прах и вылезают пауки. У тех, кто слишком долго держал мое изделие в руках, может начаться проказа, рак или неожиданное помешательство. После соприкосновения с футлярами предметы еще долго пахнут ядами и афродизиаками. Известны случаи, когда этот запах вызывал у людей галлюцинации, удушье, судороги, анафилактический шок, кому и смерть. Внутри, под обивкой, не похожей ни на что, выгравированы и инкрустированы заклинания, разрушающие тело и душу любого, кто держит футляр в руках.

Мои работы пользуются дурной славой, потому нет отбоя от желающих прикоснуться к плодам моего мастерства.

Теперь в моду входят инструменты, сделанные таким образом, чтобы они умещались в мои футляры. Диспропорциональные, с впадинами и выпуклостями, повторяющими искривления ложа, несимметричные, уродливые, неудобные в обращении. Инструменты с отпечатками детских ребер, которыми выстланы изнутри некоторые футляры. Мертворожденные скрипки и альты, не предназначенные для рук живых музыкантов.

Звуки, извлекаемые из них, начинают считаться музыкой. Говорят, она не похожа ни на что, от нее мороз по коже. Многих слушателей это приводит в восторг.

А я никогда не заходил настолько далеко. Я просто делал футляры. Причем, футляры, вовсе не предназначенные для музыкальных инструментов. Кажется, люди неправильно поняли мою философию…

Внутри футляров что-то скребется по ночам. Иногда на крышках проступают письмена, сделанные пеплом, от любого движения воздуха он разлетается по комнате. Некоторые футляры источают кровь или трупный яд. Другие испускают гнилостное свечение.

Авангардные композиторы начинают сочинять пьесы специально для инструментов, созданных по слепкам с внутренней части моих футляров.

А я никогда не планировал ничего подобного. Я не знаю и не могу предугадать, что будет, если эта музыка войдет в моду. Если этот скрежет и глухой хрип начнут транслировать по радио и исполнять на публичных концертах.

Я не хочу об этом думать. Но уже не могу остановиться.

Меня ждет очень долгая жизнь, а общество людей мне отвратительно.

Я просто хочу быть один и делать свои футляры.

Посмертные слепки с умирающей музыки.

ЕЛЕНА КОШКИНА

Оставить на завтра

Три стихотворения маме

1.

Молитва
В обычной сети дорожной,
В сияньи простого дня
Исправь меня, если можно
Исправить еще меня.

Поверить позволь, что мама
В твоих краях не одна,
Что вместе с отцом, не ссорясь,
Спокойно живет она.

И всей твоей вольной силой
Так сделай в твоем краю,
Чтоб мама меня простила.
Так сделай в моем краю,
Чтоб я за все заплатила.

2.

Вот ты и вымыла раму,
Выскользнув из букваря.
Есть ли там что-нибудь, мама?
Или так думают зря?

В самом божественном храме,
Близ самого алтаря
Встану — услышать о маме.
Впрочем, наверное, зря.

Дни хороши и упрямы,
В днях этих мне повезло:
Крепкая белая рама,
Мамой отмытая рама
В комнате держит тепло.

3.

Здравствуй, мама. Здравствуй, дорогая.
Комната твоя светлым-светла.
За окном метелица седая,
В теплом доме музыка играет,
Только ты ушла.

Мы и оглянуться не успели.
Ты и попрощаться не смогла.

* * *

Милые, чужие пути.
Где мои, какие? Бог весть.
Как-никак, а надо идти.
Как есть.

Милая, чужая любовь,
Будь крепка, добра и длинна.
А в моей душе до краев —
Вина.

* * *

Поздороваться снова,
Отодвинуть от бездны лицо
И при помощи слова
Превратить эту бездну в крыльцо,
Дверь входную поставить,
Стены — выложит сам новосел.
Если сможет оставить
За порогом обиды на все.

Что случилось — случилось,
Отпечатало в сердце следы.
Продолжается милость
Солнца, воздуха, хлеба, воды.
Продолжается чудо
Возвращения в собственный дом
Каждый раз, отовсюду.
Длится память моя обо всем.

Благодарная память.
Только жаль, что родителей нет.
Что ж, на жалости этой
Мы и держимся тысячи лет.
К смерти жизнь не готова,
И под солнцем ее иль во мгле
Поздороваться снова
Нам еще предстоит на земле.

Телефон

Ты звонишь и молчишь в телефон.
— Что случилось? — привстала округа.
А по городу с разных сторон
На молчание двинулась вьюга.

Погасила огни фонарей,
Раскидала по снегу века, лишь
Одно ясно слышалось в ней:
— Не молчи, нужно все, что ты скажешь.

Ведь от голоса твоего
Входит радость в печальные стены.
Говори ради дня самого,
День услышит тебя непременно.

«Это я», — осторожно скажи,
Хочешь — радостно, хочешь — угрюмо,
Только трубку подольше держи
И, зачем это надо, не думай.

«Это надо», — выводит река
Синевой по откосам зеленым.
«Надо, надо», — поют облака,
Прижимаясь щекой к небосклону.
«Надо, надо», — поет соловей,
В музыку превращая тревогу.
Не молчи, говори поскорей.
Говори, не молчи, ради Бога.

Так сказала — и стихла пурга.
Темнота разошлась, раскололась,
И в холодных, пустых проводах
Стало слышно: рождается голос.
Голос твой зазвенел… Замолчал…
Зазвенел… Заиграл, как бывало…
Ветер ласково ветви качал.
— Я люблю тебя, — в трубке звучало.

* * *

Время — не знающий зависти автор.
Время ведет то сюда, то обратно
Повествованья горячую нить.
Все объяснить — его тихая жажда.
Все ему нужно. И если однажды
Нечего будет оставить на завтра,
Завтрашний день может не наступить.

Дёрдь Шпиро: «Как писатель я нуждаюсь в людях»

— Господин Дёрдь, прежде всего хотелось бы узнать побольше о Вас, о Вашем творчестве. Какие произведения Вы считаете для себя главными и почему? На какие языки они переведены? Вы не только писатель, но и историк литературы и театра, работали преподавателем в университете, были директором театра. При таком творческом разбросе трудно сосредоточиться на чем-то одном. Не так ли?

— Считаю, что мои самые важные произведения — это романы и несколько драм. Из романов «Иксы» переведены на французский и чешский, а «Мессиджи» на польский язык. Что касается творческой разбросанности, я никогда не чувствовал ничего подобного. Всегда занимался литературой и преподавал — то, что меня особенно интересовало. Правда, работал я и в разных театрах — как драматург и как директор. Приглашали и в качестве лектора университета. Сам работы не искал, но жить с литературы тоже не хотелось. Хотел жить среди людей. Иначе писать не мог бы. Как писатель я нуждаюсь в людях. На своей душе внимание не сосредотачиваю. Я не лирик.

— Как смотрится современная венгерская литература в контексте мировой литературы? Что для нее характерно сегодня? В Беларуси венгерскую литературу почти не знают, как, наверное, белорусскую в Венгрии. В чем причина? В отсутствии великих произведений или в недостатке хороших переводчиков? Или одно зависит от другого?

— Были у нас прекрасные поэты — поэзию переводить почти невозможно. Были у нас хорошие прозаики — но мы, как маленький народ, не интересны, потому что у нас нет ядерной бомбы. Венгерская литература — это нормальная европейская литература, а стала она такой прежде всего под влиянием немецкой. Я выучил почти все соседние языки, но, к сожалению, венгерских читателей не интересуют литературы маленьких народов, точно так же, как венгерская литература не интересует читателей иных восточноевропейских стран. Чистый снобизм. А если у нас что-то и переводится на венгерский, то мы это делаем оглядываясь на Запад. Скажем, нашумевший в Германии роман обязательно переведем на свой язык, нет — пройдем мимо.

— Возвращаясь к сегодняшнему дню венгерской литературы. Переросла ли она тематически ту литературу, которая была 40—50 лет назад, или, как носит человек растянутый свитер, так сегодняшняя литература «донашивает» старые темы, проблемы, чаяния?

— Трудно сказать. Традиция существует, а разные моды — тоже. Особенно к ним восприимчивыми оказались театры. Они занимаются ежедневной жизнью сегодняшней Венгрии. Пьесы, которые ставятся, можно назвать смутными, чаще всего в них изображаются люди, которые даже свой материнский язык плохо знают. Но можно говорить об оптимизме.

— Как отразились (отражаются) в венгерской литературе события 1956 года? Вы в своих произведениях упоминаете этот год как веху в истории Венгрии и в Вашей собственной судьбе. В одном из рассказов пишете, что Вы не уехали из страны в то время, как это сделали многие, и поэтому стали писателем. А те, кто уехал, есть ли среди них интересные имена в литературе? Как, скажем, Кундера, который уехал из Чехословакии во Францию после событий 1968 года?

— Мне было десять лет в пятьдесят шестом году, так что это было решение родителей, а не мое. У нас нет такой богатой традиции становиться писателем в эмиграции, как, например, у поляков. В 1956-м на Западе еще не догадались помогать восточноевропейским писателям, настроенным против коммунизма. Случилось это позже, в шестидесятых. Всего один значительный венгерский писатель печатался в те десятилетия на Западе, Сандор Мараи. У него замечательные дневники, а романы и повести не столь ярки.

— Была ли в Венгрии литература андеграунда, как в той же Чехословакии? Что она собой представляла — больше политический процесс или сугубо литературный, скрытый от глаз? Вы тоже писали в стол, как многие, или Вас все же печатали в официальных изданиях?

— Почти каждого печатали официально, поэт Дерд Петри был единственным исключением. Но это не значит, что мы не должны были всякий раз, отдав рукопись в издательство, долгие годы ждать выхода своей книги. Цензура работала точно так, как и в других социалистических странах. Был у нас и самиздат, но он не литературой занимался, а философией и политическими вопросами. И получилось так, что после 1989 года никто из писателей не мог ничего предложить неизданного — все давным-давно было напечатано. Андеграунд, правда, существовал еще в изобразительных жанрах и в театре.

— В одном из своих рассказов Вы пишете: «Ей было невдомек, что значит писатель, тем более венгерский писатель». Так что же он значит сегодня? Что это за фигура в современном обществе: уважаемая; любимая; до которой никому нет дела? Какими тиражами (в среднем) выходят книги, журналы? Существуют ли издательства в Венгрии, содержащиеся на дотации государства? Есть ли союзы писателей? Сколько в Венгрии литературных премий? Сколько приблизительно художественных книг издается в Венгрии ежегодно? Может ли венгерский писатель прожить на литературу?

— Тиражи наших книг по сравнению с тем, что было двадцать лет назад, упали в десять раз. По-моему, это нормальное явление, то же происходит и во всем мире: литература пока не занимает важное место в политике. К сожалению, это время еще придет. Нет сейчас у нас государственных издательств. Рынок книг сугубо капиталистический, государство дает 0,5%—1% в качестве дотаций. А вот литературные премии (их очень много), за исключением некоторых, — государственные. Имеются два крупных союза писателей, однако они ровным счетом ничего не решают, их роль в жизни нашей пишущей братии минимальная. Книг издается тьма, точных цифр не знаю. Но прожить литературой могут лишь те, кто издается в Германии, чье имя там известно. Таких всего 5—6 человек. Все остальные вынуждены подрабатывать в качестве редакторов, преподавателей, переводчиков (последних особенно много). Я тоже не могу прожить литературой, хотя недавно один

из моих романов, «Неволя», был раскуплен более чем сорока тысячами читателей. Что касается места писателя в обществе, то приходится признать, что мало людей читают современную литературу, поэтому для них писатель еще важная фигура. Но, впрочем, не только для них. Некоторые политики и политологи занимали место писателей и даже актеров и в прессе, и на телевидении.

— Как чаще всего Вы строите свои произведения — на материале, ситуационно очень интересном, на типичном, на воображаемом? Вот рассказ «То, о чем говорил учитель». Он потрясает. Молоденькая девушка показывает из автобуса своему юному спутнику, на коленях у которого она сидит, на бронзовые башмаки, горкой «сваленные» на берегу Дуная. Так выглядит памятник евреям, которых в 1944 году здесь, у самой воды, расстреливали фашисты. Из местных жителей. Были, оказывается, и такие. В глазах девушки рассказчик увидел «страшную ненависть». Но не к фашистам — к жертвам массовых казней. Не художественная ли это передержка? Типичен ли антисемитизм для молодых венгров? В другом рассказе «У моей могилы» Вы с сарказмом и горечью пишете: «Еврейскому кладбищу на улице Козма не видать ни конца ни краю, немало земли и костей придется перелопатить, когда останки некогда живших евреев и тех из ныне живущих, кого еще можно обозвать жидами, выметут из Венгрии, чтобы построить на этом месте торговый центр, вертолетную площадку, городской сквер или увеселительный квартал». Не писательское ли преувеличение все это?

— В данных рассказах нет никакой фикции. Все так, как я написал. Разумеется, судьбу еврейского кладбища предвидеть точно не могу, но тенденции, по-моему, довольно ясные. Слишком глубоки традиции XX столетия в менталитете моего народа, традиции фашизма и коммунизма. Перемены в общественной жизни, которые вяло начались у нас 20 лет назад, ничем плохим не кончились. Но как только государство распадается, а видим, что из-за разных причин так и происходит, возникают группировки феодально-коммунистической мафии и оживляются различные виды давних суеверий.

— В рассказе «Два венгра» Вы поразительно точно излагаете философию отношений двух друзей, которые со временем охладевают друг к другу, чтобы быть подальше одному от другого как от свидетеля собственных сделок с совестью, из страха обнаружить перед ним разочарование в себе, иллюзии, за которые каждый вынужден цепляться, чтобы выжить. Скажите, насколько Ваши рассказы автобиографичны?

— Эти рассказы, которые Вы печатаете, абсолютно автобиографические. Я только не назвал конкретных лиц по именам, хотя этих людей сейчас уже нет.

Беседовал Юрий Сапожков.



От переводчика

«Современная венгерская литература? — встрепенется заинтересованный читатель. — Это может быть любопытно!» Ваше предположение верно, дорогой читатель, литература сегодняшней Венгрии действительно многогранна и многоцветна. Беда лишь в том, что вам придется поверить этому на слово, поскольку ограниченные рамки журнала не позволяют нам доказать это на деле. Поэтому мы постарались найти компромиссное решение.

Прежде всего, авторы, представляющие нашу подборку, не случайные люди в литературе, это писатели «из первой обоймы». Заслуженные мэтры, за плечами которых богатый творческий багаж, отмечены как пристальным читательским вниманием, так и целым рядом литературных премий и наград, широкой известностью и у себя на родине, и за ее рубежами. Готовя публикацию, мы были вынуждены ограничиться произведениями малого жанра, то есть рассказами, однако памятуя при этом о свойстве золотника, который, хоть и мал, но дорог. Собственно, рассказ тем и интересен, что под пером умелого писателя способен подарить читателю не меньше художественных впечатлений, переживаний, чем иной объемистый роман. Надеемся, что, отведав по небольшому кусочку венгерских яств, вы поверите, что и остальные «блюда» на большом творческом столе не менее оригинальны и приятны на вкус.

И еще одна особенность нашей подборки: все рассказы сюжетные, и в центре каждого повествования — человек: в экстремальной и будничной обстановке, во взаимоотношениях с другими людьми или наедине с собой, со своими чувствами, переживаниями. Воспоминаниями, которые сродни и нашим чувствам, а потому не оставят нас равнодушными.

Сколько существует литература, столько и занимает писателей тема, которую принято называть «банальный любовный треугольник». Но верно ли само название? Ведь это все равно, что причислить всех людей скопом к банальным. А коллизии похожи только внешне, их формирование и развитие зависят не только от ситуации, но и от характеров участников. Отношения людей, замкнутые таким треугольником, предстают перед читателем в рассказе Ласло Мартона такими, как видит их обманутая жена. Былая любовь, понимание, взаимный интерес давно изжили себя в той семье. Сильная, амбициозная жена немалого достигла в жизни, сделала карьеру, а мужу было не угнаться за ней, и она про себя метко характеризует их принцип сосуществования как отношение к старому, поношенному, растянутому свитеру: носить нельзя, а выбросить рука не поднимается. Изменник-муж и злая разлучница остаются как бы на периферии повествования, однако благодаря мастерству писателя, изображающего эти две стороны треугольника скупыми, беглыми штрихами, становится ясной ошибочность этих «банальных» представлений. И муж — не развратник, стремящийся к новизне любовных приключений, и «разлучница» — скромная, неудачливая женщина, которой хочется не только получить от жизни хоть капельку простого человеческого и женского счастья, но и «растянутому свитеру» придать прежний опрятный вид. Все трое несчастливы, они — жертвы обстоятельств и нуждаются в сочувствии.

Люди нашего бурного века привыкли жить на бегу (если не стоят по нескольку часов в пробках), бешеный поток подхватывает, захлестывает, не дает задуматься, осмотреться, побороть эту безумную, губительную гонку. Ласло Краснагоркаи замечательно передает темп этой нынешней жизни художественными средствами: его умелая, затягивающая в свое течение проза тоже не знает передышек, остановок, не признает знаков препинания, льется сплошным потоком, как улич-

ное движение, не признающее светофоров. Некоторым — очень немногим — удается выработать в себе отстраненное отношение к сумятице, сутолоке, спешке, предаваясь бездумному созерцанию ее. Ну, а как быть остальному большинству, подхваченному неудержимым потоком? Можно, например, ухватиться за мечту, довлеющую над твоим разумом и чувствами. Пусть окружающие считают ее нелепой прихотью, блажью, но для тебя она — легендарный Акрополь, высящийся над повседневной суетой. Увидеть Акрополь, о котором мечтал с детства, — от этого желания отказаться невозможно. Герой рассказа терпит крах: взобравшись на вершину, Акрополя он не видит, ослепленный знойным полуденным солнцем, а когда решает вернуться к бездумному существованию, присоединиться к новым приятелям, грекам и жить, как они, не ведая забот и мечтаний, погибает. Каждому придется ответить для себя на вопрос: можно ли жить без всякой мечты, пусть и недостижимой? Даже если плата за нее — сама жизнь.

Творчество Дёрдя Шпиро представлено в основном короткими рассказами, тема которых — родственники, родственные отношения. Семейные дела никогда не бывают простыми, чуть ли не у каждой семьи — свой «скелет в шкафу»: загадочный дед, о котором родственники по необъяснимой причине никогда не упоминают ни словом, сын, недолюбливающий родную мать, жена, ненавидящая мужа, с которым прожила всю жизнь… Такое случается сплошь и рядом. Но писателя волнуют не эти внешние проявления, не последствия сложных взаимоотношений: он ищет глубинных истоков и причин человеческих поступков, поэтому даже обычные житейские ситуации наполнены у него философским смыслом, а рассказы зачастую напоминают притчи.

Три писателя — хороших и разных — приглашают читателя к раздумьям, к откровенному разговору, который поможет нам открыть в себе, в своей душе нечто новое и неизведанное.

ДЁРДЬ ШПИРО

Мой дед по отцовской линии

Ни одной фотографии его я не видел, хотя свадебный снимок наверняка существовал. Бабушка хранила множество фотографий в своем съемном жилье на улице Дохань, она сама красовалась там на стене, в память о молодых годах — я был поражен, до чего хорошенькой девушкой была моя страхолюдина бабка, — там же висели портреты ее сыновей в детстве, юности и во взрослом возрасте, но снимков мужа не было ни одного.

Отец мой не говорил о нем ничего, бабка — тоже, мать иногда давала понять, что отношения между ними были несколько напряженными, но отец и в таких случаях отмалчивался. О дедушкиной семье тоже разговоров никогда не возникало, будто бы у отца моего не было даже двоюродных братьев и сестер, что попросту невозможно. Умер дед в начале сороковых, стало быть, не в лагере и не в гетто, а скорее всего, от какой-либо хвори. Не было разговора о том, где его могила и об уходе за ней. Прожил он, вероятно, лет пятьдесят с чем-нибудь.

Он выучился на дамского портного, то же ремесло освоила и его жена, они шили, шили и шили, вырастили двоих сыновей, обоим дали образование, водили на уроки немецкого, английского, французского, обучали игре на скрипке, затем определили в университет: отец мой учился в Брюнне, а его младший брат, попавший в квоту, — в Будапеште. Домашнее обучение детей в ту пору тоже стоило немалых денег, смущаясь, упомянул однажды отец. Оба парня занимались плаванием, теннисом, шахматами, а это господские виды спорта, дорогие. Деду с бабкой приходилось крутить швейную машинку с утра до вечера. Отец с бра-

том родились в Мишкольце, а в Будапешт семья перебралась в начале двадцатых годов. Нищета после войны была страшная, никто в провинции не шил одежду на заказ, да и сыновей хотелось определить в школу получше.

У меня никак в голове не укладывалось, почему деда не взяли на войну. Из-за того, что у него на шее было двое детей? Подмазал кого надо деньгами? По состоянию здоровья?

Семья нуждалась, все заработки уходили на детей, и супруги знай себе шили, шили и шили… Синагогу не посещали, на идише не говорили. Не знаю, были ли у них друзья, но у бабушки точно ни одного не было. Развлекаться никуда не ходили, читать не читали, зато сыновья читали, играли на скрипке, увлекались лодочной греблей, плавали, играли в футбол, теннис и шахматы, учились.

Почему мой отец никогда не рассказывал мне о своем отце? Стыдился, что тот был всего лишь портным, а не интеллигентом? Вряд ли. Скорее всего, стеснялся, что он был ремесленником, а не сознательным заводским рабочим.

Деду, возможно, тоже хотелось учиться, но надо было выводить в люди сыновей, вот он и сделал из них господ. Шил, шил и шил на пару со своей женой, которая его не любила, да и сыновья не упоминали о нем вслух. Они были лишены способности любить, вся энергия их ушла на другое.

Деда звали Дюла. Исконно венгерским именем нарекли его родители в восьмидесятых годах XIX столетия, его получил он в качестве путевки в жизнь. Человек кроил, сметывал, шил несколько десятилетий, и никто его не любил.

А я обязан ему почти всем.

Два счастливых венгра

В детстве мое внимание притягивали к себе две черно-белые фотографии. На одной был изображен мой отец в смешных длинных трусах: на широком, грязном игровом поле он бьет по мячу; на другой — вратарь, весь в черном, топчется на том же самом поле.

— Никак, дядя Лайош? — спросил я.

— Он самый.

Отец с гордостью рассказывал, что во всей команде только они двое были венграми, остальные сплошь чехи, даже немца ни одного не затесалось, хотя их команда представляла город Брюнн, и в чехословацком чемпионате они занимали пятое-шестое место. Я не считал это бог весть каким достижением, в отличие от моего отца, который с воодушевлением объяснял, что чемпионат был дьявольски трудным, куда более серьезным, чем венгерский, ему по меньшей мере раз пять заехали бутсой по лодыжке, поскольку он был центральным нападающим, то есть ведущим игроком, его даже приглашали в чехословацкую сборную, но он предпочел остаться гражданином Венгрии и по окончании немецкого университета вернулся на родину.

— Каким вратарем был дядя Лайош? — допытывался я.

— Лайош? Очень хорошим, — сказал отец.

Родители бывали в гостях у семейства дяди Лайоша, так как дочка Лайоша, Кати, была моей названной сестрой. По всей видимости, мы были ровесниками, вот нас и заставляли играть вместе. Я частенько приглядывался к высокому, сутулому, страдающему от болей в поврежденной пояснице, с трудом передвигающемуся дяде Лайошу и не мог себе представить, что когда-то он был хорошим вратарем. Затем визиты стали все реже и реже, и примерно когда я вступил в подростковый возраст, совсем прекратились: Лайош отпускал иронические замечания в адрес отца, который верит «этим», отец же клеймил Лайоша мелкобуржуазным реакционером. Поначалу оба смеялись над этими подкалываниями, затем перестали.

Я видел, что отца очень огорчает их отчуждение, но он молчал, как обычно, когда что-то чувствительно его задевало.

Мне было жаль, что два некогда близких человека отдаляются друг от друга по политическим причинам, ну, и конечно, из-за того, что жены их не переваривали одна другую. Мать моя на дух не принимала любого, кто выказывал симпатию моему отцу; тогда я еще по наивности думал — из ревности. Отец больше так и не обзавелся друзьями. Если уж они на протяжении десятилетий были не разлей вода, учились в одном городе, играли в одной команде, если дети их стали названными братьями, им бы следовало беречь и хранить свою дружбу, — так думал я в ту пору.

И все же на похоронах жены Лайоша прощальную речь держал мой отец. Странно, что он, будучи атеистом, упомянул Бога. К тому времени я научился у него молчать и не спросил, почему он высказался в таком духе. Вскоре мы схоронили и отца. Затем наступил черед Лайоша.

Мать порвала все фотографии, в том числе и те обе, но они глубоко врезались мне в память: два счастливых молодых человека, в середине тридцатых годов, на грязном чехословацком футбольном поле. Два счастливых венгерских студента, которые не имели возможности учиться у себя на родине и не догадывались, что впереди их ожидают все ужасы двадцатого века.

Теперь я иначе смотрю на их разрыв. Не от друга отдаляется человек, а от самого себя. Бежит, спасаясь от свидетеля, от того в самом себе, чем может упрекнуть его другой. Не расхождения в политических взглядах и не враждующие меж собой жены причина того, что не решаешься больше взглянуть в глаза другу, а некая чуждая тебе материя, копящийся в душе тяжелый осадок, разочарование в самом себе, в иллюзиях по отношению к окружающему миру, иллюзиях, за которые мы вынуждены цепляться, если хотим выжить.

Тяжкое дело отказ от многолетней дружбы: это своего рода тщательная самоподготовка, без которой и смерти в лицо посмотреть не сможешь.

У моей могилы

В последний раз, когда она побывала у нас, на ней было белое платье с юбочкой в складку, к темным волосам был приколот белый искусственный цветок. Мои родители сказали, что она одна, без сопровождающих, улетит далеко-далеко; на шею ей повесят табличку, где будет написано ее имя и просьба к добросердечным взрослым помочь девочке, поскольку ей предстоит несколько пересадок.

В свои два с половиной года я каким-то образом уразумел, что тетушку свою, которая была всего лишь двумя годами старше меня, я больше не увижу. Я не интересовался, почему ее не взяла с собой мать, отбывшая в дальние края раньше. К тому же я смутно помнил эту мамашу.

Мне трудно было понять, какая степень родства нас связывает — ее умерший отец доводился братом моей бабушке, — я просто глаз не мог отвести от ее блестящих, длинных, темных волос. Красивая девочка была эта моя тетя и весело щебетала с моими родителями и бабушкой. На ногах у нее были нарядные, черные сандалики с пряжкой, она сидела на полу рядом со мной по-турецки, разложив юбочку кругом, не без женского кокетства, но не нянчила меня, не играла со мной, поскольку все ее мысли были заняты предстоящим отъездом.

В последующие годы имя ее иногда всплывало в разговорах, как правило, в речах бабушки, которой она иногда писала на венгерском, хотя язык ее становился все хуже. После 56-го мой дядя Лаци, бабушкин младший сын, отбыв срок в тюрьме, тоже уехал в дальние дали, бабушка не очень-то хвасталась письмами моей тетушки, когда обедала у нас по воскресеньям, а уж письма папиного младшего брата и вовсе никому не показывала. Войдя в возраст, я понял, что из всех своих сыновей бабушка любит только Лаци, отца же моего, который содержит ее, — нет, и что к дочери своего брата она питает столь глубокие чувства, каких не выказывает по отношению ко мне.

Я раздумывал, в чем тут причина. В девичестве бабушка моя по отцовской линии была очень хороша собой, я видел множество фотографий, развешанных по стенам ее комнаты; вероятно, замуж за неимущего портняжку она вышла по расчету, сама будучи еще беднее. Отца моего, своего первенца, она родила, должно быть, от мужа, а вот Лаци, наверное, от кого-то другого — строил я предположения: братья были совсем не похожи, ни внешне, ни по натуре. Впрочем, совсем не обязательно искать причину в этом, люди не всегда вольны в своей любви и ненависти.

В 65-м в Будапешт неожиданно заявились моя тетушка и ее мать.

Состоялся парадный семейный обед в ресторане на Дунайской набережной, ему сопутствовала совместная прогулка, фотографирование на память; гости жили в гостинице «Ройал», и мне довелось провести вдвоем с тетушкой вечер в баре. Из нее получилась хорошенькая женщина, правда, глаза чуть косили к носу, но даже это шло ей: она была высокая, стройная, гладкие, темные волосы — красивые и длинные до плеч, и по-венгерски она болтала вполне сносно. Это пришлось кстати, поскольку английским я не владел. В баре она рассказала мне, что влюблена в потрясающего мужчину и, наверное, выйдет за него замуж. Пригласила меня танцевать и плотно прижалась ко мне, я старался не давать воли чувствам, ведь в конце концов она родственница, пусть и дальняя. Затем пришлось свозить ее и бабушку на остров Маргит, я был вынужден вырядиться в костюм, мы прогуливались, снова фотографировались, снимки сохранились, мать не сожгла их, должно быть, потому, что на них не было моего отца, которого она ненавидела.

Четыре года спустя бабушка скончалась, мы ее похоронили; не помню, кто известил тетушку, возможно, даже я сам. Маленький приемничек «Сони», который она в 65-м привезла бабушке, унаследовал я, и он прослужил мне много лет.

Через девятнадцать лет после визита тетушки в Будапешт судьба забросила меня в Нью-Йорк. Адрес и телефон ее у меня были, и я раздумывал, позвонить или не стоит. Вообще-то, мне не очень хотелось. Она живет своей жизнью добропорядочной американской матери семейства, о чем нам друг с другом говорить? Чего доброго, подумает, будто я навязываюсь, а мне и вовсе не нужно, чтобы она отнеслась ко мне с такой же сердечностью, как девятнадцать лет назад, лишь потому, что мы родственники. Отца моего, то бишь ее двоюродного брата, вот уже одиннадцать лет не было в живых, кто я ей — седьмая вода на киселе?

Но как-то воскресным утром я все же позвонил ей; должно быть, чувствовал себя очень одиноким — ровно в такой степени, как это было бы свойственно какому-нибудь американцу. Тетушка от радости завизжала в трубку, я даже испугался. Велела, чтобы я немедленно шел к ним. Сколько еще я здесь пробуду? Останусь ли в Америке навсегда? Почему не написал заранее?

Я жил в высотном доме Колумбийского университета на углу 125-й улицы и Риверсайд Драйв, она — на Вест Энд авеню, в нескольких остановках метро оттуда. Еще по телефону она заверила меня, что у них в районе безопасность гарантирована, а дома в округе заселены сплошь одними евреями; она предупредит дормена, чтобы тот меня впустил. После обеда я купил цветы и отправился в гости.

Тетушку я застал в разгар семейной перебранки, по просторной квартире носились двое мальчишек-подростков и маленькая девочка, а мать гонялась за ними. Муж тоже был дома, щупленький, усатый, симпатичный сефард и, как тетушка не преминула тотчас сообщить, на редкость успешный адвокат. Меня усадили в холле, муж тоже подсел ко мне, словно других дел у него не было, — хотя о моем приходе он не был извещен заранее, и вступил со мной в вежливую беседу. Меня угостили выпивкой, потчевали печеньем; я сидел как на иголках, мечтал сбежать, но хозяева уговаривали остаться на ужин. Тетушка взяла с меня слово, что следующий шабес я проведу с ними. Только мальчишки вели себя нормально: плевать они на меня хотели. Супруг тоже поинтересовался, останусь ли я в Америке, и видно было, что не верит в отсутствие у меня такового намерения. Я твердил, что у меня уйма работы, засяду в библиотеке, а еще хотелось бы поездить по стране, коль скоро уж я сюда попал.

Несколько часов, что я у них провел, тетушка ничем другим не занималась, кроме как шпыняла своих близких, и я вяло отметил, что она превратилась в кошмарную гарпию.

Такая обстановка в семье до добра не доведет, подумал я, уходя, и вздохнул с облегчением, что сам я не женат и не имею ребенка, который привязал бы меня навеки к его ужасной мамаше.

Я надеялся отделаться этим визитом, однако тетушка выманила у меня номер телефона и названивала, названивала, покуда не добилась обещания провести с ними следующий шабес. Напрасно я уверял ее, что не придерживаюсь религиозных убеждений и даже, более того, не считаю себя евреем… «Значит, ты такой же, как твой отец!» — воскликнула она возмущенно. Не сказала «коммунист», но подумала. Вероятно, ей что-то писали по этому поводу то ли бабушка, которую она величала «тетей», то ли дядя Лаци, который по пути в Африку или Азию, где он строил мосты, частенько наведывался к ним.

Что бы я ни говорил, заведомо зная, что ей не понравится сказанное, она все пропускала мимо ушей: ей хотелось обожать меня, единственного оставшегося в живых родственника по отцовской линии. У меня возникло подозрение, что супруга своего она отнюдь не любит столь беззаветно.

О еврейских ритуалах я не знал ровным счетом ничего, кроме того, что мужчины по праздникам чем-то покрывают голову. Может, берет сгодится? На улице зима, в берете я хожу постоянно, ну, и у них снимать его не стану.

Долго же тянулся тот вечер пятницы! Я сидел за столом, они проделывали свои фокус-покусы, мне тоже подсунули молитвенник на двух языках, чтобы я мог читать по-английски то, что они произносили на иврите. Вот уже несколько лет они ходили на занятия, учить иврит сейчас модно, дети, конечно, читали гораздо свободнее, чем родители.

Подали суп с клецками из мацы, впрочем, вполне съедобный. Затем водрузили на стол блюдо с куриным паприкашем, крупные, толстые куриные ноги плавали в золотисто-красному соку, тетушка заверила, что расстарались ради меня, ведь куриный паприкаш любимое венгерское блюдо. Я рассыпался в благодарностях. Затем пришлось обождать, пока прозвучит какой-то благодарственный молебен, после чего мы приступили к трапезе. Взяв в рот первый кусок, я остолбенел: куриный паприкаш был подсахарен. Это был самый трудный ужин за всю мою жизнь; борясь с тошнотой, я кое-как затолкал в себя половину порции.

Ночью на Бродвее я заказал себе куриное крылышко с картошкой — оно не было подслащенным.

Тетушка на какое-то время оставила меня в покое, затем пригласила наведаться к ней в послеобеденное время, когда дети в школе, а муж в конторе. Действительно, дома оказалась только девочка под присмотром бебиситтер. Мы с тетушкой расположились на кухне, она поила меня американской бурдой, выдаваемой за кофе, и делилась подробностями своей жизни.

Супруг ее, человек неоценимых качеств, трудится на износ, зато и зарабатывает кучу денег. Не муж, а подлинное сокровище.

Была в ее жизни большая любовь, она, помнится, рассказывала мне об этом еще лет двадцать назад, в Будапеште, ее избранник — чемпион по теннису, красавец мужчина, она бы и вышла за него замуж, но он почувствовал в себе иную половую идентификацию и подверг себя операции по изменению пола, он был первым на всю Америку, случай незаурядный, о нем писали все газеты… А венгерская печать не откликнулась? Странно, событие прогремело на весь мир. После этого ей долго ничего подходящего не подворачивалось, а затем появился этот замечательный человек, ее супруг.

В результате никакого образования она так и не получила, колледж бросила, семья для нее — смысл жизни, ради них, своих близких, она пожертвовала всем, как и подобает еврейской матери семейства. О себе она говорила очень много, обо мне не спросила ничего, ей было достаточно того, что наконец-то появился

близкий человек, перед которым можно выговориться, и ее привязанность ко мне лишь усилилась.

Весной она пригласила меня на бармицву старшего сына. Тут уж не откажешься. Новая, возведенная из бетона синагога для неофитов находилась по соседству с Метрополитен-опера, там мне предстояло фигурировать в качестве ближайшего родственника. По этому случаю я получил от тетушки настоящую кипу, я, оказывается, должен был проделывать что-то со свитком Торы, извлеченным из шкафа, а потом присутствовать на семейном пиршестве в одном из шикарных ресторанов на Вест Энд авеню.

В большом зале было расставлено десятка два столов на десять персон каждый. Угощение оказалось вполне съедобным. За нашим столом сидели самые близкие тетушкины друзья, бывшие школьные подружки с мужьями, в том числе две супружеские пары венгерского происхождения, хотя и не говорящие по-венгерски, в 56-м они уехали из страны вместе с родителями. Один мужчина моих лет — инженер, другой мой ровесник — юрист.

Мы разговаривали, ели, пили, они время от времени читали молитвы, я сидел молча, пытаясь представить себе, что было бы, послушайся отец меня, десятилетнего мальчишку и эмигрируй мы в 56-м. Сидел бы я за этим самым столом, инженер или юрист, по-венгерски — ни слова, и мне даже в голову не пришло бы заняться писательством. Как сложилась бы моя жизнь? Стал бы я человеком состоятельным, мучился бы, живя с постылой женой, молча сносил бы бесконечное квохтанье безмозглых клушек и понятия бы не имел, чего же мне не хватает. Но от нехватки этой наверняка спятил бы.

Когда я забежал к ним попрощаться, супруг был со мною сама любезность, хотя и прежде всякий раз радовался моему приходу. Теперь мы действительно поговорили бы по душам, вот только времени не оставалось. Он все эти месяцы трясся со страха, что я надумаю здесь остаться, сяду ему на шею, и — по безумной прихоти его супруги — первые годы моей американской жизни ему придется меня содержать.

Меня так и подмывало сказать: брось, мол, ты эту бабу, пока она не довела тебя до инфаркта или инсульта, дети уж как-нибудь вырастут. Но я не имел права вмешиваться, будучи родственником не его, а жены. Тетушку мне тоже было жалко, но мужу ее, по иудейским догмам обращенному в рабскую сексуальную зависимость, я сочувствовал еще больше.

Накануне моего отъезда тетушка устроила мне отдельные проводы, пригласив в японский ресторан неподалеку от их дома на Бродвее, разоделась по этому случаю среди бела дня. Вид у нее был грустный: уезжает единственный родственник по отцовской линии, с которым вряд ли еще доведется встретиться. Что при этом думаю я, она не имела ни малейшего представления. Ей было невдомек, что значит писатель, тем более венгерский писатель, — с точки зрения американца такого понятия вообще не существует. Она не могла взять в толк, почему я отказался от очередной стипендии в Колумбийском университете, после чего мог бы получить такую же стипендию в Бостоне, а затем «tenure» в каком-нибудь приличном колледже на восточном побережье и стал бы университетским профессором. «Tenure» для американцев волшебное слово, примерно соответствующее нашему «должность, пост»: у кого есть «tenure», того так просто за порог не выставишь, счастливчик и с голоду не подохнет, и пенсией будет обеспечен в свой срок.

Тогда же она попросила меня сходить в Будапеште на еврейское кладбище, где покоится ее отец, и внести плату, чтобы за могилой ухаживали. Всучила деньги, как я ни отказывался. За обед тоже заплатила она, невзирая на все мои протесты. Я не знал, куда деваться со стыда.

Я наведался на кладбище, что находится на улице Козма, внес деньги, могилу осматривать не стал, да и впоследствии не проверял, действительно ли за ней ухаживают.

Вскоре после этого советские войска неожиданно были выведены из Восточной Европы, а тетушка объявилась в Будапеште. Не стала разглядывать мою запущенную, жалкую квартиру и даже не поинтересовалась женщиной, которая тоже присутствовала за ужином. Она искала работу. Еще в Америке она занялась преподаванием венгерского тем, кто жаждал сюда перебраться. При ее скудных знаниях по части родного языка я только диву давался, что ей платили за уроки, но удивление свое не высказал вслух.

С мужем она развелась, и тот вместе с детьми переселился, разыгрывались ужасные сцены, о судебном процессе даже вспоминать страшно, однако в результате квартира на Вест Энд авеню осталась за ней, а загородный дом перешел к мужу. Ее адвокат отвоевал ей весьма приличную сумму на содержание, — по венгерским понятиям, сумасшедшие деньги, — но она считала, что ей недодали. Дети? Видится она только с дочкой, ее выдают матери раз в два месяца на один день; с мальчиками, по решению суда, она тоже вправе встречаться, но сыновья ее на дух не переносят, и с ними она не виделась вот уже несколько лет.

Преисполненная самодовольства тетушка рассчитывала начать новую жизнь, поскольку предыдущая оказалась ошибкой, она чувствовала себя молодой и сильной, ей все было нипочем. В гостинице она отвалила посыльному колоссальные чаевые, также осчастливила и портье, и радовалась, до чего любезны и приветливы венгры, в такой стране стоит жить. На ней был широкий балахон, моя некогда стройная тетушка расползлась, хотя лицо у нее вытянулось и покрылось морщинами, глаза холодные, губы истончились, а от углов рта отходили глубокие носогубные складки.

Она попросила меня отвезти ее к отцовской могиле.

Когда?

Прямо сейчас.

Я пришел в ужас, но согласно кивнул.

В конторе нам сказали, на каком участке находится захоронение, мы двинулись вдоль рядов могил, и я слегка успокоился: эта часть кладбища богатая и ухоженная, глядишь, все обойдется благополучно.

Могила оказалась в полном порядке, большая каменная плита с именем ее отца, никакого мусора, лишь несколько опавших листьев, тетушка их смахнула, подняла с земли несколько камешков, положила на могилу. Постояла, поплакала, молча помолилась. Я, с чувством облегчения, держался в сторонке.

Мы уже шли к выходу, когда она вдруг заявила, что желает наведаться к могиле «тети».

На это я уж никак не рассчитывал. Бабушку схоронили двадцать лет назад, и с тех пор никто не посещал ее могилу. Я помнил, в какую сторону направились мы тогда вслед за деревянным гробом, водруженным на скрипучую, ветхую тележку, но точное место на этом большущем кладбище живому человеку отыскать не под силу.

Я признался, что вряд ли сумею найти дорогу.

В конторе подскажут, трезво заметила она.

Я и поинтересовался в конторе, где находится могила моей бабушки по отцовской линии.

Чуть погодя передо мной лежала маленькая пожелтелая карточка, где значились бабушкина фамилия, даты рождения и смерти, номер участка и самого захоронения.

Там же значилось и еще кое-что: мое имя и дата рождения, после которой стояло тире.

Выходит, я уже два десятка лет покоюсь в бабушкиной могиле, ни сном ни духом не ведая об этом.

Оформляя бабушкино погребение, кто-то приобрел место и для меня.

Это не мог быть отец, оформлением подобных дел он никогда не занимался. Значит, мать, которая сочла за благо заодно позаботиться и о сыне.

Ни себе, ни отцу место она не купила, только мне.

Вероятно, она рассчитывала, что отец будет похоронен официально, за счет государства, как, собственно, и произошло. И возможно, надеялась, что уж сама-то она никогда не умрет.

Тетушка терпеливо и с чувством исполненного долга топталась в безлюдном зале, ожидая, пока я разделаюсь с формальностями и провожу ее к могиле родственницы.

Я не стал говорить ей о своем открытии. Если она и так ничего не смыслила в жизни, где уж ей было уразуметь подобную несуразицу.

Зная, куда идти, мы отправились к самому отдаленному кладбищенскому участку.

Еврейскому кладбищу на улице Козма не видать ни краю ни конца, немало земли и костей придется перелопатить, когда останки некогда живших евреев и тех из ныне живущих, кого еще можно обозвать жидами, выметут из Венгрии, чтобы построить на этом месте торговый центр, вертолетную площадку, городской сквер или увеселительный квартал.

Позади остались богатые могилы и захоронения победнее, и мы очутились в удивительном месте: деревья, кусты, заросли бурьяна разрослись на могилах так, что даже холмиков было не углядеть.

Я отыскал нужный ряд и двинулся вглубь, под ногами хрустели ветки, листья. У одного из деревьев я остановился в нерешительности: возможно, под ним бабушкина могила, а может, поодаль; никакие признаки не указывали на то, что под деревьями, зарослями кустарника и палой листвой скрывалось хотя бы что-нибудь. Тетушка следовала за мной по пятам, но затем и она остановилась в этих малых джунглях, где не просматривалось ничего, кроме глухой, неправдоподобно зеленой, буйно разросшейся зелени.

Я боялся, что она отругает меня за небрежение к «тетиной» могиле, но она промолчала.

Не проронив ни слова, побрели мы обратно к машине.

В дом отдыха, любой ценой!

У берега Дуная дорога обрывается, дальше пути нет, надо идти своим ходом, по песку. Поверхность неровная, сплошные рытвины и кучи песка. Вода в Дунае грязно-серая, нигде никаких мостков, но купаться все равно нельзя. В пятидесятые годы здесь понастроили ведомственные дома отдыха, невысокие корпуса, выкрашенные в желтый цвет; то там, то сям попадаются заброшенные детские качалки, качели. Лето, разгар сезона, но лишь редкие курортники в шортах трусят рысцой, вздымая пыль резиновыми шлепанцами; у очага, где обычно жарят колбасу, околачиваются человек пять-шесть. Сюда приезжают отдыхать лишь те, кому настоящая курортная жизнь не по карману.

Тучная, застрявшая здесь еще с пятидесятых годов тетка встречает нас в узком, вытянутом в длину зале, столы и стулья позволяют предположить, что это столовая, в зале отдыха телевизор и в дальнем конце помещения стойка бара, заменяющая местным жителям пивную. Тетка выдавливает из себя улыбку — как знать, что за гости пожаловали. Заученным тоном объясняет, как нам пройти к последнему корпусу, на втором этаже которого находится выделенная матери комната. Распорядительница повторяет свои объяснения раза три-четыре, как будто за истекшие тридцать лет здесь хоть кому-то случалось заблудиться. Жалованье свое она безусловно отрабатывает. Я подхватываю оба чемодана, и мы по дорожке, усыпанной желтой щебенкой, направляемся к нужному корпусу.

В парусиновых туфлях, приспособленных ею для летних поездок, мать семенит рядом. Я стараюсь идти помедленней, она задыхается от волнения. Еще бы: ей предстоит отдых, на целых две недели! Она отвоевала эту привилегию,

хотя теперь пенсионерка. Для нее это большая победа — опять удалось уладить очередное дело. Даже то, что я иду рядом с ней, тоже победа. Пускай эта толстая тетка видит, что ее привез сын, причем, на машине. Машину, правда, пришлось оставить у входа на территорию, но ведь и без того ясней ясного, что не на себе же я тащил эти чемоданы из Будапешта. Почем знать, как станут обходиться здесь с одинокой пожилой женщиной, вдруг да удастся использовать присутствие сына и урвать себе какие-нибудь пустячные преимущества; во всяком случае, пусть видят, что у нее есть родственники. А потом, когда к ней наведаются знакомые — не сюда, а домой, — она всем будет рассказывать, что в дом отдыха сын отвез ее на машине. Стало быть, на транспорт она не тратилась — это тоже победа. В качестве платы за услугу дорогой она расспрашивала меня о моей жизни, я же отвечал, как положено отвечать сыну на вопросы матери. У нас это давняя игра, и вот уже который год ни один из нас не нарушает правила.

С радостью обнаруживает она, что в доме отдыха есть душ, — хотя мыться под душем не станет, одобрила наличие песочницы для детишек — хотя песочные куличики лепить не будет, — и осталась довольна относительным порядком и чистотой. Ей нравится, что мало отдыхающих прогуливаются по территории, обнесенной глухой оградой, что большинство комнат не занято. Толпу она терпеть не может и боится. Мы доходим до двухэтажного корпуса, обнаруживаем вход именно с той стороны, как внушала нам толстуха, поднимаемся по лестнице, находим в конце коридора нужную комнату; мать вставляет ключ в замочную скважину, поворачивает и облегченно, с торжеством вздыхает: ключ подошел.

В комнате три кушетки, шкаф, столик и стул. Имеется и балкон, дверь открывается без труда, на балконе два шезлонга. Мать выбирает кушетку, на которой будет спать, на остальные две я кладу чемоданы. Мать принимается выкладывать вещи. Жакет. Свитеры. Блузки. Костюмы. Обувь, тапочки. Полотенца. Я топчусь без дела. Уйти пока что нельзя, мать распаковывает свой летний гардероб, нервничает, так как вешалок мало и шкаф тесный, я же, наконец, нахожу решение: отправлюсь-ка я на поиски туалета.

Обнаруживаю его в другом конце коридора. Закрываюсь в одной из кабинок, опускаю крышку унитаза и усаживаюсь; скрещиваю ноги, закуриваю. Какое-то время здесь можно отсидеться.

Мы всегда так отдыхали.

У матери были особые, «курортные» платья, было и специальное дорожное облачение: пышные розовые шорты, ажурная вязаная кофта с коротким рукавом, короткие белые носки с резинкой и парусиновые туфли с вырезом у мыска. Ее летний гардероб всегда укладывался в большую старинную шляпную коробку черного цвета, и ничего другого туда класть не разрешалось. В поезде всегда полагалось съедать переложенные кусочками вареной колбасы и зеленой паприки ломти белого хлеба, густо намазанные маслом, и запивать их кофе из термоса.

Еда и питье в дорогу непременно готовились накануне дня отъезда. Преддорожная лихорадка овладевала матерью несколькими днями раньше, и напряженная обстановка в доме делалась еще более невыносимой. Курортный отдых ничем не отличался от привычного домашнего уклада, вот разве что отец иногда ложился после обеда вздремнуть, да и то ненадолго: ему всегда приходилось брать с собой работу. Матери же вечно не хватало домашних удобств: все было не по ней, чего-то ей недодали, хотя, по ее мнению, причиталось. Тем не менее испытания она выносила стоически, ведь без этого двухнедельного отдыха жизнь не в жизнь. Тут она держалась неколебимо. Если уж мужу не удалось сделать карьеру, на какую она рассчитывала, выходя за него, то хотя бы летний отдых ей вынь да положь. В таких профсоюзных домах отдыха она всегда ухитрялась подобрать компанию людей, с которыми можно было все две недели из вечера в вечер играть в карты, наряжаться и вести себя перед ними так, словно она была видной дамой, супругой преуспевающего человека. В этом и заключался смысл летних поездок. Воспоминаний потом хватало на целый год, до очередной предотъездной лихорадки.

Постепенно до меня дошло, почему нам было необходимо каждый год надрывно, истерически рваться на отдых, и я с большим трудом сумел отстраниться от этого. После смерти отца мать какое-то время ездила в дом отдыха одна, затем у меня появилось какое-никакое имя, и ей стукнуло в голову, чтобы я доставлял ее к месту назначения. Вдруг да какая-нибудь расплывшаяся тетка, внося ее имя в регистрационную книгу, в один прекрасный день вскинет голову и поинтересуется, уж не родственница ли она сей известной персоне, на что мать, слегка зардевшись, коротко ответит: да, мол. И бросит на меня торжествующий взгляд. И ее существование, по крайней мере, на ближайшие две недели, вновь будет оправдано.

Я сижу на крышке унитаза и впервые за все годы без мальчишеской неприязни вижу перед собой жизнь моей матери. Она никогда не умела любить никого, да и себя самое любила нелепо, по-дурацки. Она могла бы быть счастлива, будь она способна любить моего отца, но ей не дано было этой способности.

Снаружи кто-то пустил воду из крана, видимо, моет руки. Я поднимаю крышку унитаза, стараясь произвести шум, затем спускаю воду. Выжидаю время, будто бы приводя себя в порядок, и выхожу из кабинки. Мать вытирает руки, испытующе смотрит на меня. Я улыбаюсь ей. Она жалуется: розетка у постели неисправна, а она привезла из дому ночник, чтобы можно было читать по вечерам. Но как тут почитаешь, если штепсель испорчен. Я успокаиваю ее: наверняка дело поправимо.

Теперь я пробыл с нею вполне достаточно, можно и отправляться восвояси.

У тетки в регистратуре я выясняю, что розетку починить совсем не сложно. Мать провожает меня до ворот, но за ограду не выходит: дом отдыха на две недели принадлежит ей, она отвоевала себе это право. Выехав на пыльную дорогу, я оглядываюсь, улыбаюсь ей, поднимаю руку в знак приветствия. Она счастливо машет мне в ответ, затылком чувствуя взгляд толстой тетки. Да, у нее есть сын, и она машет ему вслед. Крохотная, съежившаяся, хрупкая старушка. Косолапые ноги в парусиновых туфлях едва касаются земли.

Больше я не оглядываюсь, еду вперед, и во мне просыпается странное уважение к матери. Бывали трудные ситуации, когда она вела себя поразительно смело и целеустремленно, — например, в пятьдесят шестом или когда отец был при смерти. Но сейчас совсем другое. В карстовых местах, где почвы нет и в помине, вдруг в полном изумлении замечаешь, что в каменистых расщелинах, цепляясь корнями чуть ли не за воздух, упорно пробиваются зеленые ростки.

Окрашенные в желтоватый цвет, неуютные, безликие корпуса на ничем не примечательном берегу Дуная. Место, которое моя мать отвоевала себе в качестве одного из последних своих летних отдыхов. Стало быть, место значительное. Я еще раз оглядываюсь вокруг, чтобы сохранить его в памяти.

То, о чем говорил учитель

Я сажусь у Парламента на «двойку» и становлюсь с той стороны, откуда откроется вид на будайскую панораму; нет такой части суток или времени года, когда это зрелище не было прекрасным.

Трамвай движется к Цепному мосту. Парковочная площадка у Парламента перекрыта шлагбаумом и обнесена металлической оградой со сторожевой будкой. У поворота трамвайной линии — бронзовая спина статуи Аттилы Йожефа, широченная, впору какому-нибудь чемпиону по борьбе. И сидит поэт не на нижнем урезе набережной, у воды, а довольно далеко от Дуная: на каменной лесенке, специально построенной в том месте среди редкой травы, откуда при жизни полицейские наверняка в два счета прогнали бы его. Слева от него бронзовый пиджак, смятый и небрежно брошенный на ступеньки, словно само собой разумеется, что у него вообще был пиджак; у ног поэта несколько завявших венков, перевязанных лентами национальных цветов.

Слева, впереди меня, лицом в направлении движения, у окна сидит парень; на правом колене его пристроилась юная наездница, обоим лет по 17—18. Девица смотрит влево, за окно, отмечает, что мы проехали памятник поэту, и говорит парню:

— Сейчас будет то, о чем говорил учитель. Как нужно поступать с ними.

Парень, я вижу, не понимает. Но я-то знаю, о чем идет речь. Сразу за поворотом, в самом низу набережной сейчас покажется длинный ряд разномастной обуви: бронзовые башмаки, сиротливо сваленные друг подле друга. Несколько лет назад некоторые из башмаков отвинтили и украли, но автор памятника, Дюла Пауэр, сделал их заново. Здесь — точнее, и здесь тоже — шестьдесят пять лет назад расстреливали евреев, у самой кромки воды, чтобы после они падали в Дунай[1].

Девушка констатирует факт появления бронзовых башмаков, оборачивается к салону трамвая и, не глядя ни на кого, только перед собой, несколько раз слегка кивает головой. В ее внешности ничего уродливого: лицо обычное, нос как нос, подбородок нормальный. И одета она не в отрепья: джинсы, майка с воротничком, пуловер, и не похоже, чтобы голодала. Она кивает головой, а карие глаза ее излучают страшную ненависть.

Наконец и до парня доходит.

— А-а! — вякает он и пялится перед собой тупым, равнодушным взглядом.

ЛАСЛО МАРТОН

Зашла попросту, ненадолго…

Женщина, имя которой мы вскоре услышим, вышла на привокзальную площадь и огляделась по сторонам, словно не зная, куда податься, хотя на самом деле она всего лишь высматривала автобус или такси. Но затем направилась пешком по широкой улице, которая в первой половине шестидесятых годов, когда она еще гимназисткой, вместе со школьной экскурсией, побывала здесь в последний раз, еще именовалась — подобно аналогичным широким улицам почти по всей стране — проспектом Красной Армии. Теперь ее называли по-другому; заезжий из столицы прочтет и мигом забудет. Возможно, человек, давший улице свое имя, когда-то, в период между двумя мировыми войнами или в конце девятнадцатого века, своей деятельностью немало способствовал процветанию этого городка, а может, был знаменит чем-то другим.

В данный момент это не имеет никакого значения.

Примерно четверть часа минует до тех пор, покуда женщина в конце широкого проспекта свернет к кварталу под названием «Садовый городок», где на месте прежних фруктовых садов теперь выстроились рядами панельные пятиэтажки — относительно хорошо ухоженные, в окружении зеленых скверов. Этой четверти часа нам окажется достаточно, чтобы повнимательней разглядеть… нет, не Садовый городок, а нашу героиню, которая решительной поступью приближается к нему. С первого взгляда ясно, что она находится в том возрасте, когда при благоприятных данных и умении следить за собой женщина преспокойно может сбросить лет десять-двенадцать. Однако тотчас же и заметим, что безжалостное, ослепительно яркое солнце последних дней февраля ничуть не способствует этому обманчивому впечатлению.

---

[1] С 15 октября 1944 г., после захвата власти фашистской партией нилашистов, в стране воцарился жесточайший террор. Массовому уничтожению подверглось еврейское население. Об одном из способов расправы и повествует рассказ.

Но в данный момент это совсем не важно.

Другое существенное обстоятельство, которое никак нельзя оставить без внимания, — у приезжей нет при себе багажа, всего лишь обычная дамская сумка, где наряду с документами, кошельком, пудреницей, чтивом в дорогу и выключенным мобильным телефоном нашлось место для маленькой бутылки с минеральной водой и пластмассового контейнера для бутербродов, но не более того. Поэтому можно сделать вывод, что, с одной стороны, женщина не собирается здесь заночевать, а вернется домой в тот же день, ну и с другой стороны, поезд, у которого в этом городке конечная остановка, обходится без вагона-ресторана. Стало быть, путник, рискнувший отправиться в эту несколькочасовую поездку налегке, без съестного, к концу путешествия изрядно проголодается. Мы же, со своей стороны, вольны предположить, что и у машиниста иной раз подводит живот от голода к тому времени, когда поезд прибывает на конечную станцию, которая стала конечной в ту пору, когда наша пассажирка появилась на свет божий, потому как пути, ведшие в другую страну, аккурат в то время разобрали.

Но как бы голоден он ни был — то бишь машинист, — его влечет не в буфет, у него дела в другом месте, и спешит он именно туда, в другое место. А если повторять голодовку систематически и в течение долгого времени, рано или поздно начнутся нелады с желудком.

Но у нас и в мыслях не было углубляться в этом направлении, тем более что женщина за это время дошла до Садового городка и отыскала адрес, который был у нее записан.

Она остановилась у одной из панельных пятиэтажек. Ищет имя в списке жильцов. Находит. Нажимает кнопку против нужной фамилии, но давит недолго, так как над списком жильцов красуется обычное предупреждение, что кнопки, мол, служат лишь для подачи сигнала и не следует, более того — запрещается давить на них до бесконечности. В ответ на сигнал отзывается голос, спрашивает, кто там. Но нам не хочется, чтобы имя пришелицы прозвучало внизу, у входа в 4-й подъезд, а посему мы подстроили так, что в этот момент из подъезда выходит молодая пара с детской коляской и само собой разумеющимся жестом приглашает войти внутрь приличную даму средних лет, которая охотно принимает эту мелкую любезность. При планировке этих панельных домов строительство лифтов не предусматривалось, а когда спохватились, было уже поздно, так что героиня нашего рассказа взбирается на пятый этаж на своих двоих, однако не стоит за нее беспокоиться: подъем по лестнице пока что ей не в тягость, да и лет через десять она его без труда преодолеет.

У нужной двери она звонит еще раз, слышен характерный звук «бим-бом», а когда дверь распахивается, пришелица произносит:

— Я жена Габора Поча.

Если рассматривать незначительное событие, которое нам желательно описать с ее точки зрения, то даже в полумраке подъезда заметно, что стоящая на пороге хозяйка квартиры внезапно бледнеет и делает движение, будто хочет захлопнуть дверь перед носом у пришелицы. Однако, напротив, в следующую же секунду она еще шире распахивает дверь со словами:

— Проходите, пожалуйста! — И добавляет: — А я — Ица.

Мадам Поч уже в прихожей. Даже не оборачиваясь, она отвечает:

— Знаю, милочка, знаю. Я видела вас на фотографии.

Она не упоминает, что на снимке, который был сделан на залитой солнцем лесной поляне, Ица выглядит гораздо моложе, чем сейчас, ну, да ведь как давно это было!.. Теперь Ице, должно быть, лет сорок пять, значит, тогда… Интересно, и тогда она ходила в таких же безобразных разношенных шлепанцах? Бестактно было бы в подробностях описывать провинциальную квартиру, куда мы нежданно-негаданно вторглись вместе с госпожой Поч. Мельком упомянем лишь, что нашему взору предстают предметы мебели, обихода и украшения интерьера, которые не способны устаревать постепенно, а теряют вид моментально, и каж-

дый предмет здешней обстановки на свой лад давно пережил этот момент. Общее впечатление от комнаты приводит на ум газетный штамп «замораживание роста жизненного уровня», однако это отступление отвлекло бы наше внимание от разворачивающейся перед нами сцены.

Точно так же не хотелось бы передавать слово Ице, которая долго оправдывается, что, мол, в квартире беспорядок, а «в доме пусто», и предлагает сбегать в кондитерскую за печеньем, это совсем недалеко. Гостья же наотрез отказывается от печенья, не надо ей ни сладкого, ни подсоленного, ведь она заглянула попросту, ненадолго. И кофе она пить не станет.

Тем не менее, чтобы отказ не выглядел слишком резким, соглашается принять стакан воды. Ица озабоченно хлопочет и приносит стакан воды на коричневом пластмассовом подносе с имитацией под дубовую доску. Хозяйка дома кажется ростом выше прежнего: по дороге на кухню она успела переобуться в туфли на высоком каблуке. Как ей обращаться к гостье, спрашивает она. То есть… как ее имя?

— Теперь это неважно, — отмахивается госпожа Поч. И видя на лице собеседницы растущее выражение паники, чуть ли не дружелюбно добавляет: — Думайте, милочка, соображайте!

Не оставим без упоминания тот факт, что теперь и она сама чувствует себя слегка задетой. Выходит, ее имя за все долгие годы так и не прозвучало в этих стенах. Тогда о чем же они говорили? Или у них вообще не было привычки разговаривать?

В то же время она видит, что Ица в своих туфлях на высоких каблуках не способна соображать, и, сжалившись над ней, переходит к сути дела, если уместно говорить о сути в связи с незначительным, кратким визитом, который мы описываем.

— Я должна сообщить вам, что Габор умер.

И следит за эффектом своего сообщения. Разрыдается Ица? Закроет лицо руками? Или произнесет имя Божие? А может, примется рвать волосы, бить себя в грудь, подобно античным героиням, утратившим близкого человека? Станет рвать на себе одежду, как поступают скорбящие евреи?

Правда, такое убогое платьишко и рвать-то не стоит.

Быть может, она вовсе и не любила Габора, иначе откуда это неколебимое спокойствие! А если не любила, почему они так долго оставались вместе? Сколько бишь лет, когда началась эта связь? Жена этого не знала, да и не хотела знать. Шесть лет назад она поняла, что у мужа где-то в провинции есть подружка и что связь эта давняя, устоявшаяся. Этой информации — по ее убеждению — было предостаточно.

Минутное молчание, а затем она начинает перечислять подробности главного факта.

— Послезавтра три недели, как это произошло. Я бы пригласила вас на похороны, но мне лишь сейчас удалось раздобыть ваш адрес. И потом, столько было хлопот, беготни, всякого хватало…

— Где он похоронен? — спрашивает Ица.

Посетительница следит за ней, как хищник за добычей. Но все же не набрасывается на нее — рассеянно, почти небрежно роняет:

— Теперь это абсолютно неважно.

Однако видно, что сдержанное поведение Ицы обманчиво. Тут о спокойствии или безразличии и речи нет. Скорее уж можно подумать, что она сломлена, уничтожена — за считанные мгновенья лицо ее словно подменили.

— Насколько мне известно, — продолжала гостья, — мой муж наведывался к вам в последнюю среду каждого месяца. Верно?

Ица чуть заметно кивает, во всяком случае, молчит.

— Ну так в следующую среду он не явится. Все равно его наездам скоро бы пришел конец. Его собирались отправить на пенсию, а пенсионер-машинист —

что птица с подрезанными крыльями. Это не мои слова — его. Дурил мне голову всякой чепухой, будто не знал, что я его вижу насквозь.

Лишь теперь она замечает, что почти половину комнаты занимает широкая кровать, в отличие от прочей обстановки, новая и хорошего качества. Встав с кресла, подходит к ней, щупает пружины. Ну что ж, и на пружинах этих больше не покачаются, Габор и эта вот…

А может, она вовсе и не сломлена, не уничтожена, может, она гораздо более сильная личность, во всяком случае, более сдержанная, чем она, госпожа Поч, предполагала. Наверняка расплачется, забьется в рыданиях, но потом, когда вестница смерти уйдет.

— Что вам от меня нужно? — спрашивает вдруг хозяйка.

— Мне? От вас? — удивляется посетительница. — Ровным счетом ничего, милочка. Я пришла лишь затем, чтобы сообщить вам главное. Чтобы вы не думали, будто бы Габор забыл вас. Он не из забывчивых.

На это ничего не скажешь. Будь Ица в силах пошевелить губами, она спросила бы, как, собственно, это случилось и при каких обстоятельствах. А жена Габора говорит так, будто ей понятен этот невысказанный вопрос, просто она не желает давать ответ во всей его грубой, неприкрытой истине. Ведь то, о чем они сейчас говорят, — не сама суть, а лишь дополнение к ней.

Пока мы успеваем это до конца продумать, Ица, собравшись с духом, спрашивает:

— Он долго мучился?

Собеседница отвечает так, словно бы слышала вопрос, но пропустила его мимо ушей.

— На желудок он давно жаловался. Если хорошенько прикинуть, приблизительно с тех пор, как познакомился с вами. Не оправдывайтесь, милочка, я не собираюсь вас ни в чем обвинять. Потом у него появился геморрой. Вы не знали об этом? Понятно, такие «радости» он приберегал для меня! Но вы-то как могли не заметить? Бывают ведь определенные вещи, которые просто нельзя не заметить! Какая же из вас любовница? Ладно, теперь уже неважно.

Суть в том, что он жил в постоянном страхе. Точнее было бы выразиться, что он боялся денно и нощно. Боялся до усёру, хотя именно этот процесс доставлял ему наибольшие мучения.

Вы действительно этого не замечали?

Дело в том, что он где-то вычитал, или кто-то сказал ему, будто бы геморрой сплошь и рядом приводит к язве прямой кишки, а язва вскоре переходит в рак. Я уговаривала его пойти к врачу, но он и врачей боялся. Их боялся гораздо больше, чем запущенной болезни. Ведь человек он был трусливый и малодушный, хотя вы этого не замечали…

Но теперь уже все равно.

В конечном счете угробила его не пищеварительная система, а сердце. Вечером он уселся перед телевизором, посмотреть новости. Смотри, сказала я, мне без разницы, а он так и так заснет под конец. Привычка у него была такая — засыпать у телевизора. Вы не замечали за ним этого? Здесь у него не было привычки пялиться на экран и клевать носом? М-да, люди ведут себя по-разному. Но теперь это уже не имеет значения. Я вышла в кухню, вынуть тарелки из посудомоечной машины, затем поизучала поваренную книгу, чтобы пополнить чем-нибудь его диетическое меню, после чего вернулась в комнату, но к тому времени он уже спал, и добудиться его не удалось.

Приехала «скорая помощь», но врачи сказали, что здесь им делать нечего. А потом… Вот, собственно, и все.

За разговором госпожа Поч подметила, что у другой женщины постепенно, но явственно меняется лицо, вновь обретая те черты, которые запомнились ей с первой минуты ее короткого визита.

— Скажите, какой у вас род занятий? — интересуется она самым благожелательным тоном, на какой способна.

— Воспитательница в детском саду, — отвечает Ица, как на допросе, и под испытующим взглядом посетительницы, потупив глаза, признается: — А теперь хожу по домам делать уборку.

Ага, значит, уборщица! Жена Габора не произносит этих слов вслух, но все же Ица считает нужным добавить, что ей нечего стыдиться. Пусть будет стыдно тому, кто закрывает детские сады!

Справедливое возмущение несколько придает ей смелости.

— Габор говорил, что вы архитектор, занимаетесь планировкой городов или чем-то в этом роде. И что удостоились наград…

«Удостоилась!» Что на это ответишь? Награды они обсуждали, а имя ее не упомянули ни разу?

К тому же Ица не так глупа, какой кажется. К примеру, сейчас, чуть расхрабрившись, она позволяет себе весьма откровенный вопрос:

— Скажите мне только одно, пожалуйста: как могли столько лет уживаться вместе два таких разных человека, как вы с ним?

У госпожи Поч уже готов сорваться с языка привычный ответ: «Это теперь уже не имеет значения!» Но почему-то она не может, вернее, не хочет произнести эти слова. С другой стороны, что же ей ответить этой женщине, которую она видит первый и, по всей вероятности, последний раз в жизни?

Сказать, что двое шестнадцатилетних подростков, влюбившись друг в друга, тридцать-сорок лет спустя совсем иные люди? Что с течением лет один человек перерастает другого и все же привыкает, привязывается к нему? Что эта привычка, примирение с серыми буднями жизни и есть любовь, которая, по выражению итальянского поэта давних веков, движет солнцем и звездами?

Но жена Габора далека от столь возвышенных мыслей. Да и в конце концов можно привыкнуть ко многому: скажем, то, что волнует тебя, оставляет равнодушным живущего рядом с тобой человека. От тех блюд, которые мы готовы уписывать за обе щеки, другого с души воротит. Та политическая сила, которая, по мнению спутника твоей жизни, призвана вывести нашу страну из кризиса, на твой взгляд, столь же вредна, насколько омерзительна и ненавистна.

Это ведь тоже привычка и — как ни странно — связующая сила, да-да!

За тридцать-сорок лет ты перерос того, другого, человека, он мал тебе, тесен, пообтрепался, затерся, и все же ты не расстаешься с ним, как продолжаешь носить растянутый свитер, пузырящиеся на коленках брюки или стоптанные башмаки. Потому как уже не хватает фантазии представить рядом с собой менее изношенную или хотя бы по-иному потрепанную жизнью личность.

Вот и утешаем себя тем, что в другого человека вложены наши тридцать-сорок лет, что в его жизни заключена и наша собственная.

А потом, сидя у телевизора, он вдруг схлопатывает сердечный приступ и отдает концы.

Но теперь это совершенно неважно.

И правда неважно, потому что не только другой человек поизносился, но и мы сами переросли себя прежних! Тем не менее продолжаем носить изодранную в лохмотья личность, поскольку другой у нас нет, а с этой мы свыклись, полюбили ее, ведь она — наша.

Все эти мысли госпожа Поч прокрутила в голове, спускаясь вниз. Вернее, прокрутила бы, кабы могла, однако признаемся читателю, что она — под стать Ице — тоже вырядилась в туфли на каблуках, а это никак не способствовало процессу мышления.

Спускаться же по лестнице пришлось в срочном порядке потому, что от задевшего за живое вопроса Ицы она ловко уклонилась, сказав, что, к сожалению, ей пора уходить, чтобы не опоздать на поезд. Что, впрочем, было правдой. Ица подала ей пальто и предложила проводить к выходу из подъезда. Так что теперь на лестничной клетке эхом отдается стук не одной, а двух пар женских туфель. Между собой они не разговаривают. Ведь суть дела и касающиеся его подробности они друг другу изложили и приняли к сведению сказанное.

Внизу, у выхода из подъезда, Ица благодарит гостью за посещение, и видно по ней, что ей хотелось бы сказать еще кое-что. Сказать, что… что теперь… они могли бы иногда встречаться. Конечно, не каждый месяц, а разок-другой в год можно бы…

Посидеть, поговорить о Габоре.

Теперь, когда Габора не стало, ничто не мешает им говорить о нем.

Госпоже Поч вовсе не обязательно приезжать сюда, это утомительно, она, Ица, охотно наведалась бы в столицу. Сели бы в кафе где-нибудь поблизости от вокзала и потолковали бы о Габоре часок-полтора до обратного поезда. Не стоит беспокоиться, она никому не будет в тягость, в тот же день уедет обратно вечерним поездом.

А уж если госпожа Поч проявит любезность и хоть раз пустит ее к себе в квартиру, где Габор провел большую часть своей жизни…

Ица умолкает. Госпожа Поч корчит такую рожу, будто того гляди отпустит нечто нецензурное. Правда, дама она хорошо воспитанная, но и перед грубостью не остановится. Только этого ей не хватало — обсуждать с провинциальной уборщицей похождения развратника машиниста!

В результате она не говорит ни слова. Слегка кривит губы и чуть заметно качает головой. Затем направляется к широкой улице, которая во времена ее далекой юности носила название проспекта Красной Армии. Шаги ее звучат одиноко, дальше Ица ее не провожает.

По дороге ей вспоминается, что у этого городка был очень красивый центр. Маленький, но красивый, сохранившийся нетронутым. Она видела его на фотографиях, но и собственные впечатления всплыли в памяти: о школьной экскурсии сорок лет назад. Тогда, конечно, вид города интересовал ее меньше всего. Ее внимание было целиком приковано к Габору, каждой клеточкой существа она тянулась к нему. Во время той экскурсии они впервые поцеловались. И такими воспоминаниями она должна делиться с этой Ицей?

Но вот центр города она осмотрела бы с удовольствием. Взглянув на часы, она поняла, что, к сожалению, времени на это не остается. Всю жизнь она мечтала заниматься охраной памятников старины, но обстоятельства сложились по-другому. В Венгрии сохранилось так мало городов в своем первозданном виде! Этот городок расположен вблизи границы, поэтому развитием его не озаботились, а стало быть, и не изуродовали.

В этот момент на противоположной стороне улицы она заметила вывеску: пансион «Солнечный луч». Госпожа Поч заглянула туда, ознакомилась с ценами. Поинтересовалась, есть ли свободные номера. Ей ответили, что в эту пору года почитай все свободные. Желает ли госпожа снять номер? В другой раз, ответила она и зашагала к станции.

Да, в следующий раз она приедет дня на три, остановится в «Солнечном луче». Тогда ей достанет времени, чтобы восполнить упущенное в той экскурсии: с интересом осмотреть городок, словно бы не имеющий к ней никакого отношения.

ЛАСЛО КРАСНОГОРКАИ

На вершине Акрополя

Таксисты непрерывно атаковали его в кошмарной толкучке, но понапрасну, от них не отвяжешься, сначала он повторял — нет, нет, отстаньте, затем перестал отвечать и демонстративно пытался увернуться от них, при этом говоря взглядом: нет, нет; только от них ведь невозможно было ни увернуться, ни отговорить их налегать на него всем телом, не брать тебя в тиски, зазывно шепча: Синтагма, Акрополь, Монастираки, Пирей, Агора, Плака, и конечно же, отель, отель и отель, и вери найс, и вери гуд, они пронзительно кричали и улыба-

лись, и эта улыбка была ужаснее всего, они напирали сзади, и тогда приходилось с помощью чемодана менять направление, но они — оп-ля! — и преграждали тебе путь, потому как ухитрялись в мгновение ока очутиться то позади, то впереди тебя, и весь аэропорт походил вовсе не на пункт прибытия, а на место, куда ты попал по ошибке и обнаружил это слишком поздно, уже когда ты прибыл и влился в чудовищную толпу огромного зала ожидания, со всех сторон группами или в одиночку люди силой пробивались в самых разных направлениях, орали дети, зовя родителей, и надрывались родители, отыскивая детей и не веля им убегать вперед или отставать, пожилые супружеские пары с потерянным взглядом шаркали ногами, устремляясь вперед, только вперед, руководители школьных групп кричали во всю мочь, скликая испуганных школьников, а гиды японских туристов, размахивая флажками и усиливая голоса миниатюрными рупорами, созывали группы испуганных японцев, и со всех ручьями лил пот, поскольку в ангаре царила неимоверная духотища, ведь стояло лето, шум оглушительный — форменный дурдом без предварительного объявления, пока ты с чемоданом все-таки не пробьешься в том направлении, где предполагаешь найти выход, но и снаружи мучения не кончаются, с одной стороны, лишь тогда по-настоящему понимаешь, что значит жара в Афинах в разгар лета, а с другой стороны, таксисты, трое-четверо, не меньше, попрежнему висели у него на хвосте и знай себе твердили свое, и улыбались, улыбались, и норовили ухватить чемодан, он был неживой, когда ему наконец удалось вырваться из этого бедлама, он сел в поджидавшее у выхода такси и сказал уткнувшемуся в цветной бульварный листок, жующему резинку шоферу со скучающей физиономией, что ему, мол, в гостиницу на перекрестке улиц Эрму и Эола, возле Синтагмы, в ответ тот взглянул, что это за старый хрен подвалил, затем молча кивнул, а он откинулся на сиденье и не смотрел, куда едет таксист, хотя у него при себе заранее начерченный знакомыми греками план улиц, чтобы в такси не слишком облапошили — объяснил в электронном сообщении один афинский знакомый, немного все равно надуют, таков обычай, и ты не придирайся, без этого им жизнь не в жизнь, ну он и не стал придираться, не почему другому, а потому, что силы иссякли и нервы были на пределе, настолько измотали его посадка и то, что последовало за нею, когда свой чемодан он не обнаружил там, где ему надлежало быть, и совершенно случайно, с перепугу принявшись искать пульт информации о потерянном багаже, он наткнулся взглядом на знакомый предмет, одиноко кружащий на транспортере, откуда четыре часа назад разобрали свои вещи пассажиры киевского рейса, затем неприятности продолжились на таможне, где в поисках гашиша злополучный чемодан перерыли вверх дном, и наконец последовал безумный лабиринт зала ожидания, все это действительно могло переполнить чью хочешь чашу терпения, к тому же, никого из вызвавшихся встретить его знакомых не было в зале ожидания, хотя он какое-то время околачивался в бурлящей толпе и лишь потом двинулся прочь, вернее, собирался двинуться, когда на него набросились таксисты, словом, лишь теперь он, вконец измученный, рухнул на заднее сиденье выбранного им самим такси и пялился в окошко на совершенно безлюдный по причине рассветного часа город и какое-то время совсем не следил, куда его везут и сколько нащелкал счетчик, об этом он вспомнил, лишь когда ему не встретилось ни одного из написанных на бумажке названий улиц, и им овладели подозрения, кстати, вполне оправданные, что таксист везет его отнюдь не кратчайшим путем, а посему, как только показания счетчика достигли суммы в евро, более которой знакомые наказывали не платить ни в коем случае, он попытался кое-как объясниться по-английски с таксистом, но тот сперва прикинулся глухим и знай себе сворачивал то вправо, то влево, пока, наконец, вынужденный остановиться на красный свет, не смилостивился и не ткнул пальцем на протянутой ему бумажке в название улицы, по которой они как раз проезжали, а отсюда действительно очень далеко было не только до площади Синтагмы, но и до центра города, и его охватил гнев, он взвился на дыбы, замахал руками, выражая свое недовольство, показывал на свои часы, на название — «площадь Синтагмы» на бумажке, но все понапрасну, таксист флег-

матично жевал резинку, его ничто не способно было сбить с толку, и ясно было, что не собьет, он ехал туда, куда считал нужным, и успокаивал пассажира, заверяя его, что все будет хорошо, не о чем беспокоиться, все be happy, время от времени повторял он, оборачиваясь назад, в результате у пассажира свело судорогой желудок, когда таксист вдруг затормозил у какого-то весьма оживленного перекрестка, распахнул дверцу и с неожиданным подобием улыбки в уголках рта сделал широкий жест рукой, говоря, вот, мол, вам площадь Синтагмы, разве вы не сюда велели вас везти? — а он сперва протянул ему строго назначенную знакомыми сумму, на что таксист, словно вмиг пробудясь от дремоты, внезапно с криком напустился на него, стал трясти за плечи, так что не прошло и минуты, как их окружила кучка греков, с помощью которых удалось прийти к компромиссу, и спорщики порешили на сумме, вдвое большей против той, что причиталась за проезд, но к тому моменту ему уже осточертела вся эта авантюра, плевать я хотел на ваши Афины, заявил он окружившим его грекам, но те лишь похлопали его по плечу, отлично, мол, все в порядке, пошли с нами, выпьешь чего-нибудь, пить с вами, еще чего не хватало, вырвался он из кольца, разумеется, не подозревая, что окружившие его люди вовсе не собираются обобрать чужестранца, а в знак сочувствия и по случаю выигранной, совершенно безнадежной схватки с таксистом действительно приглашают его обмыть победу и просят успокоиться, таксисты — все они одним миром мазаны, их не переспоришь, и сделки с ними заключать бесполезно, они все равно обдерут тебя как липку, а уж в особенности с утра пораньше, уговаривали его по-гречески, указывая на уличные столики у ближайшего ресторана, откуда они только что поднялись, но он до такой степени струхнул, что мигом подхватил свой чемодан и рванул в хаотическое скопище машин у перекрестка, прямо напролом, не разбирая дороги, поперек движения, что, конечно, было ошибкой, ведь он не только усугубил хаос, что, впрочем, не вызвало ни малейшего переполоха, но определенно подверг себя опасности, а до его сознания даже не дошло, что при переходе на другую сторону в потоке отчаянно сигналящих машин он раза три подверг свою жизнь непосредственному и совершенно излишнему риску, да еще с чемоданом в руках, который, слава Богу, был совсем не тяжелый, но все же препятствовал свободе передвижений, а особенно в дальнейшем планировании оных, поскольку он никак не мог сообразить, что же ему теперь делать, надо бы позвонить знакомым, поинтересоваться, куда они запропастились, и попросить о помощи, но таксист выпотрошил его подчистую, и скудного запаса наличных не хватило бы даже на телефонный звонок, так что он постоял какое-то время на месте, греки из обступившей его компании снова вернулись к своим столикам и теперь вовсе не казались грабителями, посему немного погодя он решил присоединиться к ним и спросить совета, и даже сошел было с тротуара, но его чуть не сбило машиной, и он счел за благо поискать установленный переход, правда, и здесь надо было действовать с оглядкой, так как светофор напротив показывал зеленый свет, но не ясно было, относится ли это к нему, затем, когда через какое-то время выяснилось, что да, тотчас же пришлось уяснить, что зеленый сигнал для перехода — всего лишь теоретическое понятие, а на практике его следует воспринимать как возможность перехода лишь в том случае, покуда твои намерения не противоречат желаниям другой, превосходящей силы, а сила всегда находилась, то грузовик прогрохочет в непосредственной близости от него, то вихрь от промчавшегося мимо автобуса отбросит его назад, то одно, то другое, пока, к счастью, не обнаружились еще желающие перебраться на ту сторону и при очередном переключении светофора на зеленый не предприняли совместный бросок, словом, акция прошла успешно, и он наконец очутился на террасе ресторана среди небрежно и с какой-то благодушной беспечностью потягивавших вино молодых людей, которые дружески приветствовали его, и у каждого на лице было написано, ведь говорили же ему, что, мол, прежде чем что-либо затевать, самое милое дело опрокинуть с ними по стаканчику, спросили, что он желает, пиво или кофе, а может ракию, о-о, нет, воспротивился он, лучше эллиникус кафес, о’кей, пусть будет кофе по-гречески, передали они заказ

официанту, и завязалась беседа, греки и правда были молодые, но не слишком, так, тридцать с небольшим, и довольно хорошо говорили по-английски, только со странным произношением, но и его собственное выдавало, что он прибыл не с берегов Альбиона, так что они хорошо понимали друг друга, настолько хорошо, что он вдруг проникся к ним каким-то само собой разумеющимся доверием и, повинуясь внезапному побуждению, выложил им всю свою подноготную, кто он, зачем сюда приехал, что осточертел ему этот мир или сам себе надоел, а может, обрыдло и то, и другое, вот он и надумал отправиться в Афины, где отродясь не бывал, зато всегда мечтал об этом путешествии, стало быть, это с его стороны своего рода прощание, хотя даже ему самому не ясно, с чем он, собственно, прощается, а компания, кивая, выслушала его откровения и наградила их долгим молчанием, потом разговор мало-помалу возобновился, новые приятели перво-наперво взялись всячески отговаривать его от… собственно говоря, от всего, но главным образом от попытки связаться со своими знакомыми, ведь если они даже не встретили его в аэропорту и не явились сюда, как было условлено, к перекрестку на улице Эрму, не позднее девяти часов, а сейчас, как ни крути, девять проехали, стало быть, дело не к спеху, и вообще, пусть остается с ними, коль скоро его сюда забросила судьба, и без сомнения это и будет самый лучший вариант, почему, поинтересовался он, каковы их планы на ближайшее будущее, а-а, планы, переглянулись греки, вопрос явно позабавил их, планов, стало быть, нет как таковых, вернее, разве это не план посидеть здесь, выпить пивка, и с откровенной усмешкой дали понять, что они не из тех, кто живет по плану, сидеть себе, прохлаждаться, вот и весь план, со вчерашнего вечера они только этим и занимаются, и покуда все деньги не выйдут, это и будет план, медленно потягивать пиво и глазеть по сторонам, сказал долговязый парень, представившийся Адонисом, молодые люди были неглупые и симпатичные, но стоило ему пригубить свой кофе по-гречески, у него вдруг возникло чувство, что, если он согласится с ними и все останется, как есть, не видать ему Афин как своих ушей, ведь когда он рассказывал, что прилетел сюда ради того, чтобы познакомиться с Афинами, слова его были встречены красноречивым молчанием, словно ему хотели дать понять, что узнать нечто новое, что угодно, а уж об Афинах в особенности, совершенно пустое дело, а сидящий рядом с ним Иоргос, который, однако, отрекомендовался Джорджем, вроде бы даже развеселился, услышав об этом, надо же, Афины ему подавай, сказал этот Иоргос и помрачнел, знаешь, приятель, что такое Афины, кусок вонючего дерьма, вот что это такое, и отхлебнул из кружки, а в словах парня было столько горечи, что он не решился спросить, почему Иоргос говорит такое, выброшенные на песок рыбы, подумалось ему потом, добродушные, симпатичные бездельники, констатировал он, однако вынужден был признать, что ему становится все уютнее и вольготнее среди них, и всполошился, да ведь это опасно, слишком опасно — просидеть тут все утро, слушая их разговоры о том, что «Guns of Brixton» лучше, чем «Arcade Fire» или «Clash», подолгу молчать вместе с ними, подолгу глазеть по сторонам, наблюдать бешеное движение на площади Синтагмы и примыкающих улиц, смотреть, как бессмысленно, просто уму непостижимо, до чего бессмысленно, носятся туда-сюда машины по этой нестерпимой жаре и в ужасной вони, и все это слишком приятно делать с ними, томительно и притягательно, словно какое-то сладостное бремя, которое тянет тебя вниз — если он сейчас же, немедленно, не стронется с места, в ужасе сказал он себе, тогда он застрянет здесь, и все сложится совсем по-другому, не так, как ему хотелось бы в глубине души, и он неожиданно встал, заявив, что хочет увидеть хотя бы Акрополь, с детских пор заветная мечта всей его жизни хоть раз увидеть Акрополь, и вот теперь, под старость, ага, значит, хотя бы Акрополь, подмигнул ему Адонис, словом, Акрополь, кисло глянул на него Иоргос, впрочем, тебе видней, сказали ему, в конце концов, ты же здесь впервые, тогда почему бы и нет, хотя, по-моему, это чушь несусветная, сказал Иоргос, по-моему, тоже, сказал Адонис, ну да ладно, ступай, коли уж тебе невтерпеж, только послушай, вмешалась одна девушка из компании, ее звали Элой, эту штуковину, она

показала на чемодан, незачем таскать с собой, можешь оставить здесь, а если не застанешь нас, обожди, где же, она оглянулась по сторонам, у Маниопулоса, предложил Иоргос, это рядом, совсем близко, так они и поступили, Маниопулос оказался продавцом или кем-то в этом роде в совершенно заброшенной лавчонке на заброшенной улочке позади ресторана, вроде бы там торговали запчастями к компьютеру или чем-то подобным, трудно было определить, во всяком случае, продавец сразу же согласился, унес чемодан куда-то за занавеску и сделал ему знак рукой, что все, мол, в порядке, чемодан можно забрать в любой момент, когда захочется, с тем они и вышли снова на террасу, показали ему дорогу, предложив, несмотря на жару, идти пешком, потому как, во-первых, пока что не так много туристов, а во-вторых, тогда он хотя бы походя увидит и Плаку, старинную часть города, все время туда, показал ему направление Иоргос и подтолкнул к пешеходному переходу, все время в ту сторону, хотя лучше бы, заметили они, оставшись одни, переждать ему несколько часов, собственно говоря, до вечера, ведь сейчас солнце на холме палит нещадно, но он уже перебрался на другую сторону, готовясь углубиться в узкие проулочки Плаки, махнул им на прощанье, они дружелюбно помахали в ответ, и как бы хорошо он ни чувствовал себя с ними, то есть именно поэтому, сейчас он вздохнул с облегчением, наконец-то он на пути к Акрополю, увидеть хотя бы Акрополь, повторял он про себя, вспоминая первые смутные картины, которые хранил в памяти с детства, и радовался, что им не удалось его отговорить, хотя все было как-то расплывчато, неясно, даже в самих этих попытках его отвлечь, и если вдуматься, в том давнем, воображаемом представлении об Акрополе не очень-то просматривались контуры, в них не было четкости, резкости, главным образом из-за масштабов, ведь ему никогда не удавалось представить себе, насколько велик Акрополь, каковы его здания, те же Пропилеи, насколько велик сам Пантеон, в масштабах невозможно разобраться, если вздумаешь по описаниям, чертежам либо фотографиям прикинуть величину этого теменоса, как называли греки священную храмовую территорию Афин, и в этом беда, главная беда, что нельзя с этими масштабами разобраться, мысленно выстроить в голове весь акрополь, каким-то образом все упирается в масштабы, он всегда это чувствовал и сейчас, по дороге туда, думал о том же — он купил сандвич за бешеные деньги, выпил коробку кое-как охлажденной колы за еще более умопомрачительную цену, но его это не волновало, поскольку не волновало ничто, кроме того, что он по жаре все ближе подбирается к Акрополю и вскоре увидит храм Ники, увидит Эрехтейон и, как венец всего увиденного, непревзойденный Пантеон — и вообще: он достигнет вершины Акрополя, ведь этого ему хотелось всегда, и этого хотелось сейчас, на прощание, очень хотелось увидеть то, что видели греки, скажем, 2439 лет назад.

Он вошел в квартал Плака со стороны улицы Эола, и действительно навстречу ему попалось всего лишь несколько сот туристов, встречный поток обтекал его, так что, можно сказать, ему повезло, затем некоторое время он продвигался вперед по улице Флесса, в какой-то момент там заблудился и, сбитый с толку, никак не мог сообразить, правильно ли будет продолжить путь по улице Эрехтейона, во всяком случае, зашагал в ту сторону и после переулков Стратоноса и Фразиллона неожиданно очутился на широком, оживленном проспекте Дионисия Ареопагита и одновременно увидел в вышине и Акрополь, правда, он иногда мелькал и прежде, когда в узеньких улочках на краткий миг открывался просвет, но во всей целостности он впервые узрел его сейчас, с этого Дионисия Ареопагита, а это означало: впервые в жизни он близок к цели, после чего все остальное стало неинтересно и неважно, ведь он достиг подножия Акрополя, ну не прекрасно ли это, солнце жгло нещадно, движение на проспекте кошмарное, было, наверное, часов десять-одиннадцать, но точно он не знал, часы его остановились еще в самолете, так как он забыл вовремя сменить батарейку, а теперь уж… ни к чему, подумал он, разве не достаточно того, что я здесь?! — и он знай себе топал по Агоре, но что-то подозрительно мало попадалось ему туристов, и чем дальше, тем меньше, но он не терял присутствия духа,

ведь вот же, справа Акрополь, рано или поздно он найдет место подъема, если даже придется обойти вокруг все подножие, он обойдет, и все дела, подбадривал он себя, но больно уж долго тянулась дорога, и удушливой вонью был пропитан воздух, которым приходилось дышать, а шум уличного движения казался невыносимым, и он уже решил было спросить у первого встречного, как пройти, когда вдруг уткнулся в укрепленный плитами известняка зигзагами ведущий вверх серпантин, увидел на вершине длинного подъема какую-то будочку, взобрался с трудом, но будка оказалась кассой, хотя написано на ней было не «тамио», а «АКРОПОЛЬ», что можно было счесть смешным, ведь это все равно, как если бы ведущую кверху дорогу пометили надписью «дромос», хотя всем известно, что это дорога, а наверху находится акрополь, тогда к чему весь этот цирк, вероятно, из-за входной платы, подумал он, и наверное, так оно и было на самом деле, поскольку входную плату взимали, причем, довольно высокую, сперва запросили двенадцать евро, затем, когда он, отчаянно жестикулируя, возмутился, снизили плату до шести, у него наконец-то был билет, он вошел и вскинул взгляд кверху, так вот, значит, это Акрополь, но солнце нестерпимо било в глаза, так что он вынужден был опустить глаза, но все оказалось непросто, потому что, когда он опустил глаза в надежде дать им отдохнуть на каком-нибудь темном пятне дороги, оказалось, что это невозможно, поскольку на дороге вообще не было никаких темных оттенков, каменное покрытие под ногами слепило точно так же, как камень строений вверху, от которых он отвел глаза, сквозь ступни лестницы, беломраморные ступени, не пробиться было ни траве, ни сорнякам, он ковылял вверх, осознавая лишь, что находится у воздвигнутых Мнесиклом Пропилей, главного входа в Акрополь, карабкался к вершине чуть ли не на ощупь, зная, что слева от него должна находиться так называемая Пинакотека, Картинная галерея, а справа оборонительная башня, на верхней площадке которой стоит храм Ники Аптерос с его дивными четырьмя колоннами, но знал чисто умозрительно, видеть ничего не видел, шел вверх без остановки, щуря глаза, и утешался мыслью, ладно, пусть сейчас он ослеплен, но после того, как кончится лестница, он отыщет местечко под деревом или укроется в тени какого-нибудь здания, переведет дух, а потом вернется сюда и как следует рассмотрит Пропилеи, поэтому он брел и брел дальше, однако после Пропилей дорога не только не стала лучше, но положение, можно сказать, ухудшилось, так как вместо почвы все было покрыто известняком, весь теменос был построен на гигантской снежно-белой известняковой скале, и дорожка внутрь бежала среди причудливых обломков известняка по ослепительной известняковой поверхности, стало быть, весь Акрополь, подвел он итог, целиком и полностью стоит на этой голой горе, тот самый Акрополь, подумал он ошарашенно, еще какое-то время не решаясь хорошенько вдуматься, что же означает *совершенно* голый, что нет здесь ровным счетом ничего, кроме известняковой скалы и прославленных храмов, воздвигнутых на ней из разных сортов светлого мрамора, большей частью пентелийского желтоватого мрамора, он не решался додумать эту мысль до конца, утвердиться в ней, а потому все шел вперед, пытаясь придать векам такое положение, чтобы не рухнуть ничком и в то же время заслонить глаза от палящего солнечного пекла, ведь солнце и впрямь жгло нещадно, хотя его не так уж волновало, что голову, спину, руки, ноги, все тело жжет огнем, это он как-то терпел, зато его совершенно застало врасплох обстоятельство, тяжелые последствия которого он даже не предполагал, это воздействие солнечного света на белый известняк, он не был готов к этому чудовищной мощи сиянию, да и как, спрашивается, быть готовым к этому, если ни один путеводитель, ни одно исследование по истории искусств не считает нужным предостеречь, будьте, мол, осторожны, солнце над Акрополем настолько ярко, что людям со слабыми глазами непременно следует принять защитные меры, а вот он, который, судя по всему, относится к числу людей с чувствительными глазами, никаких мер предосторожности не предпринимал, в результате чего и сейчас не мог предпринять никаких контрмер, так как у него при себе не было ничего, кроме чемодана в руке, а ведь это идея, осенило его вдруг, и, добравшись до святилища

Артемиды Бравронии, он уверовал, что чемодан спасет его, какое счастье, что он захватил его с собой, из чего явствует, что от немыслимой усталости, жары и слепящего сияния он был не в себе, ибо лишь когда он прислонился к стене святилища, чтобы открыть чемодан и достать что-нибудь из одежды, до него дошло, что чемодан остался в городе, у парня по имени Маниопулос, а солнце, как назло, в этот момент зависло прямо над головой, ни вблизи, ни поодаль не виднелось ни малейшего тенистого уголка, навеса, выступа кровли, расщелины в стене, лучи света обрушивались на него прямые, как стрела, вертикально и беспрепятственно, тени не было нигде во всем Акрополе, хотя тогда он еще этого не знал, поэтому, за неимением лучшего, извлек из кармана джинсов мятый бумажный носовой платок, развернул его и приставил к глазам, но к несчастью, даже белизна платка раздражала глаза, и тогда он заслонил их ладонями и побрел вперед в надежде, что рано или поздно доберется до какого-нибудь местечка, все равно какого, лишь бы можно было забиться, спрятаться, дать отдохнуть измученным глазам, вот он и шел вперед, все вперед, по Акрополю, о котором мечтал с детских лет и где теперь, как вскоре выяснилось, кроме него, не было ни души, только одна немецкая супружеская пара вдали, у Пантеона, уж эти-то, подумалось ему, подготовились к экскурсии, на обоих тропические шлемы с козырьками, темные очки в пол-лица, на спине рюкзаки, откуда, аккурат в тот момент, когда он взглянул на них, была извлечена литровая бутыль с минералкой, в результате чего он тотчас почувствовал нестерпимую жажду, которую решительно нечем было утолить, поскольку тут — вопреки всем его надеждам — не обнаружилось ни обязательного в туристических местах буфета, ни торговца прохладительными напитками, короче говоря, *на Акрополе не было ничего, кроме Акрополя*, но к тому времени страдания его достигли предела, а между тем он добрался до места, где некогда была воздвигнута статуя Афины, и взял направление на Эрехтейон, но шел подобно слепцу, нащупывая перед собой дорогу, ибо смотреть вверх или хотя бы на мгновение вскинуть взгляд он был вообще не в состоянии, из глаз текли слезы, но сами глаза пока что не болели, боль обрушилась на него, когда он выплакал все слезы, добравшись до Кариатид Эрехтейона, куда проникнуть — в особенности отсюда, с южной стороны — он, естественно, не мог и не в силах был коснуться их хотя бы взглядом, так как портик вздымался высоко, и Кариатиды были недостижимы, в отчаянии он озирался по сторонам, глаза щипало от боли, на поверхности скалы тут и там валялись огромные куски резного камня, по всей вероятности, следы раскопок, оставленные археологом Дёрпфельдом, часть алтаря Афины, либо еще бог весь чего, во всяком случае, это удалось ему разглядеть за то мгновенье, когда он решился вновь открыть глаза, но тут словно кто-то из богов на краткий миг смилостивился над ним, уведя его к юго-западному фронтону Эрехтейона позади Кариатид, где он заметил дерево, о господи, дерево, и этот слепой поклонник Акрополя тотчас же поспешил к нему, но лишь когда добрался до дерева, прислонился к стволу спиной и попытался открыть глаза, ничего не изменилось, потому как открыть глаза и здесь было невозможно, дерево оказалось маленькой оливой, чахлой, почти совсем засохшей, ствол тонюсенький, ветки наверху хлипкие, с трудом поддерживали прозрачную, как паутина, крону, сквозь которую беспрепятственно проникал свет, и когда он в полном изумлении глянул под ноги и убедился, что веточки эти не отбрасывают даже самой слабой тени, он наконец-то уразумел: то, ради чего он пришел сюда, останется для него невидимым, о-о, с горечью подумал он, ему не только никогда не узнать, каковы масштабы Акрополя, но и самого Акрополя не увидеть, хотя находится он здесь, на Акрополе, — однако боги послали ему в утешение не деревце, а северный фасад Эрехтейона, который к тому времени оказался в тени, и он сломя голову помчался туда, супруги немцы уже обретались там, веселые и оживленные, мужчина как раз вставлял в фотоаппарат новую пленку, а жена уписывала за обе щеки огромный гирос, многослойный сандвич, оба были толстые, чуть не лопались от здоровья, м-да, к этим боги благоволят, тоскливо заметил он про себя, явив тем самым неблагодарность, ведь в конечном счете он добрался до

такого места, где все же смог дать передышку измученным болью глазам и даже открыть их, правда, кроме основания колонн древнего Парфенона, отсюда ничего не было видно от так называемого Акрополя, куда он мечтал попасть всю жизнь, ведь он находился к нему спиной, нет, это совершенная несуразица, возмутился он, придя в себя, и никак не желал смириться с поражением, немцы ушли к Парфенону, продолжать фотосъемку, а он остался, понимая, что последует, стоит ему отойти от стен Эрехтейона, дающих слабую тень, наверное, надо бы вздремнуть, подумалось ему, обождать, пока солнце проделает к небе большую часть своего пути и на земле изменятся пропорции света и тени, но он тотчас сообразил, что идея неудачная, ведь все равно без воды долго не выдержать, на это — точнее говоря, и на это — он тоже не рассчитывал, что надо бы прихватить с собой воды, привалившись к стене, он думал о Калликрате и Иктине, которые построили Парфенон, затем о Фидии, который своей величественной статуей Афины из золота и слоновой кости придал смысл всему творению, и, прижавшись спиной к стене, представил себе, будто приближается к Пантеону, более того, предстает перед изумительными колоннами Парфенона, перед совершеннейшей дорическо-ионической колоннадой, и вдумался в суть пространства пронаоса, преддверия святилища, или наоса, главного помещения храма, и осознал, что, когда здесь все это строили, храм еще был территорией веры, местом и центром Панафинейских процессий, он напряг свой пульсирующий мозг, чтобы силой воображения объять, увидеть во всей целостности и таким сохранить для себя, на прощание, прекраснейшее творение западного мира, — а еще он подумал, что, собственно говоря, ему следовало бы плакать, потому что он здесь, но его тут нет, плакать, ибо он достиг того, о чем мечтал, и все же мечта его не осуществилась.

Спуск с Акрополя был ужасен, и ужасно было смириться с тем, что из-за такой смехотворной, банальной, будничной мелочи вся его афинская затея обернулась поражением, он, спотыкаясь, ковылял вниз, прикрывая глаза обеими руками, его распирало желание разнести, разбить ногами кассовую будку у выхода, но, конечно, он ничего не разнес, лишь пошатываясь брел вниз по дороге, нещадно палимый солнцем, и наконец достиг оживленной магистрали — проспекта Дионисия Ареопагита, тут он принял решение на сей раз обогнуть Акрополь с другой стороны, правда, на Акрополь ему теперь уже и смотреть не хотелось, хотя здесь, внизу, глаза притерпелись к свету, и состояние его улучшилось настолько, что можно бы и вернуться, двигаясь в том направлении, откуда он сейчас пришел, только было неохота, ему больше ничего не хотелось, его не интересовал Национальный музей, не интересовал храм Зевса, ни театр Диониса, ни Агора, потому как не интересовали сами Афины, а значит, не интересовали и те места по пути, откуда, взглянув наверх, можно было бы увидеть Акрополь, плевать я хотел на этот Акрополь, бездумно брякнул он вслух, но понимал, что это говорит в нем горечь, сожаление оттого, что увиденное оказалось невидимым — так пытался он истолковать вначале то, что с ним приключилось, он искал глубокий символический смысл и нашел его, пожалуй, по праву потерпевшего, чтобы как-то пережить, понять события минувших часов, то есть прощание с мечтою, смысл этот лишь сейчас начал облекаться в его сознании в некие формы, а смотрел он только себе под ноги, и все у него болело, больше всего по-прежнему болели глаза, но и ногам тоже было очень больно, обе пятки оказались стерты, и при каждом шаге приходилось, перемещая тяжесть тела то на правую, то на левую ногу, сперва чуть двигать ступню вперед, чтобы ботинок не касался пятки, да и голова раскалывалась от боли, потому что он был голоден, желудок тоже сводило судорогой, ведь вот уже несколько часов во рту не было ни глотка, он брел по узкому тротуару проспекта Дионисия Ареопагита, который в этом направлении казался еще длиннее, немыслимо, невыносимо длиннее, и упорно не смотрел наверх, поскольку *там, наверху*, — отныне он называл Акрополь именно так, чтобы даже слова этого не произносить, — уже не осталось ничего, что можно было бы осмотреть завтра или хоть сегодня же вечером, предприняв

очередную попытку, ведь он понимал, что понапрасну вернулся бы сюда, Акрополя во всей его реальности ему все равно нипочем не увидать, так как появился он здесь в неудачный день, в неудачное время появился на свет, вообще невесть зачем появился на свет, а стало быть, изначально все и пошло наперекосяк, ему бы следовало знать, чувствовать, что сегодня неподходящий день для каких бы то ни было начинаний, и следующий день тоже неподходящий, ибо нет у него больше дней впереди, как и не было их никогда, ибо нет и не было дня, когда он, в отличие от дня сегодняшнего, успешно мог бы взойти наверх по этому пути, хитроумно выложенному известняком, и зачем он вообще туда сунулся, скривил он рот, к чему было горячку пороть, корил он себя и, понурив голову, совершенно раздавленный, ковылял в растреклятых башмаках, со стертыми в кровь пятками, вкруг подножья Акрополя, и бесконечно много времени понадобилось ему, чтобы обогнуть холм и вернуться на ту же самую улицу, где однажды, ранним утром, он побывал, Стратонос было название улочки, затем он попал и на улицу Эрехтеос, а оттуда, через улицу Аполлона было рукой подать до перекрестка улицы Эрму, — и вот он уже увидел по ту сторону площади своих утренних знакомцев, глазам не мог поверить, но они сидели все там же, почти все, только одной из девушек, Элы, недоставало, насколько можно было разглядеть отсюда, с противоположной стороны, и они тоже заметили его и замахали приветственно руками, его вид явно подействовал на них подобно освежающему глотку средь зноя, ему же сделалось несказанно приятно, что после стольких мучений наверху, мучений совершенно излишних, он смог возвратиться к ним, наверняка это было предначертано где-то, стоило ему увидеть их, и сердце его дрогнуло, в конце концов, что же показалось утром ему таким привлекательным в этой компании, да ведь именно то, что они ничего не делают, ничего не хотят, ну и, пожалуй, их добросердечие, подумал он, глядя на них, и, слегка расчувствовавшись от усталости, помахал рукой им в ответ, выходит, настолько само собой разумеющимся казалось теперь, что есть смысл в том, чтобы подсесть к ним здесь, в Афинах, где компания сразу же приняла его, посидеть с ними, заказать кофе по-гречески и затеряться здесь, в Афинах, зачем хотеть еще чего-то, теперь, после этого ужасного и чертовски смехотворного дня, казалось, нет ничего более смешного, чем вспомнить, до какой степени он сегодня утром был полон желаний, до чего нелепы все эти желания, когда можно бы чувствовать себя куда более счастливым, останься он здесь, с ними, попивай кофеек и наблюдай за сутолокой движения, за тем, как с безумной скоростью проносятся туда-сюда машины, автобусы, грузовики, он чувствовал себя смертельно усталым, и для него больше не стоял вопрос, чем он станет заниматься отныне, сядет со своими новыми приятелями и точно так же, как они, ничего не будет делать, съест чего-нибудь, выпьет, затем последует очередное холодное как лед кофе по-гречески и блаженная, длиною в вечность, расслабленность, он сбросит ботинки и вытянет ноги, после чего расскажет, не скупясь на иронические замечания в собственный адрес, все, что произошло с ним там, наверху, и сам примет участие в общем веселье, и поделом тому идиоту, который заявился в Афины посреди лета и в первый же день, в самое пекло полез на Акрополь и еще удивляется, что он ничего не видел из всего Акрополя, скажет Иоргос под всеобщий хохот, такого и в самом деле иначе, как дураком, не назовешь, совсем необидно добавит Адонис, ежели взбираешься под палящим солнцем на Акрополь и ума не хватает взять с собой темные очки — над этим все посмеются еще какое-то время, мысленно воображал незадачливый искатель приключений, стоя по эту сторону перекрестка, а он, пожалуй, ответит им, что отправился на экскурсию без солнечных очков потому, что Акрополь сквозь темные очки — это вовсе никакой не Акрополь, ему махнули снова, да не тяни резину, дуй к нам поскорее, и он на радостях, что здесь он почти как дома, что новые знакомцы держат его за своего, — не раздумывая шагнул к террасе по ту сторону площади, шагнул прямо в нескончаемый поток машин, и его тотчас сбил, задавил насмерть грузовик, с бешеной скоростью мчавшийся по внешней полосе.

Перевод с венгерского Татьяны Воронкиной.

АННА ПИНЦУТТИ

Жажда нежности

Моя суть

В придуманной маленькой комнате
закрываю свои мысли:
здесь вся моя суть.
Мечты разбиты,
однако настолько живы!
Боль прошла,
но — огненный язычок, —
задевая,
еще обжигает меня.

Глубока любовь
по моим отошедшим близким.
Прогорланены в сердце слова,
ни разу не выйдя наружу.
Жажда солнца
в дождливые дни —
и жажда любви,
слишком часто отринутой страхом
новых страданий.

Одиночества:
желанно-искомые.
Подарки-улыбки:
без вознаграждения.
Жажда ласки — в дар:
себе и кому-то.
Радость видеть
поле спелой пшеницы,
всходом — новый цветок,
новый мир — глазами ребенка.

Глядя в зеркало, хочется говорить:
— Все-таки жизнь хороша!
Только слишком давно
это не происходит.

Кожа и кости

Ты — обычные кожа и кости:
свернут кульком,
сидишь на скамейке.
Блуждает твой взгляд,
наблюдая за ссорою голубей,
подбирающих крошки,
из пакета в прорехах,
который ты держишь в руках.

Твои руки желты от страсти к курению,
в отметинах старого времени.
Голубые глаза наполнены виденным,
сердце — пр*о*житым — до краев:
отстрадал, отлюбил, отплакал…
Пустота — теперь. Теперь — тишина.
Затерялась душа в неистовстве мира,
окружившего плотно, не видя ее в упор.
Что — твой опыт и прошлое?
Вес твой — бесценен:
одинокие кожа и кости, кульком, на скамейке…

Добыча

Еще один твой взгляд
в этой случайной встрече.
Причем, не такой уж случайной: я это знаю.
За твоим скрытым желанием
пробежаться по коже,
задевая меня слегка, мимоходом,
читаю: ты будешь моим.
Ощущаю твой запах:
морозом по коже.
Наблюдаю тебя, докапываюсь до нутра.
Опуская глаза, пытаешься спрятать взгляд.
Я читаю в твоем сердце.
Я читаю в душе, которую украду.
Унесу ее в преисподнюю своей чувственности.
И заставлю взлететь в вышину.
На вершины с*а*мой скабрёзной любви.
А потом опять уведу в тайники своего сердца.
Убаюкаю в бесконечной нежности своей души.
Покажу тебе свои самые скрытые правды.

Ты полюбишь меня, как никогда не любил.
Проклянешь меня, став добычею н*а* день.
Только н*а* день. А после — воспоминанием.

Мысль-ты

Я шагаю в тумане,
поскольку все прячу от глаз мира.

Так, как прячу тебя в своем сердце.

Мысль-ты —
мой спутник в моей утомительной жизни
в непролазных дорогах,
в шершавых петроглифах жизни.

Мысль-ты
превратится в объятье,
едва оступлюсь у пропасти
и вокруг все качнется,
а я полечу в распростертые руки,
заведомо зная,
что ты непременно подхватишь.

Мысль-ты необъятного сердца,
в котором храню мрачные краски,
обретая страстные краски любви,
опять начиная писать ярким светом
и тысячей звезд.

Ты — моя обретенная вновь улыбка.

Ты — моя навсегда затаенная ласка.

Ты — моя иная иллюзия жизни.

* * *

Если б ты попытался
хоть немного продвинуться за,
заглянуть мне в глаза,
прочесть усталую душу,
мои робкие жесты,
мозг, потерянный за
тысячей мыслей,
удлиняющихся
серебром ленточек-улиц,
пронзивших пустыни.
Если б ты попытался прочесть
дрожь моих рук,
ощутить тишину моих криков,
плененных горлом,
то, возможно, — слышишь? —
только «возможно» —

ты бы смог постичь печаль
моего сердца.

* * *

Под солнцем, призванным умереть,
оставляю бежать сквозь мои пальцы
мелкий песок.

Тишина вокруг.
Теряется взгляд
в зеленой дали.
Время, кажется, глохнет.
Простое время.
То, которое не возвращается,
все поглощает,
не останавливается,
не ведет к спасению.

Мы свободны, но пленники
этого времени.
Вездесущим
глашатаем жизни
оно поет ее радости —
неизменно короткие —
и ее печали —
непременно великие:
необъятностью силы
подчас прерывает дыхание.
Оно — неотвратимо,
без страданий,
без угрызений совести, —
продолжает свой путь.
Мы — внутри — заблудшими душами —
в травянистой степи жизни
бежим против времени,
никогда не вставая у него на пути.

Порой что-нибудь вспомнится:
с сожалением,
с угрызением совести,
как потеря.
Однако время бежит,
не оставляя возможности
остановиться.

Мечта

Рождается в воздухе. Чувствую. Вот оно.
В сердце закралось. Проникло в мой разум.
Нежною мыслью. Жгучею мыслью.
Против желания. Пытаюсь избавиться.
— Это — иллюзия, — сетует разум.
Сердце в ответ распаляется чувством.
Старым и новым. — Нет! — повторяю. —
Нет! Не входи в меня, путая мысли!
Не превращайся в мечту-наваждение!

Греза далекая —
взгляд твой пронзительный
впился мне в душу
без капли стеснения
и с мастерством отыскал мою страсть —
ту, что пыталась держать затаенною.
Влажные губы слились в поцелуе.
Жаркие руки вверглись в твой трепет.
Мысль прогоняю, создание хрупкое...
Ввергнута в панику. Нет оправдания?

Ветром ворвавшись, гаси мою дрожь
и отпускай к моему одиночеству!
Нет о тебе даже крошечной мысли.

Пытаюсь летать

Я пытаюсь летать в твоем небе.
Меня смущает
твой чрезмерно лазурный цвет,
свет твоих ясных глаз,
терпкий вкус твоих лет.

Я пытаюсь усвоить полет,
но чувствую руки,
приковавшие прочно меня
к земле
осознаньем того, что мы
далеки настолько, насколько различны.
При этом страшно близки…
Непомерно близки…
Воедино слились наши дыхания…
Туманится взгляд
охватившею нас нежной истомою…
Закрываю глаза,
пытаюсь летать.

* * *

Говорю с тобою, не видя тебя,
все равно — тебе — повествуя душу.
Ты внимательно слушаешь. Закрываю глаза.
Слышу стук твоего сердца.
Полноводной рекою — рассказ обо мне,
моих болях и страхах, вкупе с надеждами.

Слышу — даже без слов — твой голос.
Твои руки сжимают в своих мои руки.
Совместились сердцебиения. Ночь
из холодной и темной сделалась ясною.

Ощущаю, не чувствуя, пылкость объятий,
Нежно укутывающих… В моих глазах —
ты не видишь — рождается снова улыбка.
Ты не слышишь — шепотом на губах —
пробуждается слово: «Спасибо».

Жажда нежности

В тишине слушать ветер дыхания — не своего,
ощущать на лице — легким касанием — ласку,
согреваться теплом в объятьях плененного тела,
обменяться друг с другом
заговорщицким взглядом,
но честным,
слушать на *у*хо шепотом клятву,
причем, обольщаться,
будто именно этот миг
никогда не прервется.

Перевод с итальянского
Ольги Равченко.



ДОКУМЕНТЫ. ЗАПИСКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ВИКТОР ШНИП

Дорога к храму

Храм

Вокруг весенний разлив, будто начало потопа. На возу меня и сестру Валю родители везут в Дубравы в церковь — крестить. Наши будущие крестные — брат отца Славик и мамина сестра Аля — держат нас на руках, как живых кукол. Мне хоть и пошел третий год, но я реву как резаный. Отец сердится: «Вот ты, Нина, выдумала какую-то езду в церковь. Привезли бы в хату попа — и все было б как надо…» Все молчат, а я реву. Где-то там за горой церковь…

На Радуницу с бабушкой Ганной проведали в Кривичах могилку моего деда Михася. Я, как только может пятилетний мальчик, помог бабушке на холмике вырвать траву и посыпать его свежим желтым песочком. Подкрасили оградку, положили возле креста несколько пасхальных яиц. Дождались батюшку, который ходил по кладбищу и читал заупокойные молитвы. И только собрались домой, как вдруг налетел сильный ветер и вокруг потемнело. Загремел первый весенний гром, поднялись с деревьев, как сухая черная листва, вороны. «Побежали быстрей домой», — заволновался я, но бабушка взяла меня за руку и спокойно повела в церковь. В Храме было людно и светло…

Еду с отцом на возу в Городок. По дороге расспрашиваю, где и что, и почему все так, а не иначе. У отца хорошее настроение, и он рассказывает с охотой про все на свете. Проезжаем мимо кладбища. Могли бы просто проехать, но отец останавливает лошадь и ведет меня на кладбище, показать, где и кто похоронен из наших. В самом Городке останавливаемся возле разрушенного Храма, и тут отец заводит меня вовнутрь и говорит: «Погляди в небо…» Я смотрю, и он спрашивает: «Что видишь?» — «Небо…» — отвечаю я. «А в небе?» Я молчу, а отец говорит: «А там Бог…»

В школе я хорошо бегал, и меня повезли на соревнования в Раков. Пробежал неплохо. До отъезда было еще далеко, и нам разрешили походить по городку. Наш физрук куда-то ушел, старшие ребята пошли пить «чернила», а я остался один. Куда пойти? И я пошел в церковь, чтобы послушать, как меня учила бабушка, Боженьку. Закрыто. Перешел дорогу — дальше за хатами виднелся высокий красивый костел. Пошел к нему. Двери открыты. Захожу, а там сумрачно, и лошадь с возом, с которого люди сгружают какие-то огромные мешки. По дороге домой рассказал физруку о том, что было в Ракове, а он на мой рассказ усмехнулся: «В костел в мешках привезли новых грешников и теперь всю ночь будут из них молоть муку. Будешь грешить — и тебя смелют…»

В середине восьмидесятых, когда люди перестали бояться ходить в храмы, моя сестра Валя попросила меня стать крестным отцом ее сына. Я согласился, и мы поехали в Раков в церковь. Народу в Храме не было. И батюшка, после того как получил, что ему на тот день Бог послал, поинтересовался: «Как будем кре-

стить младенца: по полной программе или по укороченной?» Моему швагеру как раз не хотелось растягивать святое дело на неизвестное время, и он согласился на «короткую программу». Годовалый Сережа ревел у меня на руках, а я кусал губы, чтобы не рассмеяться, вспоминая где-то вычитанное: «Хорошо горланит, видать, комсомольским вожаком будет...»

Как-то раз в общежитии Литинститута ко мне зашел русский поэт, который родился в Беларуси, Валерий Казаков. Поговорив о том о сем, он предложил: «Поехали ко мне в гости. Я тебя хоть накормлю нормально…» Жил Валера где-то далеко, на окраине Москвы. Прежде чем ехать к нему домой, он решил пройтись со мной по улицам вечернего города. Шли долго, и я думал, что Валера ведет меня в какой-нибудь ресторан. А пришли в церковь. Земляк купил свечки, и мы их поставили за нашу Беларусь. Дома, угостив меня, Валера дал почитать перед сном Библию. В то время святые книги были редкостью, и я зачитался часов до двух ночи. Хотел заснуть, но не смог — в голове звучали слова: «И все это суета сует и томление духа под солнцем…» В пять часов утра оделся и, ничего не сказав Валере, поехал к себе в общежитие...

В подмосковный Загорск в Сергиеву лавру я ездил на святые праздники. Последний раз поехал с Людмилой. И как раз попали, что несколько дней тому назад там был большой пожар — горели кельи монахов. Золотые купола храмов, почерневшие от дыма стены монастыря, черные огромные вороны на еще черных голых деревьях, и монахи в черном, как тени прошлого, и моя Людмила среди всего этого, как Рогнеда...

В какой город или местечко ни приеду, первое, что хочется увидеть и куда сходить, — это Храм. После очередного праздника поэзии в Ракутевщине гости из столицы, в том числе и я, по дороге к электричке зашли в церковь, чтобы поставить свечки по Максиму Богдановичу. Следом за нами залетела синичка и, пока мы были в Храме, летала под куполом...

Когда жили у тещи возле Кальварийского кладбища, если становилось тоскливо, ходили с Людмилой на могилу Янки Лучины. Иногда заглядывали в костел. Не молились, потому что православные, а просто стояли и слушали молитвы. Теперь на Кальварийское кладбище ходим и к Вячеславу Адамчику, и к Алесю Письменкову, и к Алесю Трояновскому, и к Алесю Асташонку, и к Евгению Кулику, и к Петру Драчеву...

С Людмилой поехали в Раков в церковь. Зашли в дом к батюшке, поговорили о том, чтобы он нас обвенчал. Тогда еще договорились, когда именно сделаем это, но, к сожалению, мы и сейчас еще не сделали того, что нужно. И в этом виноват я...

В Дубравах на разрушенном храме в конце восьмидесятых, видно, чтобы привлечь внимание к разрушающейся святыне, кто-то краской написал: «Здесь крестили Янку Купалу!» Но и этот святой обман не спас руины храма...

Утром 26 июня 2005 года в Вильнюсе в Свято-Духовом монастыре, благодаря Людмиле, впервые в жизни исповедался. Потом принял причастие. Перед исповедью и причастием после бессонной ночи чувствовал себя не очень хорошо. К тому же шел мелкий дождь и было мрачно, и вокруг, и в душе. Исповедывался отцу Олегу. Сразу после исповеди и причастия почувствовал легкость во всем теле, будто из меня что-то тяжелое достали, с чем я ходил столько лет, и выбросили. И светло было в Храме, и светло было на улице и в моей душе...

* * *

Городского сто лет одиночества,
Где дома, как глухие пророчества,
Сквозь которые ощупью к Храму
Пробираюсь. Там молится мама.
Я иду — и дороги не знаю,
Я иду — и себя вспоминаю.
Нужно вспомнить себя молодого,
Но увидел себя неживого
Без отцовского дома, без храма,
Где твоя так же молится мама.
И у мамы на сердце тревожно.
Мы с тобой повстречаться не можем.
Как болота дома обступили,
Паутиной-ногами обвили.
Ты идешь — и дороги не знаешь.
И не знаешь, за что проклинаешь,
Ты меня… И дойдешь ли до Храма,
Где все молится, молится мама?

Камни

Мне было где-то лет пять, и жил я у бабушки Ганны в Легезах. Деревня небольшая — хат десять. Мне приходилось играть одному.

Путешествовал по полям и лесам, а иногда и по соседним огородам. Вреда особенного никому не причинял, но лазал где можно и где нельзя. Тогда по радио и в разговорах старших часто приходилось слышать про Америку, где живут очень плохие люди, которые хотят уничтожить не только нас, но и всех, кто живет на земле. Наслушавшись про плохих американцев, в моей детской голове созрела идея — раз в Америке живут плохие люди, а у соседки в саду есть колодец, а он глубокий (наверное, через всю землю), то можно через колодец побомбить американцев. Ни бомб, ни гранат у меня не было, но камней было много. И я, набрав побольше камней и пробравшись, как партизан, в соседний сад к колодцу, стал бомбить Америку. Бомбил долговато. Не знаю, попал ли в Америку, но соседке на глаза — точно. И она меня прогнала. Я очень обиделся на тетку — как же она не понимает, что я делаю полезное дело — бомблю Америку! И от обиды придумал про тетку стишок, с которым назавтра снова пришел к колодцу и снова стал бросать каменюки в плохих американцев. А соседка, увидев, чем я опять занимаюсь, снова прогнала меня от колодца. И я, отбежав, прокричал тетке стишок. И тут она совсем озверела — схватила крапиву и, догнав меня, как следует отхлестала. А я не понял, за что… И это был мой первый стих и первый гонорар…



С бабушкой Ганной. 1983 г.

Сижу на берегу Ершовки, которая разделяет мои Легезы и соседнюю деревню Крапивники. Хочется на тот берег, но помню слова бабушки: «Смотри, утонешь — домой не возвращайся…» И я, подумав про все это, смотрю на тихую, прозрачную гладь реки, через которую мне ни за что не перейти. И вдруг вижу — неподалеку, шагнув широко пару раз, не замочив ног, речку перешел какой-то дядька и исчез в кустах. И я вспомнил бабушкин рассказ об Иисусе Христе, что ходил по воде, яко по суху… И мне подумалось, что в Крапивники пошел сам Бог. И все-таки позже, через несколько лет, я тоже смог перейти Ершовку, почти не замочив ног, — в воде лежали камни, которые не сразу можно было увидеть.

Возле Русаков в большом пруду водилась рыба. И я часто подолгу сидел там с удочкой. Изредка кое-каких карасиков и цеплял, но чаще всего мой поплавок весело скакал на ряби, будто насмехаясь над моим рыболовством. И все же я дождался большой рыбины. И тут началось — сбежалась вся русаковская детвора, кто с корзиной, кто с ведром, кто с палкой, а кто и с камнем, и давай «ловить» рыбу. А я сижу у воды со своей рыбиной и не знаю, что делать. И тут подбежал какой-то пацан и кинул камень прямо мне в голову. Я упал и выпустил из рук рыбу. Мальчишки схватили мою добычу и, бросив ее в корзину, убежали. А я лежал на берегу и смотрел на камень, на котором темнело красное пятнышко — моя кровь.

С отцом на возу едем в Городок сдавать крыжовник. Везем три мешка. Должны быть немалые деньги, и самое главное, что чем больше будет денег, тем больше отец обещал потратить на меня. И я, собираясь в дорогу и пока отец сидел в хате, в каждый мешок для веса положил несколько небольших камней. Дорога перед Городком из булыжника, и воз наш трясется как сумасшедший. А я смотрю на дорогу и думаю: «Вот бы положить в мешки пару таких вот камней. Была бы копейка еще больше…» Но, говорят, мечты мечтами, а дела делами. Приемщик взвесил наши мешки, что-то пометил карандашом и выдал отцу деньги. Отец пересчитал и поинтересовался: «Чего пятьдесят копеек недодал?» — «А это мне на камни в крыжовнике», — ответил приемщик и подмигнул мне.

Лет двадцать пять назад на лугу возле леса лежал огромный камень. Пастухи возле него раскладывали костер, грелись. И камень был черный, как черт. Отец мой возле этого камня огня не разводил и мне не позволял. И я спросил: «Почему нельзя возле камня погреться?» Отец отмалчивался долго, а потом рассказал историю, которую ему еще его дед рассказывал. И я узнал, что этот камень свалился с неба, и придет время, он сам полетит туда, откуда прилетел, поэтому сейчас нельзя его трогать, а то может случиться беда… Нынче на лугу камня этого нет…

Отец собрался гнать самогонку. Приготовил все что нужно, затопил печь, а меня послал на улицу принести пару камней. Я выбежал из хаты и, долго не думая, схватил возле крыльца пару камешков. Отец рассердился: «Что ты мне принес?! Большие нужно!» Пришлось идти искать. Те, что нашел, отцу понравились, и он положил их в печку. Где-то через час отец вынул раскаленные камни и бросил их в бидон с заведенной брагой и сказал: «Ну, теперь брага будет работать…», а затем добавил: «Ты же, парень, никому о том, что мы тут с тобой делали, не говори…»

Я никому ничего не сказал, но потом долго еще в лесу, что за нашим домом, пробовал с младшими братом и сестрой из камней выгнать самогонку.

С мамой приехали в Раков на ярмарку. От автостанции идти далеко, и я все пробую сагитировать маму пойти через небольшой соснячок. «Не выдумывай!» — не соглашается мама и ведет меня по дороге, по которой идут все. «Пошли напрямую, там между камней должна быть тропинка»… — не затихаю я. И мама говорит: «Там не камни. Там еврейское кладбище…»

* * *

Снова снегом засыпаны наши дома,
Как Европа, вокруг наступила зима.
И, как снежные люди, бредем мы сквозь снег
Рыщем, будто бы ищем, чего уже нет.
От зимы не уйти нам, пока мы живем
И в троллейбусе движемся, будто плывем.
Мы в железном челне, где незримый Харон
Нас ведет меж столбов, меж античных колонн.
И мне хочется выйти и следом уплыть
За любимой, узнавшей, зачем нужно жить.
И зачем нужно нам каждый миг умирать,
И зачем этим стенам, как горы, стоять
Под снегами в печали, что сходят весной.
Если тут до нее доживем мы с тобой.

Лес

Лес — это то, что осталось от Адама и Евы.
Лес — это Храм, в котором не каждый молится.
Лес — это остров в море цивилизации,
на берегу которого сидит лесовик и которого мы не видим.
Лес — это зеленый взрыв, и никому от него не спрятаться.
Лес — это искушение пойти и не вернуться.
Лес — это мы.

Среди леса крестов на кладбище вырос лес. Высокий, густой, местами почти непроходимый. И мы ходим в нем, как привидения, в поисках своих могил. Здесь, в Дубравах, что в Молодечненском районе, похоронены почти все мои деды и прадеды. И среди этого леса крестов, который с каждым годом все разрастается и разрастается, замечаю кресты своих одногодков и более молодых земляков. И этот лес для меня самый печальный на свете и самый святой. В кронах деревьев огромные, как берлоги, вороньи гнезда. Вороны черные, как головешки на пожарищах, и крикливые, как люди, что заблудились в лесу. И мы бродим по этому лесу и находим свои могилы и теряемся среди крестов.

В метрах пятистах от кладбища — этно-археологический памятник «Девичья гора». Сведения о ней впервые были помещены в «Географическом словаре Королевства Польского и других славянских стран» в 1881 году, в котором приводится легенда, согласно которой давным-давно в Дубравах жила очень красивая девушка. Полюбили ее два молодца, и чтобы решить, кому из них быть ее мужем, она придумала для них испытание. Взошла на самую высокую гору и там села, а к ней каждый из женихов должен был докатить по камню. Кто первый справится, за того красавица и выйдет замуж. Камни были большие и тяжелые, и у женихов от натуги разорвались сердца. Узнали об этом люди, схватили девицу и живьем закопали на горе, а рядом похоронили и молодцев. На могилы люди положили камни. Легенду о «Девичьей горе» я впервые услыхал еще мальчишкой от своего деда, а небольшую статью об этом прочитал в 1993 году в энциклопедии «Археология и нумизматика Беларуси», где среди прочего написано: «Девичья гора» — один из самых высоких пунктов этой местности — находится возле водораздела Западной Березины и Свислочи, почти вся заросла лесом. В наиболее высокой северо-восточной части размещено более 20 курганов (высотой 0,5—1,5 м, диаметром в 12 м) и большая яма… Среди находок серебряный головной обруч, концы которого заходят один за другой, обломки гончарной посуды, кольцо и стеклянные бусы 2-й половины XI столетия». Узнав такое о Девичьей горе, я собрал из своих знакомых небольшую «экспедицию», но не затем, чтобы искать сокровища, а просто взойти на гору. И мы

поехали. Побывав вначале в лесу крестов, пошли к Девичьей горе. Гора, поросшая лесом, была похожа на одно огромное дерево, в кроне которого пряталось XI столетие. До вершины добрались почти ползком, хватаясь за ветки дубков и орешника. Необычно высокий папоротник напоминал о папоротниковом лесе, в котором должны были водиться динозавры. Но мы встречали только улиток величиной с кулак. Таких я сроду не видел. На горе нас ждала свежевыкопанная яма и небольшая кучка человеческих костей…

Лесник в деревне — человек известный и нужный. Лес для него — дом родной. Один из моих предков прапрадед Кондрат, который прожил 96 лет, был лесником. И теперь в шуме деревьев слышу его шаги.

Остатки больших дубовых пней, что еще и сегодня можно найти вокруг моей деревни, — это остатки тех деревьев, которые сажал лесник Кондрат. В детстве, когда пасли коров, я с мальчишками жег на лугу эти дубовые пни и грелся. Сгорали пни, но глубоко в земле оставались корни. Оставалась память о лесе…

На запад —
Товарняки.
Лен, рожь,
Сосна и береза…

Смотрю
Из-под руки,
Как юность нашу вывозят.

Так в 1938 году писал Максим Танк. С тех пор поезда из Беларуси идут не только на запад, но и во все концы света. Правда, теперь лен и рожь нам приходится иногда и самим покупать, а не продавать. А вот сосну и березу, как и тогда, при Максиме Танке, от нас везут и везут. И мало кто глядит из-под руки и видит, «как юность нашу вывозят…»

Как волка ни корми, он все равно в лес смотрит. И я живу в городе, и под окнами у меня растут березы, и, казалось бы, живой природы хватает. Так ведь нет, хочется в лес… И хожу я по лесу, как волк, и боюсь, что если что-нибудь случится, теперь в лесу в партизанах не спрячешься…

На возу еду с отцом по лесу. Спрашиваю, что как называется. Отец рассказывает. Изредка останавливаемся, чтобы подобрать сушняк. Едем долго, и меня подмывает слезть с воза и взять и просто нарубить дров, но знаю, что отец сделать этого не позволит. Лес для него, как и для меня, — живое существо, с которым можно поговорить. Говорил и я с елочкой, которую однажды нашел в кустах, что росли за хлевами. Елочка была одинокая, как и я. И я прибегал к ней почти каждый день. Рассказывал ей о том, где был, что видел, что слышал. Читал ей свои стихи. И никто о нашей дружбе не знал…

Со своим маленьким сыном иду по лесу. И боюсь, что он спросит, как называется эта птица, что сейчас так грустно поет…

* * *

Трава седая снега ожидает,
Как будто смерти старый человек,
И, как замерзший дым, трава седая
Белеет одиноко на холме,
Где мы с тобой кострище разложили,
Не зная, что настанут холода.

Тогда огонь мы, как вино, любили,
Червоное, как осенью листва
На молодой, как огнище, осине.
И было нам светло в своей Отчизне,
Мы об Отчизне думали с тобой
Которую вовеки не покинем,
Как листья отлетают в листобой…
Трава седая снега ожидает.
Мы нашей дожидаемся весны,
Когда, как снег, сойдет трава седая
И, будто лед, растают наши сны…

Женщины

По улице идет молодица в короткой юбке. Редкий мужчина не обратит на нее внимание. А как на нее не смотреть, если у нее красивые ноги и на улице весна.

В книжном магазине молодая мама с дочкой перебирают книжки для детей. «Мама, купи мне эту книжку!» — требует девочка. Мать берет книгу и не смотрит, о чем она, а ищет цену. Подержав книжку, кладет ее на полку. Дорого.

Из соседнего дома молодые матери вывели детей на улицу. Сами сели на лавку у подъезда. Курят, о чем-то говорят, смеются. А дети загнали кота на дерево и бросают в него камни.

Каждое утро возле подъезда встречаюсь с женщиной, которая работает дворником. Здороваемся, как добрые знакомые, но как ее зовут, не знаю, как и она ничего не знает обо мне.

Возле церкви с протянутой рукой стоит бабушка. А люди идут и идут и мимо старушки, и мимо церкви. И только ветер срывает листву с деревьев…

На кладбище возле свежей могилы стоит на коленях женщина. Молится и плачет. И свечки огонек трепещет и не гаснет…

Жене позвонила подруга и долго рассказывала о том, как ее муж ездил в Голландию и навез оттуда всякого барахла аж пять чемоданов. Теперь жена мне все это пересказывает. Слушаю и молчу, однако не боюсь, что она скажет, почему я не еду в Голландию, чтобы приволочь оттуда хотя бы один чемодан.

Люблю красивых, соблазнительных девчат. Жёнино счастье, что я невысокого роста!

Какое-то время в газете «Наша Ніва» вел рубрику «Варштаты», где печатались стихи начинающих поэтов. А в ее «Почтовом ящике» давал ответы на те произведения, над которыми нужно было еще поработать. Пожелания были короткими и иногда даже обидными. И, как говорится, писал я, писал и дописался. После выхода одного из «Варштатов» мне на другой день позвонила обиженная поэтесса и сквозь слезы сказала: «У меня вчера был день рождения, а вы мне сделали такой подарок, что я целый день и ночь проплакала. Вы негодяй, и вас убить нужно!» — «За что?» — перепугался я. «А за то, что вы написали про мои стихи в «Почтовом ящике…» И начал я оправдываться, что не нарочно ее покритиковал и что не нужно обращать внимания на критику, ведь критика не всегда бывает справедливой. Молодая поэтесса плакала и продолжала угрожать парнями, которые найдут меня и если не убьют, то как следует отлупят. «Не

нужно меня убивать! У меня дети маленькие…» — стал проситься я, но девица и слушать не хотела. Дошло до того, что я разозлился: «Хорошо! Записывайте мой адрес, и пускай ваши ребята приходят и убивают меня!» И тут поэтесса успокоилась и заявила: «Адрес не нужен. Они и так найдут вас и убьют». Почти неделю после этого разговора я ходил на работу и домой, присматриваясь к молодым людям, пытаясь узнать моих потенциальных убийц. И когда страх мой уже немного прошел, вышел из «Кнігарні пісьменніка», зашел в ТБМ, чтобы посмотреть, какие там новые книжки продаются. Стою, смотрю, никого не трогаю. За мной в ТБМ зашла знакомая преподавательница лингвистического университета и, увидев меня, поинтересовалась: «Уважаемый Шнип, а вашу книжку тут можно купить?» — «К сожалению, нет»… — только ответил я, как молоденькая красивенькая продавщица обратилась ко мне: «Так это вы Виктор Шнип! Живой и непобитый!» — «Я… А что такое?» — спросил я, догадываюсь, что передо мной та молодая поэтесса, которую я обидел в «Варштатах». Слово за слово мы разговорились. А на прощание обменялись своими книжками с автографами. Потом еще несколько раз я заходил в ТБМ, чтобы специально встретиться с девушкой, которая хотела, чтобы меня убили ее парни. И почти через три года, когда стал я забывать мою обиженную поэтку, Петро Васюченко рассказал мне историю о том, как одна из его студенток, которую я раскритиковал в «Нашай Ніве» и в которую были влюблены два парня, чтобы решить, за кого выходить замуж, дала им задание: кто первый найдет Виктора Шнипа и сильней побьет его, за того она и выйдет замуж…

С Людмилой сидим и разговариваем о житье-бытье. Наша Вероника играет с детьми на улице, а маленький Максим спит рядом с нами на кровати и сквозь сон, будто слушая наш разговор, улыбается. И в нашей квартире светло…

Съездил в деревню к маме, будто сходил в церковь на исповедь.

По улице идет молодая женщина в короткой юбке. Она красивая и знает об этом, потому что она женщина.

* * *

Целую вечность у мамы я не был,
Целую вечность я будто и не жил.
И в одиночестве — темень глухая —
Плыл неизвестно куда под водой.
Солнце на небе — листвой золотой.
Ветер подует — она опадает
Мне на дорогу, которой идти,
Будто травой сквозь асфальт прорасти.
Целую вечность у мамы я не был,
Целую вечность без Божьего неба,
И ничего не вернуть мне назад.
В нем затеряться и в нем мне найти
Лист, точно карту, чтоб к дому прийти.

Любовь

В пятом классе к нам перешли учиться ребята из Еленки. Среди них была Зоя Шимель, которая мне сразу понравилась. Она сидела за последней партой, и я время от времени оглядывался на нее.

Зоя не обращала никакого внимания на мои оглядки, и меня от этого еще больше крутило на месте. Я уже тогда писал стихи. И, как Пушкин, который

стихи про любовь писал по-французски, я писал по-русски, потому что казалось, что так получается более поэтично и понятно. Каждый мой стих «пра каханне» был посвящен Зое, и эти стихи, переписав начисто, я пускал читать по классу, надеясь, что их прочтет Зоя и поймет, как я люблю ее. Стихи мои Зоя читала, однако никакой реакции с ее стороны не было, а ко всему, еще в классе начали шептаться о моей влюбленности. И на одном из уроков я передал Зое записку с предложением дружить. Через несколько минут на обрывке промокашки пришел ответ: «Нет!» И сегодня у меня в дневнике для записей хранится это короткое слово…

После отказа Зои дружить со мной я еще больше стал писать стихи про любовь. Но уже не пускал их по классу, а посылал по почте Зое. Девочка получала мои письма, приходила в школу, будто и не читала моих стихов. Я же не переставал писать. И до чего бы я дописался, не знаю, если бы на одном из концертов художественной самодеятельности не услышал, что губы мальчишкам даны в первую очередь не для того, чтобы заклеивать конверты с любовными письмами, а чтоб целовать любимых. Когда эти слова звучали со сцены, мой взгляд встретился с Зоиным, и моя любимая мне показала язык…

В седьмом классе накануне Восьмого марта подарил Зое красивую открытку, на которой написал стихи о любви. Прочитав мое поздравление, Зоя сказала: «Сегодня буду с тобой танцевать…» Услыхав впервые такое от Зои, с нетерпением ждал вечера, когда в школе начнутся праздничные мероприятия. Одним из первых пришел помогать старшим ученикам освобождать от парт класс для танцев. Парты не выносили в коридор, а тут же в классе ставили одна на другую. И вот начались танцы. Я же с ребятами залез на парту аж под самый потолок. Пришла Зоя. Увидела, где я сижу, и стала танцевать с подружкой. И досиделся я под потолком до белого танца. Жду приглашения от Зои, а тут на тебе — ко мне подходит Люда из шестого класса и стаскивает меня с парты танцевать с ней. Потанцевав с Людой, снова залез на парту и увидел, что Зои в классе уже нет. Потом снова был белый танец, и меня снова пригласила Люда. Натанцевавшись с шестиклассницей, вернулся домой, думая уже не о Зое. Товарищи же мои, увидев, как я танцевал с Людой, назавтра утром пришли ко мне и предложили идти в Новый Двор к Люде. И мы пошли. У Люды отец работал в сельсовете, и мы побоялись сразу идти к девочке в дом. Долго стояли возле забора, свистели, звали Люду выйти во двор. Девочка не вышла…

После школы еще почти четыре года писал письма Зое. Она, как всегда, не отвечала. И все же надежду на дружбу не терял и дождался письма, в котором Зоя писала, что она учится в техникуме, где нужно много чертить. Зная, что я учусь в архитектурно-строительном, попросила помочь ей сделать курсовую. Казалось бы, вот тот долгожданный момент, когда могу встретиться с девушкой, которую люблю, но вместо того чтобы встретиться, я ответил, что уже нет того мальчика Вити…

Мама всегда, когда в колхоз приезжали шефы убирать картошку, брала квартирантов. И в сентябре 1980 года тоже взяла студенток политехнического института Аллу и Люду. На выходные я приехал в деревню и познакомился с нашими квартирантками. Все еще думая о Зое, я влюбился в Аллу. Снова стал писать стихи про любовь, снова, когда девушки вернулись в Минск, начал писать письма. Но Алла, как когда-то Зоя, не спешила мне отвечать. Я ходил к ней в общежитие, а у нее все не было времени, чтобы если не в кино, то хотя бы по городу походить со мной. И когда в Доме литератора был вечер, посвященный 50-летию Владимира Короткевича, я отдал ей свое приглашение, потому что мне хотелось, чтобы Алла представила себе, что пройдет время, и я буду таким же, как Короткевич, известным и уважаемым. Но и это мне не помогло. Ко всему, еще однажды,

когда я пришел к Алле, а ее не было в общежитии, услышал от ее подруги Люды, что не нужно мне ходить сюда. Дескать, у Аллы есть парень, который вскорости придет из армии, и она собирается выходить за него замуж. И после этого я к Алле больше не пошел…

8 сентября 1986 года. С однокурсниками стою на кухне литинститутского общежития. Рассказываем друг другу, как и где провели лето. И вдруг слышим, как по нашему коридору стучат женские каблучки. Все притихли: «А к кому же это идут девчонки?» — «К тебе, видать, Витя…» — «Да нет…» — «Иди посмотри…» Я вышел в коридор. И правда, возле моих дверей стояли две девушки. Одна из них была Людмила Рублевская.

Через пару месяцев знакомства с Людмилой мы уже вместе в одном купе поезда «Минск—Москва» возвращались на учебу в Литинститут. И так уж случилось, что кроме нас в купе никого не было. Перед сном я надумал немного пошутить и сказал Людмиле: «Знаешь, хочу тебе сегодня признаться, чтобы потом не было неожиданности. Посмотри, у меня на руке наколка ШЗ, это значит: «Шнип — Зэк». Я отсидел пять лет в тюрьме. А дали — пятнадцать за драку, а выпустили за хорошее поведение и за стихи…» Уже не помню, как потом объяснял Людмиле, что все это я придумал, потому что Людмила моему признанию поверила и после уже, когда мы поженились, рассказывала про свои ощущения от моего неожиданного признания: «Ну что ж, такая моя, видно, судьба — полюбить бандита…»

В первый раз у Людмилы дома с ее матерью празднуем Восьмое марта. Все чудесно, весело, празднично. И вдруг звонок в дверь. Пошла ее мать посмотреть, кто там чего хочет, и вернулась назад с большим красивым букетом для Людмилы. Букет от неизвестного был лучше моего. Я призадумался, но стараюсь быть веселее. Где-то через час снова звонок, и снова букет Людмиле. И тут уже я расшумелся. Кончилось тем, что Людмила открыла балкон и выбросила цветы на улицу.

Где-то за неделю до свадьбы поехал в Грузию получать Всесоюзную премию имени Владимира Маяковского. И так получилось, что смог позвонить Людмиле только за два дня до возвращения в Минск. Все дни и ночи до свадьбы Людмила плакала, а мать ее утешала: «Не плачь, доченька, если этот жених не вернется, Бог с ним. Найдем тебе еще лучшего…»

* * *

В этом дне хотел бы я остаться,
Это наш с тобой последний день.
Можно нам глядеть и не бояться,
Видя в речке ангельскую тень.
В этом дне хотел бы я остаться,
Будто бы от поезда отстать.
Жечь костер, в дыму поцеловаться,
И в лесу, как в вечности, блуждать,
Знать, что ничего не остается
В дне, что уплывет в небытие,
Мальчик, как чертенок, засмеется,
Запустив кораблик по воде.
У реки стояли мы, как дети, —
Остановим время, хоть на час!
Время, точно речка, все на свете
Унесет,
И, будто пепел, нас.

Театр

Впервые в Пугачевский клуб приехали артисты. Эта новость за полчаса облетела всю деревню и ее окраины. Все побросали работу и айда в клуб — кто на велосипеде, кто на мотоцикле, кто на возу, а кто и на тракторе или машине. Я с мальчишками как раз купался в пруду вместе с гусями. И мы, узнав про артистов, едва не потоптав гусей, с криками понеслись к клубу. Вовнутрь войти не смогли и залезли на деревья, чтобы хоть что-нибудь рассмотреть сквозь окна. Но толком ничего не увидели и не услышали — в клубе не работали микрофоны. На деревьях мы сидели, как вороны, долго — часа два. И вот раскрылись двери — и вмиг из клуба, как из порванного мешка, вывалился подпивший дед Никита, следом — несколько доярок и трактористов. Мы послезали с деревьев и бросились к дверям, но из клуба хлынул весь оставшийся народ, и мы в нем исчезли, как вода в песке. Артистов так и не увидели. Правда, когда все разошлись, ко мне подбежал Сашка: «Пошли, что-то покажу…» Он повел меня за клуб и вынул из кармана пустую пачку из-под сигарет, которые в нашем магазине не продавались, и сказал: «Понюхай, как артисты пахнут…»

В школе, несмотря на то, что у меня нет ни голоса, ни слуха, я был одним из активных участников школьной самодеятельности. Меня даже наша руководительница хвалила, но хвалила, наверное, только потому, что я слушался ее и не пропускал репетиции. Выступали по праздникам в школе и в клубе. Соседи моей маме говорили: «Витя твой, видно, артистом будет…» Мама улыбалась, но не отрицала того, что, может, и из меня что-нибудь толковое выйдет, ведь брат же отца Славик несколько лет в свое время проучился в Минском театральном институте. Себя же артистом я не представлял и не думал им становиться. Кроме песен и танцев в нашем репертуаре был небольшой спектакль о партизанах. У меня была роль немца, который охранял железную дорогу и которого партизаны, дав ему колотушкой по голове, взяли в плен. Показав спектакль в своей деревне, мы начали завоевывать зрителя в соседних. Взрослые воспринимали нас нормально, даже плакали, а вот наши одногодки смеялись. А в Гировичах после спектакля во время танцев ко мне подошел мальчишка и сказал: «Артист сраный, если ты еще раз посмотришь своими зенками на мою Марину, я тебе так засандалю по чайнику, что ты на месте копыта откинешь!..» И все же, несмотря на эти неприятности, мы выступали и танцевали с чужими девчатами.

Во время каникул выступлений школьной самодеятельности не было. Но у меня оставалось желание что-нибудь вытворять. Раскладывать костер на крыльце своей хаты или что-либо подобное я уже не мог, понимал, что можно спалить всю деревню. И я придумал поставить спектакль про Буратино и Карабаса-Барабаса.

Со мной согласились брат с сестрой, несколько двоюродных братьев и сестер, а также соседние дети. Распределив роли, подготовив костюмы, на репетиции собирались в лесочке возле деревни. Какое-то время я командовал всеми, однако через неделю моя двоюродная сестра Света стала не соглашаться с тем, как я фантазирую. Кончилось тем, что я обиделся на всех и несколько дней старался, чтоб наш театр развалился. Развала не получилось, наоборот — мама одного из наших артистов пригласила всех в детский сад, чтобы посмотреть наш спектакль. Звали и меня, но я не пошел. Сидел дома и злился. Часа через два пришли мои брат с сестрой и принесли мне кусок торта, который они получили в детском саду. Я ел торт и плакал…

Где-то через пару месяцев после начала занятий в техникуме наша группа надумала сходить в театр. Собрали деньги, купили билеты. Вечером, съев полбатона с молоком, я оделся, как обычно одевался на занятия, а не так, как говорили ребята, что для театра, мол, нужен костюм, белая рубашка и галстук. Мне каза-

лось, что они просто шутят, но когда я зашел в комнату однокурсников, понял, что это не шутка. Я был в куртке, поэтому под ней нельзя было увидеть, что на мне. И я, молча, постояв минутку, тихонько вернулся к себе в комнату, закрылся и лег на кровать. Накрыв голову подушкой, я не слышал, как ребята стучали ногами мне в дверь и что-то кричали…

К моему другу Геннадию Суздалеву из Челябинска в общежитие Литинститута приехала подруга. Пробыла целую неделю. И когда собралась домой, Геннадий пригласил меня к себе на прощальную вечеринку. Выпили, разговорились, и его Наташа, узнав от меня, что мы, прожив в Москве уже почти полгода, ни разу не сходили в театр, пристыдила нас и взяла с нас клятву, что к ее следующему приезду мы все театры обойдем. Наташа уехала, и мы о ней и о театрах быстро забыли. Может быть, ни в какой театр я так бы и не сходил, если бы не познакомился с Людмилой Рублевской. С ней мы обошли почти все театры, и по нескольку раз. Билеты не покупали, потому что нам в Литинституте давался документ, позволяющий ходить в любой театр бесплатно. Правда, сидеть приходилось иногда на полу, но это нас не волновало, потому как такие мы были не одни, и ко всему, еще мы были молодыми и влюбленными. И, возвращаясь однажды из театра, в коридоре возле своей комнаты я встретил выпившего Геннадия Суздалева, который, увидев меня, сказал: «Меня на бабу променял…»

В 1987 году Советом Министров Грузинской ССР за книгу стихов «Гронка святла» мне была присуждена Всесоюзная премия имени Владимира Маяковского. Вручали ее в одном из театров города Кутаиси. Народу полно, душно, светло и празднично. На сцене руководство Совета Министров, Союза писателей Грузии и бог его знает чего, потому что все говорится по-грузински. Меня посадили в зале в первом ряду и сказали, чтобы слушал выступление, и когда услышу свою фамилию, шел бы на сцену. Сижу, слушаю и боюсь пропустить свой выход. И вдруг в одном из выступлений среди незнакомых мне слов я услышал «Виктор Шнип». В зале послышались аплодисменты, и я встал и пошел на сцену, чтобы получить лауреатский диплом и медаль. Иду по сцене, а мне навстречу бежит один из писательских секретарей и по-русски говорит и машет руками: «Иди назад! Еще рано! Иди! Иди!» Рано так рано, и я вернулся назад. Не успел сойти со сцены, как в выступлении снова прозвучало мне понятное «Виктор Шнип», и в зале все встали, и я из-за аплодисментов едва услыхал, как тот секретарь, который меня только что сгонял со сцены, начал звать меня назад. И я вернулся и, получив награду, сказал в микрофон какую-то фразу по-грузински, которую мне дали заучить…

Сижу один, уткнувшись в телевизор. Людмила с детьми пошла в Театр музыкальной комедии, который в пятнадцати минутах ходьбы от нашего дома. Звали меня вместе пойти, но сразу поленился, а теперь хочется пойти, да поздно. Жду, когда вернутся. Смотрю зарубежное телевидение: самолет разбился, корабль потонул, разбомбили сепаратистов, поезд с рельсов сошел, гостиница сгорела, дом взорвался, убили политика, поймали маньяка… И так без конца, будто на свете не осталось ни одного замечательного писателя, музыканта, художника, артиста. Хочется в театр…

* * *

Иосифа Бродского книжку читаю,
И будто сижу с ним за чашкою чая
В той белой России, которой не знаю.
И дымом Отчизны нам дым сигаретный,
И льдистые окна мутны безответно.

И солнце сквозь них, будто кровь, проступает,
За стенкой чуть слышно на скрипке играет
Советский еврей, что Отчизны не знает…
Мы разные люди, но все мы под Богом,
Как подписи черные под некрологом,
Как Бродского стих под обложкою книги,
Как под землею безмолвность Немиги.

Снег

На улице мороз, вьюга. Хочется поваляться в сугробах, но бабушка Ганна не пускает, говорит: «Заметет снегом, как зайца, а мне тогда ищи тебя. Сиди дома…» И я сижу, смотрю в окно. И вдруг возле погреба вижу белого, точно вылепленного из снега, голубя. Ничего не сказав бабушке, выбегаю на улицу. Голубь не улетает — почти окоченел. Точно комок снега, несу птицу в дом. Прогнав с печи кота, заворачиваю голубя в платок, кладу на теплое место и иду в комнату к бабушке. «Ну что, уже на улицу сбегал?» — спрашивает бабушка. И я, рассказав о голубе, зову ее посмотреть на птицу. Идем к печи, а на ней — как снежинки, белые голубиные перышки. И бабушка мне говорит: «Полетел твой голубок в теплые края, где никогда не бывает снега…»

...Было это давно, и у нас не было телевизора. У соседки был — маленький, черно-белый и всего с одной программой. А мне, мальчонке, так хотелось посмотреть мультики! Правда, иногда выпадало счастье, когда соседка пускала детей в хату «на кино». И уже сидели возле телевизора, будто возле костра, в котором печется бульба, и ждали. Каждый ждал чего-то своего. А меня звала мама домой, чтобы шел помочь по хозяйству. Чаще всего приходилось поить корову и давать ей сена. Я работал с охотой, потому что потом снова мог бежать к соседке. И все же телевизора мне не хватало, и он мне часто снился, как далекие теплые страны, которые часто приходилось видеть по тому же телеку. И вот в один из зимних дней соседка куда-то уехала и оставила маме ключи от дома. Мама, сделав все что нужно у соседки по хозяйству, повесила ключ на гвоздик. А я этого только и ждал. Мама из дома, а я за ключ — и скорее к соседке. Включил телевизор и смотрю. Как раз показывали сказку про Снегурочку. Снегурочка хорошая-прехорошая, и когда она в конце фильма исчезла, я заплакал. И решил идти в лес искать Снегурочку, чтобы признаться ей в любви. Сначала хотел вынести из дома вазон, чтобы в знак своего внимания подарить Снегурочке, но передумал, мама заметит пропажу. По дороге в лес сочинил стих для Снегурочки. Долго копошился в сугробах, звал, но она так и не показалась. «Видно, боится», — решил я и сказал Снегурочке, что если я ей нравлюсь, пускай она возьмет мой стих себе на память, а я завтра приду за ответом. И, написав стих на снегу, пошел домой. Спал плохо, ждал утра, и как только развиднелось, побежал в лес. Стихотворения на снегу не было. И я еще больше поверил в Снегурочку и совсем даже не подумал, что ночью была метелица и она замела и мой стих, и мои следы.

…У одноклассницы Таньки зимой умер отец. Было ему чуть за сорок. И нас, ее одноклассников, повезли на санях в Дубравы на кладбище. День был солнечный, даже будто теплый. Я впервые видел, как умершего человека закапывают в землю, и по дороге назад думал о смерти. И вдруг услышал крик нашей учительницы: «Витя! Убери пальцы!» В этот момент наши сани разминулись со встречными, так, что ударились о наши, и как раз по моим пальцам. Боли я не почувствовал и даже не испугался, когда на заснеженную дорогу закапала кровь.

…Наконец-то выпал первый снег. И каждый год в это время мы колем кабанчика. Отец не колет — боится, и мама, как повелось, зовет дядьку Толю из Татар.

И на этот раз все делал дядька, правда, сказал: «Учись, Витя, ты уже большой». И мне пришлось ему помогать. Потом во время застолья дядька Толя вспомнил меня совсем маленького и что-то обидное сказал мне. И, когда дядька был в добром подпитии, мама попросила, чтобы я проводил его домой и помог нести машинку, которой смолили кабана. Я с радостью согласился и по дороге незаметно выпустил в снег из его машинки весь бензин. По дороге назад я следил глазами за бензиновой ниточкой на снегу, как за ниткой Ариадны, про которую я, деревенский мальчик, еще ничего не знал…

…Проснулся среди ночи от криков на улице: «Пожар!» Горела уже в который раз хата Руткевича. Мама с отцом, схватив ведра с водой, побежали на пожар, а мы, дети, уткнулись в окно. Снег был красный, и казалось, что горит все вокруг. Потом страшная краснота, будто кровь, всосалась в снег, и домой вернулись отец с матерью. Утром я пошел смотреть на Руткевичеву хату. Она была черная, как огромный кусок угля, который пробился на этот свет сквозь толстенные сугробы и, испугавшись своего появления в нашей деревне, застыл, весь облепленный ледышками и почерневшим снегом. Я подошел ближе и в саду под яблоней среди обледеневшего тряпья увидел противогаз. Но мне он показался обгоревшей человеческой головой, у которой от ночного ужаса повылазили глаза, и я, не разбирая дороги, по черному снегу быстрей побежал домой.

...Приехал из техникума в деревню на Рождество. Зашел ко мне сосед Сашка и уговорил идти вечером вместе со всеми ребятами завязывать людям двери в хатах и снимать ворота. Собралось нас возле клуба человек двадцать. Выпили самогонки, чтоб смелее было, и пошли к конюшне, где еще днем приглядели воз. Впряглись и поехали по деревне. Снимали ворота не у всех, а двери так и вообще передумали завязывать, чтоб не нарваться на какого злого хозяина. Подъехали к школе, и тут вдруг началось — все бросились ломать школьный забор, будто перед концом света. От шума и треска проснулся школьный сторож, выбежал на крыльцо и давай стрелять из ружья. Куда он стрелял, не знаю, но нас как корова языком слизала — разбежались кто куда. Меня нечистая погнала через заборы в колхозный сад. Бегу по сугробам, как подстреленный. Боюсь остановиться, потому что кто-то бежит рядом. Наконец остановился, смотрю вокруг, прислушиваюсь. А возле школы крики, стрельба, и даже во всей деревне свет погас (Сашка побежал на подстанцию и отключил). Сколько я прятался в саду — трудно сказать, но через некоторое время из-за туч выплыл молодой месяц и чуть посветлело… Домой вернулся часа в четыре ночи. Родители спокойно спали.

…Дед рассказывал. Зима была вьюжная. И как-то раз с самого утра он отправил на санях своего сына, моего отца, в соседнюю деревню отвезти мешок муки свояку. Дорога небольшая, но прошло уже полдня, а парень не возвращается. И вышел дед на дорогу, чтоб посмотреть, не едет ли кто. И видит — вокруг болотца, что между Пугачами и Татарами, батя мой елозит на санях. Пришлось деду идти и самому брать в руки вожжи, потому что отца моего полдня вокруг болота леший водил.

…Выбрался наконец-то в деревню. Еду в автобусе, дремлю, и вдруг уже за Раковом шофер останавливается и говорит: «Все, вылазьте, дальше не поеду — всю дорогу замело!» В автобусе оставалось человек пятнадцать, но все послушно вышли и потопали к своим деревням. До моих Пугачей оставалось километров десять, и я тоже поплелся вместе со всеми. Через какое-то время наша компания распалась, а я вообще остался один. Несколько раз обгоняли машины, но ни одна не остановилась. И когда до дома оставалось километра три, возле меня остановился фольксваген и послышался голос: «Поэт, садись — подвезу, а то, смотрю, не доползешь до дома…»



Засыпаны снегом дома и заборы
Засыпаны годы былые, просторы,
Где мы молодые, как утренний снег,
Что будет назавтра капелью со стрех
На землю стекать и в земле исчезать,
Чтоб снегом опять хоть когда-нибудь стать.
Засыпаны снегом дома и заборы,
И ты, как святой, в этих белых просторах
По белому свету бредешь без дороги
По тучам, по белым селеньям убогим,
Что здесь появились, как утренний снег,
Что будет наутро капелью со стрех
На землю стекать и в земле пропадать,
Чтоб ветром в деревьях невидимых стать.
И снегу, как птицам, кружить и кружить,
И хочется плакать, и хочется жить.
Вот в этих, засыпанных снегом домах,
Как будто в далеких забытых годах,
Где мы молодые, как утренний снег,
Что хлынет назавтра водою со стрех,
На землю, забытую Богом, мою,
Которую так же, как ты, я люблю
За эти в снегу и дома, и заборы,
За годы былые, былые просторы…

Книжная лавка

Книжной лавки в моих Пугачах никогда и не было. В магазине кроме хлеба, консервов и водки всегда можно было купить еще то да се, но только не книгу. А мне так хотелось купить книгу! И ходил я в наш магазин почти каждый день. И смотрел на полки за широким прилавком, и спрашивал у продавщицы, есть ли сказки. Тетка удивленно смотрела на меня и однажды сказала: «Каску можно купить в Ракове, где мотоциклы продаются…» Я не понимал продавщицу, а она не понимала меня. И все-таки в пятом классе я высмотрел на одной из полок среди бутылок «чернила» книгу. Небольшую, немного пожелтевшую и помятую, с конкретным названием — «Книга». Несколько дней я ходил возле зерносклада и искал пустые бутылки, сдавал их в магазине и, когда набралось полтора рубля, обратился к продавщице с просьбой: «Дайте мне книгу…» Тетка не сразу поняла, что я прошу, и переспросила: «Чего дать?..» — «Книгу…» — повторил я и показал, где она стоит. Продавщица, посмотрев на «книгу», покраснела, сняла с полки и, подержав ее в руках, закричала: «А что же я тебе это, паразит ты этакий, сделала?! Вот уже выучился! «Книгу» ему подавай!» Я выскочил из магазина и побежал домой. Вечером вернулась мама с работы и сразу же ко мне с расспросами: «Ты что там в магазине натворил?» — «Ничего. Я только хотел купить книгу…» — «Какую книгу?» — «Ту, что на полке стоит…» — «Так это же «Книга жалоб»…

Приезжая в Воложин на литобъединение, которое я организовал в 1980 году при газете «Працоўная слава» и которым пять лет руководил, всегда в первую очередь заходил в книжный магазин. Иногда покупал там то да се, но тех книжек, которые меня интересовали, не находил на полках. И однажды я пожаловался своему земляку поэту Петру Бителю, что вот сколько уже езжу в Воложин, а все никак не могу купить себе ни одной толковой книги. Петро Иванович утешил меня: «А ничего ты и не купишь. Подойди к заведующей и скажи, что ты поэт, и все будет, что захочешь». Но так, как посоветовал Петро Битель, я делать не

стал. И все же познакомился с заведующей. Женщина, узнав, что я покупатель не простой, повела меня на склад: «Выбирай что хочешь». С тех пор, приезжая в Воложин, я сразу шел на склад…

Было время, когда в «Кнігарню пісьменніка» я заходил как обычный покупатель — ни я никого не знаю, ни меня. И вот вижу среди посетителей знакомое со школьных лет лицо одного белорусского писателя. Он с внучкой. Подхожу ближе и слышу, как он говорит по-русски: «Нет, эту книгу я тебе не куплю…»

В Минске в Центральном книжном магазине в конце 70-х — начале 80-х годов в белорусском отделе работала поэтесса Светлана Коробкина. Возле нее вечно стояли люди. Частенько останавливался и я. Светлана, кроме того, что всегда при встречах жаловалась на свое плохое здоровье и нелегкое житье-бытье, рассказывала, что творится в литературной среде. Да и ей все про все рассказывали. Однажды прихожу, а Светлана уже беседует с каким-то незнакомцем. Подходят покупатели, спрашивают, есть ли та или иная книга. Часто интересуются, можно ли купить Алеся Рязанова, на что Светлана отвечает: «Пока еще нет…» И вдруг вопрос: «А Короткевич продается?» — «Короткевич не продается!» — ответил наш собеседник. И когда все разошлись, Коробкина прошептала: «Запомни этот день, ты с самим Владимиром Короткевичем разговаривал…»

Как-то прихожу в Центральный книжный, а на месте Светланы Коробкиной стоит незнакомая девушка. Красивая и совсем молоденькая. И понравилась она мне. И стал я почти каждый день ходить в книжный магазин не книжки покупать, а только чтоб посмотреть на продавщицу. Смотрю на девушку, а познакомиться не отваживаюсь. И ходил я до тех пор, пока не встретился там с Миколой Шеляговичем, который успел познакомиться с красавицей. Сейчас она жена Миколы.

После занятий в Литинституте, получив стипендию, одни шли в магазин за водкой, другие — в книжный магазин на Кузнецком мосту. На первом этаже книги продавались для всех. На втором же, если поднимешься по узенькой скрипучей лестнице, можно, если у тебя есть членский билет Союза писателей СССР, купить то, что нигде по обычной цене не купишь. Я «На Кузнецкий мост» ходил часто, и теперь в моей домашней библиотеке есть все, что мне нужно для души. Однажды после занятий пришел ко мне писатель из Минска и говорит: «Поезд у меня еще не скоро. Давай, своди меня куда-нибудь...» И я повел его «На Кузнецкий мост». Когда мы зашли в магазин, писатель говорит: «Ты куда это меня привел? Это же ведь не ресторан!…»

В Москве был книжный магазин «Дружба», где продавались книги, выходившие в издательствах всего мира. Где-то пару раз в месяц я приходил туда. Покупал книги только по искусству. Белорусских же изданий в «Дружбе» не было, и я, чтобы почувствовать себя иностранцем, иногда звал с собой поляков и разговаривал с ними в магазине по-белорусски. И смотрели на меня иностранцы как на иностранца…

С родителями приехал в Раков. Мама пошла в церковь, отец — в магазин за сигаретами, а я с сестрой и братом — в книгарню… Каждому свое…

* * *

Казалось бы, зачем опять писать
На языке, что, как и ты, уйдет,
Писать, как на себе рубаху рвать,
И прокричать, что Беларусь живет.

Казалось бы, зачем мне дальше жить
В краю, где будто иностранец ты
Жить, как наперекор теченью плыть,
И выходить на свет из темноты,
И видеть, будто Бога, синеву…
Светлее мне, светлее от того,
Что только Тут я, как хочу, живу
И знаю, почему и для чего.

Огонь

Зимним вечером у бабушки Ганны собирались соседки. И пока хватало керосина в лампе, пряли шерсть и пели. Я слезал с печи, смотрел, как вертятся коловороты и как время от времени женщины поправляют фитиль, чтобы лучше горел огонь. Под не очень веселые песни и глухой шелест коловорота я засыпал. И тепло мне было на печке, в которой жил огонь, которому все поклонялись в доме. И сегодня, вспоминая то далекое время, я, как бабочка, летящая к огню лампы, лечу душой в детство и обжигаюсь о то, чего уже нет и больше никогда не будет.

Воскресенье. В школу идти не нужно. Отца с матерью дома нет. И я, достав из шкафа все лекарства и одеколон, занимаюсь химией. Мои младшие брат с сестрой, разинув рты, смотрят, что будет дальше. А дальше я взял пряжу, намочил в своей химии, подвесил и поджег. Нитки горели хорошо и дымно. Брат с сестрой аж пищали от новых впечатлений. Но пришла соседка, и я убежал из дома в лес. Сидел там дотемна… Назавтра мама привела местного милиционера, который меня долго пугал тюрьмой. Похоже, напугал, но через какую-то неделю я развел огонь возле стены хаты. И снова мне досталось от родителей. И опять приходил милиционер и советовал отвести меня к знахарю: «У него какая-то страсть к огню! Боюсь, что вы нам всю деревню спалите…»

Был такой праздник — День пионерской организации. Каждый год в это время учителя во главе с директором вели школьников в лес, где на поляне, выложив из камней звезду, жгли костер. Попадали на празднование только заслуженные. В седьмом классе взяли и меня. Костер мы разложили большой. Учителя провели торжественную линейку и, наказав нам петь «Взвейтесь кострами, синие ночи», ушли неизвестно куда. И скоро «Взвейтесь кострами…» звучало так, что хоть ты уши затыкай. Чем бы этот праздник закончился — неизвестно, но к нам на поляну из лесу вышел какой-то дед с дубиной и закричал: «Что это тут делается?! Вон отсюда!!» И разбежались мы по лесу, как огонь по сухой траве…

Отец гонит самогонку. Я иногда заглядываю к нему с вопросом: «Сколько уже там натекло?» И где-то в полночь отец сам уже зовет меня, чтобы помочь убрать аппарат. На столе полное ведро. Отец пробует, позволяет мне обмакнуть палец и облизать. Самогонка теплая и пахнет хлебом. «Неси бумагу, посмотрим, как горит», — говорит отец и достает спички.

Я мочу бумагу и подношу к огню. Самогонка капает и горит синим пламенем. Отец усмехается: «Так же будет и утроба гореть…»

Поздно вечером из Минска еду в деревню. На въезде в Раков, где вдоль обочины кладбище, видна россыпь огней на католических могилах, кто-то говорит: «Посмотрите, как поляки понапивались, аж свое кладбище подожгли…» А в ответ: «Сегодня католические Деды…»

С братом приехали домой. Мороз под тридцать. На кухне нет воды — перемерзла труба. Мама попросила разморозить, а сама ушла. Ну мы и взялись за работу. Принесли газовый баллон и стали греть землю, где лежит труба. Где-то через полчаса я отправил брата в хату, чтобы посмотрел, потекла ли вода. Володя пошел и тут же прибежал назад: «Пол горит!» Я — в дом, а там дыму — аж черти скачут. Добрался кое-как до крана, покрутил, а из него как зашипит, как бухнет ржавым паром — просто конец света. А в дыму слышу незнакомые голоса и мамин: «Проходите. Не бойтесь, это мой Витя мне воду размораживает…»

В общежитии Минского архитектурно-строительного техникума на кухне монгол жарил селедку. Газовая плита одна, поэтому всегда очередь. Жарит монгол селедку полчаса, час, а все она недожарена. Смотрел на все это египтянин, смотрел и взял да и схватил горячую сковороду и хлопнул ею монгола по голове. И тут началось. Монголы выключили во всем общежитии свет, наломали ножек от стульев и начали бить всех подряд арабов. Через полчаса приехала милиция и забрали нашего хлопца, который их и вызвал. А на кухне долго была отключена газовая плита. Как нам сказали, в противопожарных целях.

С зимних каникул вернулся в Москву на пару дней раньше. Казалось, что никого в общежитии на моем этаже, кроме меня, нет. Но среди ночи проснулся от песен в коридоре. Выглянул за двери, а там на кухне на цементном полу горит костер, а вокруг сидят тувинцы и пьют водку.

Прозаик Алесь Асташонок попал в больницу. С собой у него был кипятильник. И захотелось ему попить чайку. А тут вдруг доктор в палату заходит и зовет его на уколы. Алесь вытащил кипятильник из чашки и, не вытащив его из розетки, спрятал под подушку… До конца дня больного выписали домой.

Как-то выбрался с сыном Максимом в деревню по грибы. Собрали немного и присели на опушке леса подкрепиться. Я разложил костер. Неожиданно к нашему дымку подошла молодая женщина, что неподалеку с детьми пасла коров. Не спрашивая, присела рядом. Вынула из торбы бутылку из-под минералки и предложила: «Попробуй моего сока…» Я сразу понял, что это за сок, и, немного поотнекивавшись, отпил пару глотков. Выяснилось, что женщина родом из Ракова, а в Пугачи вышла замуж. Узнав, кто мои родители, повеселела: «Я знаю, это ваш брат поэт. Такой лысый. Каждые выходные приезжает и копается в грядках…» Я слушал пастушку и помешивал в костре, а Максим мне шептал: «Я маме расскажу, что ты с тетей говорил…»

На улице почти у самого подъезда дворник сжигает желтые листья. Дым заполняет двор, улицу. И уже не виден Храм, в котором у икон горят свечки…

* * *

Исчезло время, будто свет погас,
Мы есть еще, но нету больше нас,
Как и тепла, что будто кровь текло
Меж тем, что будет, было и прошло.
Зажгу я свечку — сотворю свой свет,
И дом мой понесется, как конверт
Из мертвой тьмы, как из сырой тюрьмы,
Напомнить Богу, что еще есть — мы,
Как будто в стенке ржавый гвоздь сидит
И где икона, как фонарь, висит.
Исчезло время, будто свет погас…
Мы есть еще, но нету больше нас…

Деньги

В Легезах магазина нет. А в то далекое время вообще не было ни электричества, ни проводного радио. И как-то взял меня дядя Витя съездить в Ершевичи купить в «железном» магазине дверцы для печки. Приехали. Дядя Виктор пошел в магазин, а я остался сторожить лошадь. Сижу на возу, разглядываю улицу. И вдруг над собой слышу: «Московское время — двенадцать часов!» — и заиграла музыка. Я соскочил с воза и побежал к дядьке в магазин. Он испугался: «Что случилось?!» — «Столб говорит!» — ответил я. В магазине все засмеялись, а дядька мне объяснил, что к столбу приделано радио.

Чтобы мне купить перед школой что-нибудь теплое на плечи, мама взяла меня в Раков на базар. Ходим, прицениваемся. И вдруг широкий дядька с рыжим толстым мальчиком бросается к маме: «Нина! Еле узнал тебя! Здорово!» Мама поздоровалась, начала расспрашивать про житье-бытье. «Все нормально! Видишь, я женился. Нужно было тебе выходить за меня. Растили бы вот такого сына…» — и дядька показал на своего рыжего мальца. Мама похвалилась, что у нее трое детей. А я спрятался за маму и, представив себе, что я мог быть таким же толстым и рыжим, показал мальчику язык.

Раньше каждое лето в июле родители, насобирав несколько мешков крыжовника, ездили в Городок сдавать его. Этого дня я ждал, как праздника, потому что мог попросить, чтобы они мне там купили какую-нибудь книжку. Так у меня появились «Полесские робинзоны», «Мы с Санькой в тылу врага» и «Белорусские народные сказки». И однажды отец снова взял меня в Городок. Едем, и я от радости рта не закрываю, лопочу как заводной, а тут навстречу едет какой-то дядька и спрашивает: «Толя, куда это ты хлопца везешь?» — «В Городок продавать!» — ответил отец и стал погонять лошадь. И я уже всю дорогу сидел молчком и думал, как батя меня будет продавать.

Накупив «чернила», Галин Сашка несколько дней не выходил на работу — пил. Да и пошел на свой коровник еще непроспавшимся. И так уж случилось, что включил он там какой-то мотор, а тот возьми да и сгори. А перед тем несколько дней подряд заведующая коровником кричала Сашке: «Спалишь мне мотор, в тюрьму посажу!» И пошел Сашка из коровника домой. По дороге купил бутылку «чернила», выпил и дома повесился в хлеву.

После занятий в Литинституте я пошел с поляком Анджеем в магазин покупать лампочки. Продавщица была молодая и красивая. И мы решили с ней познакомиться.

Анджей представился венгром, а я чехом. Говорили долго и даже проводили девушку на электричку в Мытищи. Назавтра, ничего не сказав Анджею, я пошел снова за лампочками и рассказал знакомой продавщице, кто мы такие. И девице стало грустно…

Повезли нас на экскурсию в Ясную Поляну на могилу Льва Толстого. Ехать далеко, и наши девчата время от времени останавливали автобус, чтобы сбегать в магазин. А в магазинах, кроме водки, «чернила», камсы и солянки, ничего нет. Девчонки злятся, а нам весело — есть что выпить и чем закусить. Приехали в усадьбу Толстого, а там женщины стоят с полными ведрами яблок. Понакупали мы яснополяновских яблок полный автобус. И, осмотрев дом Толстого и сходив на его могилу (в еловом лесу черный холмик земли, без креста), поздно вечером возвращались назад, пили вино, ели яблоки и пели песни. А у меня перед глазами светилась стежка, усыпанная золотой осенней листвой. А по ней черная змея, которая переползла мне дорогу, когда я шел ко Льву Толстому…



С Людмилой Рублевской. Москва. 1987 г.

В Москве Людмила предложила: «Давай сходим в «Седьмое небо» на Останкинской башне!» Оценив свои финансовые возможности, я согласился побаловать свою невесту в «Седьмом небе». Приехали в Останкино. Посмотрев на пятисотметровый «Шприц», я сказал: «Не полезу. Башня упадет…» Пока не упала, но уже горела…

Позвонили в дверь. Открываю. Стоит женщина с трехлитровой банкой: «Купите свежего меда! Недорого. Весь продали на Комаровке, а этот остался…» Дает попробовать. Вроде бы нормальный мед. «Сколько просите?» — «Пять…» — «Дорого»… — «Ну, тогда четыре…» Подошла жена на голоса: «Что тут такое?» — «Мед покупаю…» — отвечаю я. «За три с половиной…» — добавила продавщица. «Берем…» — радостно сказал я. «Подожди, я схожу к соседям. Пусть поглядят на мед», — предложила жена и ушла. Пока она ходила, я совершил покупку. Отнес мед на кухню и стал переливать его в поллитровые банки, чтобы отвезти в деревню маме и дать теще. Мед в банки не течет. А жена смеется: «Так это же сахар переплавленный!..»

Пришел сосед-бизнесмен с милицейской дубинкой и говорит: «Я только что ругался с милиционерами. Ударь меня дубинкой, а я схожу сниму побои и скажу, что меня милиционеры били. Мы с них сдерем добрую копеечку!» Я отказался, а сосед сказал: «Ну, эти писатели!» И ушел.

* * *

Вечер тонет в грозовых зарницах.
И фонарь под окнами боится
Утонуть — ведь он совсем один —
Рыжий в темном небе апельсин.
И гляжу сквозь райский лес дождя
На дорогу, как на реку, я.
Там плывет во тьму, кружась едва,
Одинокая, как мы, листва.

Мне за нею хочется уплыть
И о смерти тихо говорить,
Как о сне, что вдруг пробрезжит им,
Точно белый Иерусалим.
Дождь пройдет и выплывет рассвет,
Загорится свечками в траве.
Мокрые цветы, как очи мамины,
И сейчас же просветлеет в храмине,
И захочется нам снова жить
И совсем про смерть не говорить…

Школа

В Легезах школы нет. Мои друзья Сашка и Люда пошли в первый класс в Русаках, и мне одному стало скучно гулять. И я, когда дома никого не было, придумал, чтобы своих друзей переманить с учебы к себе, — на крыльце возле самых дверей хаты разложил костер. Дом не сгорел. А я, убежав от прута дяди Вити, полдня сидел в кустах, проклиная школу, которая забрала моих друзей.

Когда утихла метелица, меня отпустили из дому с санками на Бакачовскую гору, заросшую сосняком, покататься. Пришел, катаюсь и вдруг вижу — из Русаков идет целая банда детворы с корзинами и мешками. Кричат что-то, смеются и на ходу снимают пальто. И я, долго не думая, бросил санки и побежал домой. Рассказал тете Алле про детей с мешками и корзинами и красными галстуками и услышал в ответ: «Да ты не бойся их! Это пионеры пришли шишки собирать для школы!..»

В первый класс я пошел в Пугачевскую восьмилетку. Был маленький, задрипанный, и меня посадили на первую парту с дочкой председателя колхоза Розочкой. Сижу с ней месяц, сижу два, и как-то по дороге домой встретили меня старшие ребята и спрашивают: «С кем это ты сидишь за одной партой?» — «С Розочкой Либинской…» И объяснили мне хлопцы, с кем это я сижу, и что если буду и дальше с ней сидеть, то научат меня без всякой школы, как Родину любить. И назавтра я не пришел учиться — просидел в кустах целый день… И что было бы дальше — не знаю, но тут начались осенние каникулы, а потом и сама Розочка Либинская не пришла в школу — с родителями уехала в Израиль.

Я и Гришка Сосновский, подученные одноклассниками, чернилами выпачкали учительский стул. Пришел директор разбираться. И наши одноклассники сразу нас выдали. Повел директор нас в учительскую, чтобы мы там признались перед всеми, что это мы напаскудили. Мы не признавались, но когда нас стали пугать тем, что будут бить по пальцам деревянной линейкой, а линейка была выпачкана красными чернилами, будто кровью, Гришка признался. А я плакал и молчал…

В пятом классе мои одноклассники узнали, что я пишу стихи. И через некоторое время об этом знали почти все в школе. И стали ко мне приставать старшие: «Напиши стих про любовь, напиши стих про любовь…» И я выполнял заказы. Отбою не было. Учителя в большей части к моей писанине относились скептически: «Сын доярки и пастуха — поэт? Смех!..» И только молодой физик Петр Налецкий, на которого мы, школьники, смотрели как на чудака, грустно усмехнулся. Никто не знал, а он (после того как я закончил школу, признался мне) писал стихи…

Иду домой с электрички. За Дубровами на Долгой горе из лесу выбегают ребята: «Поэт, иди сюда, почитай нам стихов!» Смотрю, знакомые из Татарских. «А почему вы не в школе?» — спрашиваю. «А мы вчера были!» — отвечают и зовут с собой подальше от дороги в лес. Возле шалаша костер и человек десять школьников. Курят, пьют самогонку, ругаются. Сажусь на бревно рядом. Самый старший, Дима Варикаш, кричит: «Девчата! Не бойтесь, идите сюда, мы вам поэта привели!..» И пришлось мне этим «партизанам» читать стихи.

Разъехались мои одноклассники кто куда. Зоя Шилаль попала в Молодечно. Долго мне хотелось отыскать ее, и где-то в 1980 году, зимой, мне рассказал отец о том, как он был в Еленке от колхоза и покупал для коровника у людей сено. Как раз продали сено и родители Зои. За чаркой разговорились. И узнал мой отец о том, что она теперь замужем, и девочка, которая бегает в доме, — это Зоина дочка…

Идем в Пугачах по улице. Рассказываю жене и детям где кто живет и что где было. Останавливаемся возле большой ямины, полной воды и поросшей камышом. «А тут стояла моя школа!..» — говорю я, и сын спрашивает: «А что — твою школу разбомбили?»

В Кутаиси во время празднования Дней Маяковского повели нас, гостей-поэтов, в школу выступать перед детьми. Мы обращались к присутствующим по-русски, а они нам пели грузинские песни. Мы им обещали делать все, чтобы и дальше крепла дружба между народами Советского Союза, а они нам повязали пионерские галстуки. Это было двадцать лет назад, но это было…

После техникума пошел подработать грузчиком на ликероводочный завод «Кристалл». Попал в окружение алкоголиков и бывших зеков. Работаю день, два, и тут один громила спрашивает: «Ты, ежик, в школу ходил?» — «А что такое?» — «Почему же тебя по-русски балакать не научили?» Пришлось признаться, что пишу стихи. И тогда громила сказал: «Ежика не трогать! Он про нас поэму напишет!»

Помогаю маме выбирать бульбу. Рядом с нашими сотками по дороге в Дубравы на кладбище идет дочка соседей. Мама рассказывает: «Разумная девушка. Учительница. А вот в жизни не повезло. Год назад народила дитя, а оно померло. Да и теперь тяжелая, с мужиком не живет: мужик — пьяница». Идет по дороге учительница, и несутся машины мимо, и не останавливаются…

Теперь в Пугачах новая двухэтажная кирпичная школа. Одиннадцать классов. Вывеска на белорусской мове. И за нею живет белорусчина…

* * *

И снова стучат в наши двери —
А это уж ночь на дворе.
Обои совсем почернели
По этой осенней поре.
Стыдиться мечты я не буду,
Я серое небо люблю,
И долларов сотку добуду,
И что-нибудь, может, куплю.
И будет все так, как сегодня —
И чай и дымок сигарет,
И яблоки на подоконнике,
И книги, и куча кассет.

И музыки тихой струенье,
Как будто архангелов пенье,
Что неподалеку живут
И как-то меня берегут…

Вода

Мне было года четыре, и жил я у бабушки Ганны в Легезах. Деревенька небольшая — всего с десяток хат. Электричества нет, зато у каждого хозяина свой колодец, а то и несколько. У бабушки было три. Один колодец — во дворе, другой — в конце сада, а третий — за забором на колхозном лугу (при поляках луг был наш). И меня на «наш луг» отправляли пасти гусей. Пастух из меня был неважнецкий. И так получилось, что я упал в колодец. Но до воды не долетел, потому что в колодец, который отобрали Советы, деревенские стали бросать всякое ломье.

Между Легезами и Крапивниками — Ершовка. Для кого — просто речушка, а для меня, мальчишки, — межа, за которой неведомый мир. И чтобы без помощи старших очутиться там, нужно не только не бояться крапивнических мальчишек, но и знать, где брод. И напросился я вместе с дядей Витей съездить через Крапивники в Ершевичи. И ехали мы на лошади через речку и вода смывала с воза солому, и она плыла по воде, как осколки осеннего солнца. И крапивнические мальчишки смотрели на меня как на нарушителя границы…

После грозы, которая неожиданно началась и кончилась, выбежал на улицу. Смотрю — в лужах копаются куры и что-то клюют. Подбежал поближе — рыбу! А дядя Витя, набрав рыбы, сказал: «С неба свалилась. Смерч принес...»

В 1967 году я пошел в первый класс Пугачевской восьмилетки. И тогда же экскаватор разделил траншеей нашу улицу — проводили водопровод. Кто хотел — провели воду в дом. Долгое время траншею, в которой уже лежали трубы, никто не засыпал. И я часто по этой траншее шел с приятелями в школу, а потом назад. Грязные были как черти. Неизвестно, сколько бы еще была эта траншея, если бы однажды в ней не нашли мертвого мужика…

Собирая грибы, набрел на повешенную собаку. Испугался. Лежал с температурой, пока не пришла бабка Параска и не перелила через печную задвижку воду и не дала мне попить.

Баня в Пугачах одна на всю деревню. Летом мало кто в нее ходил, мылись кто в пруду, кто в речке, а кто где получится. Не знаю, кто где и как мылся зимой, а мы мылись в бочке с водой, которая получалась от растаявшего снега, когда гнали самогонку. Вода получалась теплая и пахла брагой. И чем чаще родители зимой гнали самогон, тем чаще мылись мы, дети…

Мама работала в коровнике дояркой. Когда было много работы, она брала с собой меня, чтобы помогал доить. И я доил и знал, что мамин заработок зависит от того, сколько она надоит литров молока. И, замечая за другими доярками, однажды я сказал маме: «Давай и мы в молоко нальем воды…»

Во время паводка, начитавшись «Полесских робинзонов» и подговорив соседских пацанов путешествовать, стащили со стройки корыто, в котором замешивали цемент. Почти целый день заливали смолой дыры. Даже придумали название своему кораблю — «Бал-Шни-Бал-Рут» (укороченные фамилии нашей

четверки). Ночью побоялись плыть и оставили просмоленное корыто в кустах на небольшом островке в болоте. Утром, убежав от родителей, по дороге встретили строителя, который волок свое просмоленное корыто и ругался…

Сижу с родителями возле хаты. Расспрашиваю, как и почему так называются окрестные луга. «За Ганьчиными сотками Малышевка…» — говорит батя и объясняет: «Еще при поляках там была речка. Теперь сеножать, а название так и осталось…» Осталось одно название и от Рябиновки — это уже на моей памяти…

На втором курсе архитектурно-строительного техникума жил в общежитии. В конце весны приболел ангиной. И как-то вечером зашел к однокурснику Володе Харламову. С ним почти никто не дружил, и жил он с монголами. Моему приходу они обрадовались. «Садись, сыграем в шашки. Кто проиграет, тот выпьет банку воды!» — «Я так играть не буду!» — «Будешь!» — и монголы шутками и угрозами заставили меня играть. И я сразу же проиграл. «Пей!» — монгол протянул мне большую банку. «Не буду. У меня ангина!» — «Пей! А то прибьем!» Я плакал и пил воду. А монголы смеялись… Осенью, приехав на занятия, я встретил Володю Харламова, от которого узнал, что летом те монголы, которые заставили меня пить воду, утонули в Минском море…

Поздней осенью нас, вээлкашников Литинститута, повезли на экскурсию в Суздаль и во Владимир. Наш куратор Нина Аверьяновна, которая, по моим ощущениям, в свое время была влюблена в нашего Владимира Короткевича (учился на Высших литературных курсах), не смогла не показать нам церковь Покрова на Нерли. Приехали, стоим у воды, любуемся храмом на острове. Кто-то в шутку предлагает: «Давайте сходим в церковь!» Смелых не нашлось. А Нина Аверьяновна, обращаясь ко мне, сказала: «А ваш Короткевич — сходил в церковь…»

В подвале нашего дома из проржавевшей трубы потекла вода. Несколько раз вызывали аварийщиков, а вода как текла, так и течет. И пошел я в домоуправление. До меня туда уже почти все соседи ходили. Обещали там и мне через неделю все починить… Прошло почти два года, а вода течет…

«А без воды и ни туды, и ни сюды!» — говорил вчера сосед, поливая огород. А сегодня весь день идет дождь.

* * *

Мы не прах, мы не сон, мы не снег.
Мы — в окне покосившемся свет,
Мы — трава на могилах дедов,
Мы — растаявших влага снегов.
И над нами проносится ветер,
И сметает все стены на свете,
Те, в которых уже нам не жить
Те, которых уже не любить, —
Будто пыль, будто дым, будто сон…
Ожидает нас вечный Харон,
И скрежещем мы в вечной ночи,
Как в замках, что на Храмах, ключи…

Поле

Мне лет шесть. Еще местами лежит снег, а уже гусеничный трактор, похоже, единственный в колхозе, пашет поле. Тракторист, заметив меня, останавливается и зовет в кабину. Трактор ревет и трясется как сумасшедший, я сижу у парня на коленях и смотрю на дорогу. По ней идут девчата и кричат: «Прокати нас, Петруша, на тракторе!..»

Мама с бабкой Параской серпами жнут колхозную рожь, батя косит, мой младший годовалый брат спит среди снопов, а я пытаюсь всем помогать. Рядом жнут соседи. Поле большое, и на нем то там, то сям среди колосьев виднеются яблони, груши и сливы. Батя рассказывает, что они остались от хуторов, и показывает, где был сад моего деда. И я иду сквозь рожь в наш сад среди ржи, и никто не видит меня…

Пришел из школы и вечером сижу с дедом на лавке. Расспрашиваю, где что было раньше. Спрашиваю, что там за полем и за лесом. «Там Польша…» — отвечает дед, и я уже вечером не могу долго уснуть, боясь, что поляки перейдут границу и начнется война.

Гонять в поле коров со своими одногодками я не любил. Нужно рано просыпаться, а потом целый день сидеть в поле, поглядывать на часы и все время быть готовым защитить себя от мальчишек, которые обязательно попытаются командовать тобой, как собакой. Нынче в деревне кормов мало, и в поле особенно некому и некого гонять. И ко всему еще через поле, где я пас коров, уже несколько лет как прокопана глубокая канава — собирались провести газ в соседнюю деревню и не провели. И канава в поле, как трещина на той жизни, в которой мне уже никогда не жить…

Каждый год в деревню из города присылают студентов на картошку. И все время у нас кто-то квартирует. Как-то жили два преподавателя. И захотели они, чтобы мы с братом сводили их в грибное место. Пошли. Шли через поле и набрели на большой куст с черными ягодами. Один из преподавателей, рыжий и весь в веснушках, поинтересовался: «Что это такое растет в поле?» — «Это жиды. У нас их раньше в деревне было много, недавно почти всех повырезали…» Второй преподаватель закашлялся и перевел разговор на грибы…

Проснулся среди ночи от гула моторов и лязга гусениц. Смотрю, мама в темноте стоит у окна, а отец вообще вышел на крыльцо. «Война?» — спрашиваю я и бужу младших брата с сестрой. Они просыпаются, плачут. Возвращается отец и говорит: «Маневры…» Утром выхожу во двор и вижу — все поле заставлено танками.

Жил у нас кот Мурзик. Хоть и старый он был, но мы, дети, его очень любили, и отец с матерью не прогоняли его из дому. И как-то осенью подселил наш председатель колхоза квартирантов с ружьем. Не сумев настрелять на озере уток, возвращаясь через поле домой, встретили дядьки Мурзика и ради забавы застрелили. Я почти полдня искал кота и, отыскав его, поплакал и похоронил тут же, в поле. И выросла в поле трава, среди которой уже больше двадцати пяти лет ходит мальчик и ищет Мурзика.

Зима. Еду с отцом на санях в поле, где стоит заснеженный стог соломы. Вокруг ни следа. Батя рассказывает, как он, еще мальчиком, со своим отцом ехал в Городок и всю дорогу по полю за ними бежал волк. А за нами — только ветер…

На втором курсе архитектурно-строительного техникума попал с однокурсниками на практику в Несвижский район. И когда осталось до возвращения в Минск несколько дней, решили выпить по сто грамм. Грансберг, Гальперин и Гуревич разведали хутор, где можно купить самогонки, но с нами, когда стемнело, пошел только Гальперин. Самогона мы не купили, потому что местные, узнав о наших целях, приехали на грузовой машине и мотоциклах на хутор. «Мы вас трогать не будем, отдайте нам только самогонки и жидов! — кричали они, двигаясь за нами с включенными фарами. А мы, как овцы, сбившись в кучу, отходили по полю к лесу. И добравшись до первых кустов, наш староста скомандовал: «Ходу!» И побежали мы по темному лесу, как зайцы по полю…

Иду на электричку в Дубравы. За Долгой горой — дымное поле. Кто-то поджег рожь. Проезжают машины и не останавливаются. И я иду через поле и вспоминаю деда, который в начале пятидесятых получил пять лет тюрьмы за несколько колосков ржи, которые подобрал на колхозном поле и принес домой….

Во время учебы в Литинституте нас возили на экскурсии по России. Повезли и на Бородинское поле. Ходили полдня, разглядывая среди кустов и некошеной травы валуны и таблички с надписями. Фотографировались возле памятников, на которых чернели орлы. По дороге назад вечно молчавший поляк Войцех, глядя на заросшие быльем колхозные поля, сказал: «Бородинское поле».

«А ў полі крынічанька…» — поют женщины. И я слушаю их и знаю то поле, где пока еще есть крыничанька…

* * *

От улиц не уйти мне, хоть кричи.
Как от себя мне никуда не скрыться,
Закрою дом и выброшу ключи,
И точно листья, буду здесь кружиться,
Как призрак под напором пыльных вьюг,
Больных кустов, что радости не знают,
Да с белым одиночеством пичуг,
Что желтою листвой меж туч летают.
Тоска моя, как ветер, воспарит,
Как плач ребенка в опустевшем Храме,
Как белые во мраке фонари,
Как письма недописанные маме…

Вокзал

В моих Пугачах вокзал — обычная автобусная остановка возле магазина, в котором всегда можно купить бутылку и что-нибудь закусить. И нет в деревне ни одного человека, который рано или поздно не пришел бы сюда. Тут и целуются, тут и дерутся. И еще мальчишкой я обходил наш вокзал, когда на нем были старшие. И только где-то в классе седьмом меня приняли в вокзальную компанию, но и то потому, что пацаны узнали, что я пишу стихи. И приходил из Воложина автобус, а мы уже тут как тут. Ненаших иногда били (не знаю, за что), наших девчат пугали, а когда уже совсем темнело, залезали через окна в автобус, что оставался на ночь на улице, и там играли в карты и курили. И это было давно, но это было…

На вокзале в Ракове, начиная с 1978 года, лет пять подряд меня можно было увидеть каждую пятницу где-то с одиннадцати до пятнадцати часов, когда при-

ходил автобус из Воложина на Пугачи. Через какое-то время в Ракове меня знали все жулики. Многие приходили специально, чтобы познакомиться и вместе с поэтом выпить «чернила». Избежать контактов было нельзя: однажды заикнулся было, что не пью, и тут же услышал: «Ну тогда мы тебя утопим в озере!» И сидел я на Раковском вокзале, как король на именинах…

Центральный минский железнодорожный вокзал с 1978-го по 1985 год для меня был, особенно зимой, самым лучшим местом в городе. Я тогда нигде не работал и на вокзал ездил, как на работу. С собой всегда полотняная сумка, в которой книжки и тетрадка для стихов. Сидел на вокзале по три-четыре часа в день. И все было хорошо, пока к власти не пришел Андропов и не начал бороться с тунеядцами. И мне на вокзале стало неуютно, и я решил идти сдаваться в милицию. Может быть, сдался бы, но умер Андропов, и я снова почувствовал себя человеком, который может сиднем сидеть на вокзале и никуда не ехать…

Еду на работу через вокзал. По дороге в метро прохожу мимо чумазых таксистов. Слышу, как они уговаривают мужика: «Куда нужно?» — «К универмагу «Беларусь»…» — «Пять зеленых!» — «Что, сдурели?!» — «Давай четыре!» — «Я на метро…» — «Едь!» — «А за два?» — «Ну, черт с тобой, поехали за два!» И я захожу в метро, как на тот свет, где никогда не будет солнца…

«На вокзале цыганки не дают прохода: «Парень, можно у вас что-то спросить?» Посылаешь мысленно цыганку куда нужно и идешь себе дальше. А лет двадцать назад ни с того ни с сего ко мне подсела цыганочка лет восемнадцати, чего-то нагадала (не помню, чего), и я, вспомнив Пушкина, читал ей свои стихи. А она смеялась и говорила: «Поехали с нами, не пожалеешь…»

1984 год. Железнодорожный вокзал в Тбилиси. Еду на Дни поэзии Маяковского в Кутаиси. С собой денег немного. И тут подходит то ли цыганка, то ли грузинка и предлагает купить вязаный свитер зеленого цвета. Соглашаюсь сразу, все равно ведь нужно купить маме какой-нибудь подарок. На месте не продала, а отвела за угол, чтобы милиция не видела. Я насторожился, но купля прошла нормально. Мама подарком осталась довольна. Но через неделю от свитера осталась только куча облезших ниток.

26 апреля 1986 года встретили в Минске — приехал из Москвы на очередной съезд писателей. Уже в начале мая, уезжая назад на учебу, на вокзале услыхал от мужиков, что для того, чтобы спастись от радиации, нужно пить красное вино. До отъезда оббежал все магазины в округе и купил несколько бутылок кагора. Тут же на вокзале полечился с одним знакомым, который провожал меня. В Москве в общежитии перестирал одежду, а туфли и носки выбросил в мусоропровод. Мне было двадцать шесть, и мне хотелось жить…

Собрался в командировку, а на вокзале нет билетов. Спрашиваю у знакомого, что теперь делать. А он (дело было зимой) надел пыжиковую шапку, подошел не к кассам, а к окошку какого-то начальника, поздоровался, сказал, что он из Союза писателей и ему нужен билет. И тут же у меня был билет… Няма таго, што раньш было…

Мама провожает меня в город. Издалека вижу, что на остановке на лавке сидят какие-то едва знакомые люди. Подошли ближе, и тут же один из мужчин с бутылкой вина в руке обращается ко мне: «Витя! Здоров! Не бойся, иди к нам, посиди!» Мама села, потому что ноги болят, а я сел, потому что не смог отказаться. Сижу с мужчинами, отвечаю коротко на их вопросы и думаю: «Кто такие? Похоже, знакомые, но…» Предлагают выпить. Отказываюсь громко, а

шепотом говорю: «Не могу, мама будет кричать…» — «Ты меня, видать, не узнаешь? — спрашивает мужчина, что позвал меня, и говорит: — Мы еще вместе с тобой выступали в Воложине на празднике…» Я слушаю, и не могу вспомнить, а он не говорит, как его зовут. А тут еще подошла к нам женщина лет пятидесяти, присела рядом и просит, чтобы ей дали выпить, если я не хочу. «Зина, иди ты отсюда! Тебе не дам, ведь ты, когда была молодая, нам никому не давала, прилипла к своему Мишке. Теперь ты потерпи…» — почти кричит мужчина с бутылкой вина и опять спрашивает меня: «А стихи пишешь?» — «Он прозу пишет…» — вместо меня ответила Зина. И тут пришел автобус, и я, распрощавшись с мамой и деревенскими, всю дорогу до Минска гадал, с кем это я беседовал на автобусной остановке в своих родных Пугачах.

Шесть часов утра. Сижу на вокзале — жду автобус в деревню. Рядом сидит девушка лет двадцати. Вынимает книжку. Смотрю — стихи, белорусские. Евгении Янищиц. И мне хочется заговорить с незнакомкой, но…

* * *

И снова тишь, и снова вечер,
И снова ты один глядишь
На небо звездное, как вечность,
И золотое, как Париж,
Куда попасть охота многим,
Чтоб не вернуться вновь сюда.
Здесь, будто на войне, дороги,
И дым цветения в садах.
Но знаешь ты: нигде на свете
Не будет радостней, чем тут.
И этот светлый тихий вечер,
Родной и милый этот кут
Ты никогда не променяешь
Ни на Мадрид, ни на Париж,
Ведь только здесь про волю знаешь,
О воле только здесь молчишь,
И в небо звездное, как вечность,
Все смотришь, смотришь у окна, —
А за окном, как речка, вечер,
А за окном, как снег, весна.

Больница

Зима. Мне четырнадцать лет. Первый раз в Воложине и в больнице — прохожу с одноклассниками медосмотр — становимся на воинский учет. Особенно не проверяют, пока главное — завести учетную карточку на будущего солдата. Однако все равно у некоторых находят неполадки со здоровьем. У меня — близорукость. Когда уже все кабинеты были пройдены, меня вызвали опять к окулисту. Доктор посадил перед собой на стул, посмотрел через приборы мои глаза и, попросив, чтобы я сидел тихо, накапал мне в них какой-то холеры. На улице я чуть шею не свернул — упал с крыльца — ничего не видел перед собой. Позвал мальчишек, и они меня под руки, как слепого, отвели на автостанцию, а потом домой. Слепым я был почти два дня. Правда, видел все в темноте. Даже мог читать. Мама плакала, а батя сказал: «Дурака валяет, чтоб в армию не идти…»

В Минске есть улица Герасименко. Прожил я там пять лет — квартировал. Как-то простыл и, купив склянку пертусина, за день его и выпил. Очень уж

вкусно! На следующий день пошел в ванную помыться. Сморканул — и на тебе — из носа пошла кровь. Но я не испугался. Кровь у меня и раньше часто шла. Стал прикладывать к переносице мокрое полотенце. Не останавливается. Прошло пятнадцать минут. Не останавливается. Двадцать. Полчаса. Кровь все идет и идет. И я уже выбежал на лестничную площадку. Звоню соседям, чтобы помогли. Никто не открывает. Выбежал на улицу. Никого нет. Пошел к соседнему дому. Весь в крови, с окровавленным полотенцем, будто только зарезал кого. Я к людям, а люди от меня. И все же мне повезло. Увидел «скорую помощь». Подбежал, прошу помочь. Врач достала из кармана клочок ваты, заткнула ноздри и сказала, чтобы я шел в больницу. И я шел по улице окровавленный, и люди смотрели на меня как на бандита. И пришел я в больницу. И мне говорят: «Чего ты сюда пришел?» И стали врачи посылать меня от одного к другому. И ходил я с первого этажа на второй, а со второго на первый. И кто-то не выдержал: «Сколько же вы будете этого мальчика гонять туда-сюда?» И привели меня в кабинет, забрали красное полотенце, посадили на кушетку. Пришел какой-то доктор. Я ему рассказал, что со мной приключилось. Доктор вышел. Через несколько минут вошли две девушки в белых халатах (практикантки), стали спрашивать и записывать, кто я и что. А я уже толком и говорить не могу — кровь же не остановили. Правда, смотрю — собираются делать мне укол. Спорят, кто будет делать. Старшая отважилась. Мне сделалось так плохо, что в глазах потемнело. Слышу: «Давай еще один сделаем…» И тут кто-то вошел: «Что вы тут делаете?» — «Уколы!» — «Вон отсюда!!!» Девушек как ветром сдуло. Еще через полчаса в больнице нашлась перекись и мне остановили кровь. А еще через полчаса меня забрала «скорая помощь»…

Как-то раз поздно вечером я вернулся на квартиру. В комнатах тихо. Заглянул к хозяйке: «А где наш дед?» Старушка на кровати чуть приподняла голову: «Утром куда-то уволокся. Не знаю…» Я пошел в ванную, а там дед лежит с разбитой головой и сопит. Я его подхватил под мышки и вытащил в кухню, положил на пол. Дальше не смог, тяжелый. Вызвали «скорую». Дед, услыхав, что пришли врачи, перед тем как позволить им осмотреть себя и сделать укол, спросил: «А вы не евреи?»

1981 год. В Афганистане война. В областном военкомате прохожу последнюю комиссию. Осталось несколько кабинетов. Врачи осматривают уже почти что формально, и мы, завтрашние новобранцы, в большинстве уже смирились со своей дальнейшей судьбой. И я не помню теперь, да и тогда не обратил внимания, в каком именно кабинете услышал вопрос: «Это вы пишете стихи?» — «Я…» — «А служить хотите?» — «Нет»… Чернявый, с бородой доктор посмотрел на свою коллегу, что-то написал в моем деле, расписался и дал расписаться ей. Она не стала отказываться. И после этого доктор сказал: «Можешь идти писать стихи…»

На выходные из города приехал в деревню. Брат, еще школьник, встретив меня на улице, обрадовал письмом от незнакомой девушки. На письмо я ответил сразу — было приятно, что девушка прочла мои стихи в «Маладосці», они ей понравились, и она хочет со мной познакомиться. Сколько бы тянулась моя переписка — не знаю, если бы не похвалился приятелю неожиданным знакомством. Он спросил: «А на какой она улице живет?» — «На Прилукской…» — «Ты что! Так там же сифилитики!..» И я перестал писать девушке, которой понравились мои стихи…

Москва. Литинститутское общежитие. Просыпаюсь от стука в дверь. Два русских прозаика, мои однокурсники, просят съездить в больницу проведать, как там поэт Геннадий Суздалев, с которым они этой ночью пили. Допились до

того, что шарахнули Геннадия бутылкой из-под шампанского по голове, а потом вызвали «скорую». Сами теперь боятся ехать к собутыльнику, но, кроме всего прочего, хотят выяснить, помнит ли он, кто это его побил. И я поехал в разведку. Ехал часа полтора. На проходной не остановили, не спросили, чего я хочу, к кому. А я уже знал, в какой палате лежит Геннадий. Захожу. А там целая компания с перевязанными головами. Сидят и пьют «чернила». Увидели меня, обрадовались: «Бутылку принес?» — «Нет». — «А чего тогда пришел?» — «Я к Суздалеву…» — «Гена, это к тебе…» И рассказал мне Геннадий, как прошлой ночью, когда он вышел из бара Центрального Дома литераторов, его избили «западники»…

Есть у нас на улице больница…

* * *

За окном Европа, белый свет.
Кашляет за стенкою сосед.
Ветер за окном. Охота спать.
Только этак можно все проспать.
Можно выпить, можно все пропить.
Свечка на окне горит давно.
Нужно видеть горизонт и жить,
А чтоб видеть, отворить окно.
За окном Европа, милый край,
Здесь кому-то — пекло, а кому-то рай.

Библиотека

Библиотека — это Храм, где нет святых.

Библиотека — это кладбище, где есть жизнь.

Библиотека — это тюрьма, в которую мы приходим, чтобы, надышавшись пылью столетий, узнать, что все это — «суета сует и томление духа под солнцем».

Библиотека — это Ноев ковчег, который собирается плыть, не понимая, что давно утонул.

Библиотека — это рай и ад, где мы боги.

Библиотека — это мечта мальчика, который научился читать.

Начало 70-х. В моей домашней библиотеке в деревне, кроме школьных учебников, всего только две художественные книжки — «Полесские робинзоны» Янки Мавра и «Мы с Санькой в тылу врага» Ивана Серкова. «Робинзонов» выменял у соседа за украденный у отца ножик, а книжку про Саньку купила в Городке мама. И я мечтаю о библиотеке, как в колхозном клубе. И тут на тебе — приходит мама и говорит: «Наш председатель уезжает и нам отдает газовую плиту, этажерку и кучу книжек…» И целых полдня носил я домой эти книжки, не вчитываясь в их названия. На этажерку все не влезли. Остальные отнес на чердак. И начал читать. Ни одной художественной — одни выступления Сталина, Хрущева, Брежнева, материалы партийных съездов, пленумов и т. д. Но все же берег я эти томища и листал их, надеясь найти то, о чем мечталось. А батя потихоньку лазал на чердак и моим «сокровищем» растапливал печку.

Мне хотелось иметь свою библиотеку. И начал я потихоньку выкупать у друзей книжки. У кого за отцовские сигареты, у кого за самогонку, которую тащил из дома. Однако моя библиотека собиралась очень медленно. И тут мне мой одноклассник Сашка посоветовал украсть из колхозной библиотеки пару книжек, которые мне больше всего хотелось иметь. И пошел я с Сашкой на злодейство.

Пока мой приятель разговаривал с библиотекаршей, я взял с полки сборник стихов Михася Чарота и спрятал за пазуху. На большее не отважился…

В конце 70-х колхозную библиотеку из клуба перевели к Вербицкой, которая жила одна в большой хате. Приезжая из Минска, я забегал в эту библиотеку. Библиотекарша, женщина образованная, знала все, что есть в ее хозяйстве, и специально к моему приходу подбирала издания, которые могли меня заинтересовать. Все было в библиотеке хорошо летом, а осенью потекла крыша и книжки намокли. И грустно было смотреть на все это богатство, которое не всем нужно…

Заходя в деревне в дома приятелей, я, как пьяница, который вынюхивает выпивку, искал места, где могут быть книжки. Но чаще всего, кроме газет, читать было нечего. Людям было не до книг. И все же были чудаки (называли их дурнями) и в нашей деревне, которые, даже когда пасли коров, брали с собой книжку…

Мой дядя Славик, побродив по свету, вернулся на некоторое время в Пугачи к родителям. Сошлись соседи, чтобы посмотреть, какого это богатства он навез целую машину. И когда увидели, что выгружаются книжки, посмеялись и разошлись. Только я был доволен — дядя разрешил кое-что выбрать для себя. И это была книжка про Гулливера…

Приехав в Минск и не имея на книжки денег, я ходил по книжным магазинам и там читал их. Особенно хорошо получалось с поэзией. В библиотеку записаться не мог — не было минской прописки. Но у меня были приятели, у которых имелись чудесные домашние библиотеки и которые не жалели дать почитать книжку. Одним из таких был Адам Глобус. У меня и теперь стоит перед глазами сборник Аполлинера, и живет во мне то чувство мира и Европы, которое тогда мне открылось.

Один из моих знакомых, закончив филфак, некоторое время работал в деревенской библиотеке. Может, до сих пор работал бы, если бы не появилась семья, которую нужно было кормить. А посетителей у него было мало — почти одни школьники, и то во время учебы. Но не жалеет, что был библиотекарем, потому что начитался, как профессор.

На своем юбилейном вечере Максим Лужанин с высоты своих 90 лет сказал: «В начале столетия в наших библиотеках наши белорусские книжки можно было по пальцам пересчитать. Сейчас у нас есть свои словари, энциклопедии — все, что нужно, чтобы белорусы чувствовали себя нацией, поэтому Беларусь жила, живет и будет жить!»

Более десяти лет прошло с тех пор, когда я в последний раз был в колхозной библиотеке. И теперь вообще не знаю, есть ли она в деревне. Звоню по телефону в Пугачи знакомому: «Есть ли там теперь у нас библиотека?» И слышу: «Какая еще библиотека?..» И дальше нецензурщина. И все-таки надеюсь, что что-нибудь да осталось…

* * *

Был дождик вчера, а сегодня — снежок.
Ты плакал вчера, а сейчас сквозь смешок
Глядишь на заснеженный серенький двор,
Как будто на вора глядит прокурор,

Что знает наверное: вечность сама
Не вечность совсем. Вечность — это тюрьма.
Нам — вечностью кажется эта зима,
Где в тесных квартирах с тобою сидим
И на зиму, будто на вечность, глядим.
А снег заметает нас, как убивает,
И будто уснуть навсегда зазывает,
Ведь дождик вчера был, сегодня — снежок,
Ведь плакал вчера ты,
Сейчас сквозь смешок
Глядишь на заснеженный серенький двор
И ночь поджидаешь, чтоб звездный убор
Увидеть на небе.
А он над землею,
Как ангел искристый, парит над душою…

Тропинки

Раньше часто писали друг другу письма. Нынче не пишем и даже не звоним, будто умерли, а нас некому похоронить. И мы пользуемся этим — живем.

За окном каркает ворона. Похоже, кроме меня, ее никто не слышит, потому что давно эту надоеду кто-нибудь бы да прогнал. Неужели все такие ленивые или это я чересчур нервный?..

Возле пятиэтажки дети залезли на сливу. Ломают сучья, рвут незрелые сливы. Хочется прогнать их, но прохожу мимо. Чужая слива, чужие дети, и я чужой…

У полуторагодовалого сына температура. Не спим. Иду на кухню за лекарствами. Через минуту возвращаюсь в спальню, а Максимка босенький бежит мне навстречу и держит в ручках мои тапочки, будто хочет сказать: «Чего ты, папа, босой ходишь? Простынешь…» А я иногда обижаю его…

Вот и зима. Утро. Снегом засыпаны ямины и мусор. Вокруг светло и празднично. Но надолго ли? Через час из домов выйдут люди и растопчут эту чистоту. До вечера снег растает, а за ночь красота обновится, которую утром снова растопчут. Так и топчем то, что кто-то сделал, считая только свое достойным вечности. Да где она, эта вечность?

Читаю дневник Яна Скрыгана, написанный им в последние два года жизни. Читая, вижу писателя больным, исстрадавшимся, но не равнодушным к миру, в котором он жил и умирает. Он знает, чем болен, и знает, что скоро умрет. Хочет писать, но не пишется. И кажется, он больше страдает не от болезни, а от того, что не пишется.

Давно не объявлялся сосед, чтобы одолжиться на бутылку. Раньше думал, как бы это с ним не встретиться, а сейчас — наоборот. Хотя денег и сейчас я не очень-то ему бы разогнался дать. Где он? Жив ли?

Мороз за тридцать. Иду на работу, и мысли замерзают на ходу.

Приехали в Дом творчества писатели. И сразу же среди отдыхающих, которые никакого отношения не имеют к белорусской культуре, послышалось: «Это писатели…» Их узнали не потому, что их произведения с портретами читались, а потому, что писателей люди ждали, и ждали, чтобы их узнать. И узнали — по

языку, по седине и по… А мы с Людой никем не узнаны. Нас просто не ждали, и мы, кроме всего прочего, еще молоды.

Люда в библиотеке взяла почитать книгу «Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века». Который уже день с этой же книгой ходит возле Дома творчества Алена Василевич. То ли в библиотеке, кроме этой книги, нет ничего более значимого, то ли… Но это не совпадение, ибо все было бы слишком просто. И совсем не интересно.

В Дом творчества местный почтальон не ходит. Незачем. Не выписано ни журналов, ни газет. И лес вокруг Дома — это не лес в трех километрах от Ракова, а сибирская тайга, и мы сюда сосланы.

Дорога…

Дорога — это искушение пойти и не вернуться.

Дорога на чужбину печальная, как кресты на кладбище, под которыми наше минувшее.

Дорога домой светлая, как затухающие уголья в костре, возле которого грелись странники.

Дорога — это река, которой доверяешь себя и, утопая в ее течении, стремишься к цели, теряясь во времени и пространстве.

Дорога зарастает травой и исчезает, как исчезает Отчизна, оставленная изменником.

Дорога помнит легкие ноги детей и тяжелые сапоги солдат.

Дорога — это паутина, которой окутана земля, как кокон, в котором еще теплится жизнь.

Начало 70-х. Из соседней деревни возвращаюсь домой. Возле дороги в траве какие-то провода. Не трогаю, потому что говорили родители — скоро будут военные маневры. И вдруг — вертолеты, стрекот автоматов, гул машин и танков. Как на войне. Прибегаю домой. Мама плачет: «Война!..» А отец, глядя на танки, которые прут по улице, ломая заборы и давя кур, только покуривает и поплевывает: «На Варшаву…»

Еду с отцом на возу в Городок, что под Молодечно. Пока дорога полевая, сидеть на возу не тряско. Километра за два перед Городком начинается мощенная булыжником дорога, по краям которой огромные, незнакомые мне деревья. Колеса барабанят так, что черти в ушах скачут. А отец сидит хоть бы что и рассказывает: «Это екатерининские деревья… По этой дороге царица проезжала… Мне о них еще мой дед рассказывал…» Я слушаю отца и представляю, как по дороге в золотой карете едет царица… А сейчас едем мы…

Спилили екатерининские деревья. Булыжник спрятали под асфальт. А я еще всё слышу, как гремит по булыжнику воз, на котором сидит деревенский мальчик с отцом и слушает, как шумят старые деревья.

Железной дороги рядом с Пугачами нет. И если не придет из Минска автобус, чтоб возвратиться в город, нужно идти на электричку в Олехновичи или в Дубравы. Десять километров — путь не большой, но идти придется через Долгую гору, что за деревней Татарские. А на горе лес, а в лесу (так говорили в деревне) банда Доминкаса. Правда или нет, и кто такой Доминкас — не знаю. Но вечером идти на электричку двадцать пять лет тому назад боялся и я. И дорога то зарастала, то опять поднималась пылью над Долгой горой. А сегодня дорога на Дубравы — это скорее дорога на кладбище, а не на электричку. И умирают в деревне люди, и их

последний путь лежит через Долгую гору, где в лесу пряталась банда Доминкаса, которого боялись и которого помнят.

Нынче не те зимы, что были в детстве. А тогда улицы в деревне заметались выше заборов. И исчезали деревянные границы между людьми, и каждый мог ходить, где ему хочется. И на снегу появились дороги. К одному дому подъехали сани, к другому — трактор. Один крестьянин привез колхозной соломы, другой — муки. Жизнь идет, и исчезают одни дороги, и появляются другие. А я, мальчик, тяну за собой санки, чтобы покататься с Юстиновой горы. А тут — на тебе — прет с хуторов навстречу «Кировец» (трактор такой), аж снег во все стороны разлетается. И вдруг возле меня останавливается: «Здорово! Куда тащишься?» — «Кататься…» — «А я в партию вступать!» — слышу веселый голос знакомого парня. И через минуту на снежной целине остаются две глубокие колеи, как траншеи, из которых, кажется, если попадешь, сможешь выбраться только весной. А я тогда был еще маленький и тащил за собой санки…

Из Пугачей до Татарских бульдозерами прокладывали дорогу. Счищали поле и луг. Кусты сваливали в кучи. А кому и заборы ломали. Старики деревенские ругались, не видя в новой дороге никакой выгоды для себя. И тут один из бульдозеров зацепил в земле большой пук скрученных проводов. Сошелся народ. Стали гадать, что это за провода. И вспомнили — это при поляках до границы с Советской Белоруссией была проложена связь. И дальше пришлось дорогу строить не так, как планировалось, а так, как в земле лежали польские провода. Из тех проводов у того-сего в деревне еще и сегодня валяются на чердаках корзины.

29 января 1996 года в Легезах, где я почти семь лет жил у бабушки, умер мой дядя Ваня. Автобус из Минска все время ломался, но кое-как дотянул-таки до Пугачей. Мамы дома уже не было. Я переночевал и в семь часов утра пошел на остановку, чтобы доехать до Легез. Автобус совсем сломался. И я пошел пешком. И чем дальше отходил от дома, тем сильнее поднималась вьюга. И все же через полтора часа я прошел четыре километра до большака, который проходит возле Легез. И мог я идти по большаку еще пару километров и выйти на протоременную, укатанную дорогу до деревни, но за большаком так близко виднелась хата дяди Вани. И ко всему, еще передо мной по снежной целине были следы, которые вели в деревню. И я пошел по следам. Легко, уверенно. Но метров через двести исчезли следы и передо мной, и мои. И начал я проваливаться в снег выше колен. И так заморился, что хоть ты ложись и лежи. И лег я на снег. И вспомнил Бога. И попросил Бога помочь мне дойти. И встал. И пошел по снегу, не проваливаясь, не слыша ничего вокруг. И прошел метров сто. И провалился, и снова услышал, как гудит вьюга, как хрустит под ногами снег…

У каждого своя дорога…

1997—2002

Перевод с белорусского Глеба Артханова.



НАТАЛИЯ КОСТЮЧЕНКО

Незапертая дверь

...Что наша жизнь? Она — то святость, то буза.
Один глоток волшебного напитка.
Признанья первого блестящие глаза
И поздней славы виноватая улыбка.

Юрий Сапожков

Юрий Михайлович Сапожков — поэт, публицист, переводчик, критик. Родился 16 марта 1940 года в селе Ильинка Рязанской области (Россия). С 1962 года живет в Беларуси. Работал в газете «Советская Белоруссия», в журналах «Нёман» и «Всемирная литература», собственным корреспондентом Агентства печати Новости по БССР. Более 5 лет находился на журналистской и дипломатической работе в Индии. Автор книг поэзии «На счастье», «Возраст», «Письмо другу», «Очертания греха» (переведена на английский язык, хинди, урду, малаялам), «Точка невозврата» и книги критики «На просторах слова». Автор перевода поэмы Халиля Джебрана «Пророк». Живет в Минске, работает редактором отдела поэзии в журнале «Нёман».

С ним я познакомилась в начале 2006 года, когда меня пригласили на работу в журнал «Нёман». В том же крыле здания находилась и редакция журнала «Всемирная литература», где, в соседней комнате, буквально «за стеночкой», как мы любили говорить в редакциях, работал Юрий Михайлович Сапожков — поэт, переводчик, критик, публицист. Тогда он (обычно без галстука, в свитере, джинсах) мне показался улыбчивым, простодушным и внешне беззаботным человеком. И я не догадывалась, что за этими кажущимися простодушием и беззаботностью, что называется, «душой нараспашку», скрывается сложная, противоречивая и в то же время цельная и глубокая натура.

Уже позднее, когда эти два журнала объединили (в «Нёман») и мы стали работать в одной редакционной комнате, за соседними столами, я неожиданно для себя открыла в нем редкостную по своему внутреннему содержанию личность. Вдруг увидела, какие живые и пронзительные у него глаза. Глаза-рентген, глаза психолога, глаза человека, умеющего думать. Отметила его энергичность и деловитость.

Юрия Михайловича часто вызывают по тем или иным вопросам, к нему постоянно идут и звонят авторы, не давая закончить ни разговора, ни дела. Он встает, причем, всегда легко и бодро. Уходит. Входит, садится за рабочий стол, тут же сосредоточивается, продолжает прерванную работу. А через некоторое время (опять кому-то понадобился) снова встает, уходит. Возвращается. И все его движения точны и четки — такие бывают у людей, которые ценят время.

И настолько он прост, естественен и скромен, что вряд ли кому-то из окружающих в голову придет мысль о масштабности его личности. Обычно он держится так, словно однажды дал себе строгий зарок не хвалиться собственными достоинствами, умалчивать о том, что имеет отношение к его творческим заслугам. Трудолюбивый и глубокий писатель — он может назвать себя ленивым. Когда Юрию Михайловичу задают вопросы, касающиеся его жизни или биографии, чаще всего

отвечает коротко, вроде этого: «Моя биография — в стихах» или «Стихи — это выяснение себя». Иногда мне кажется, что он просто предпочитает отшутиться, лишь бы не открывать для посторонних свой внутренний мир.

Читая стихи Юрия Сапожкова, невольно обращаешь внимание на наличие в его текстах уничижительных слов и выражений, которые он довольно часто употребляет в свой адрес: «Тих, незаметен, не живу, а дни влачу…», «Запомни, неразумная башка…», «Печеная картошка лица, пожалуй, краше...», «Над собой захохочу…» и т. д. Я думаю, что соответствующий всему этому комплекс чувств следует искать в подсознании автора.

Говорят, что поэзия — «законсервированная» во фразах жизнь. Но реальную жизнь Юрий Сапожков допускает в свое творчество словно через некий таможенный пункт собственной иронии, порой даже психологического самоистязания. И разрешает читателю сопереживать этой самоиронии. Возьмем хотя бы его стихотворение «Расплата»:

Я птиц любил.
А их ловили кошки.
Но кошки ластились.
И я им все прощал.
Скворечни вешал, не жалел и крошек,
Но все же птиц и небо предавал.
И вот итог моих ошибок прежних:
Сам ненароком когти проглядел.
Живу один, пустой, как та скворечня,
В которую никто не прилетел.

Юрий Сапожков, и на самом деле, далеко не ангел и не праведник. Он, как и все, не лишен слабостей, страстей, заблуждений, ошибок. Но тот пренебрежительный иронический тон, с которым поэт говорит о себе, то нескрываемое недовольство собой вызывают уважение. Такое, как мне кажется, свойственно только людям умным и талантливым. Чаще именно посредственность и бездарность кричат о своих «заслугах» со всевозможных сценических подмостков, распуская веером павлиний хвост собственной глупости и самолюбования. Свое имя они беспрестанно желают видеть в газетах, слышать по радио. И, таким образом, становятся зависимы от известности, без которой уже не могут обойтись, и страдают, когда та затухает.

Юрий Сапожков как будто отвоевал у судьбы право жить неприметно, в стороне от всяких вокруг своего имени шумих. Да и любая шумиха только вредит истинному таланту, для его развития нужна тишина. Благодаря искренности, силе логики и эрудиции Сапожков-поэт заманивает читателя на одинокий остров своего противоречивого «я», своего духовного мира, чтобы там вместе с ним предаться веселью и грусти, восхищениям и разочарованиям, выпустить из души на свободу все, что наболело, увлекая за собой то в опасный и непредсказуемый мир страстей, то на спокойный материк благоразумных мыслей. И не замечаешь, каким образом эти благоразумные мысли перерастают в афоризмы, неизменно отвечающие главной, принципиальной структуре души автора и тем самым несущие в себе ее особый внутренний накал.

Богатую пищу уму дают не только стихи, но и публицистика Юрия Сапожкова. Его критические статьи, диалоги и раздумья о современном литературном процессе можно причислить к жанру эссе. Искренне, без пафоса, он пишет как об известных, заслуженных мастерах слова, так и о молодых авторах, только начинающих свой путь в белорусской литературе.

Ну а коль, все же, по его словам, «стихи — это выяснение себя», то и проливать свет на затаившуюся в тени личность Юрия Сапожкова я буду не только посредством своих вопросов и его ответов, а также некоторых отступлений и комментариев к ним, но и цитируя строки из его поэтических откровений.

***«Как глупо на добро скупиться.
Дар отдавать — разумный дар:
Все станет пылью, сохранится
Лишь только то, что ты отдал...»***

Говорят, что писать о тех, кто рядом, труднее. Возможно. Но мне делать это приятно. И не только потому, что Юрий Михайлович — мой коллега и замечательный поэт и публицист, но и потому, что стал для меня как редактор учителем, обнаружив еще один яркий и важный талант — работы и общения с людьми.

Часто наблюдаю, как он, заведуя отделом поэзии журнала «Нёман», ведет диалоги с авторами, которые приносят в редакцию свои стихи. Удивляет его неизменное неравнодушие, с каким он то и дело говорит о необходимости для поэта трудиться в поте лица, чем обычно пренебрегают молодые (да и не только молодые) «гении», которые считают каждый набросок, рожденный в состоянии творческого экстаза, неприкосновенной святыней. Он безжалостно и решительно критикует все, что несовершенно, рыхло, нелогично или некорректно. Бичует, даже иногда резко и вспыльчиво, леность при компоновке фраз, их неоригинальность или, как еще говорят, избитость, ссылается на примеры подлинных корифеев слова. Удивляет и самоотдача, с которой он работает с авторами. И как он радуется каждой удачной строчке, каждому удавшемуся стихотворению обратившегося в «Нёман» поэта. Он торжественно, словно демонстрируя свой собственный успех, свою личную творческую находку, зачитывает вслух для нас, коллег-редакторов, понравившееся ему чужое стихотворение или фразу, при этом нахваливая: «Послушайте, какой молодец!» или «Как здорово! А?»

Он нередко говорит: «Если человек написал хотя бы одно хорошее стихотворение — он уже поэт!» И предложил открыть в «Нёмане» рубрику «Одно стихотворение».

Нетерпимость же к безвкусице, от какого бы авторитетного лица она ни исходила, требовательность к себе и к другим открывают глубину его нравственных критериев.

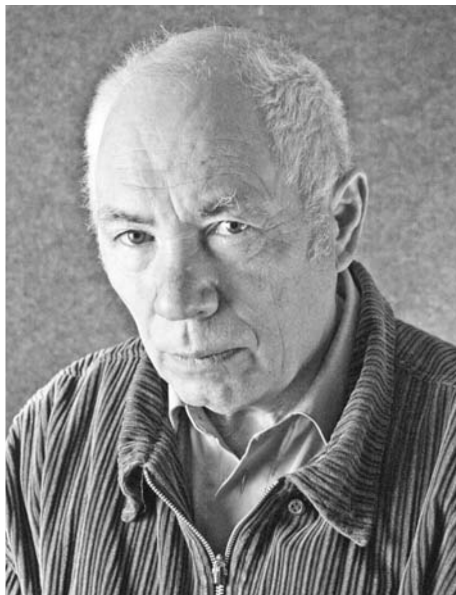
Но не только в работе редакторской проявляется его щедрый «дар отдавать».

Если он видит, что кому-то плохо, то решительно протягивает руку помощи. Когда тяжело заболели мои родители и у меня была душевная и физическая усталость, он предложил коллегам в комнате разделить между собой рукописи по моему отделу и отредактировать. Признаюсь, что ни разу этим не воспользовалась. Однажды, в конце рабочей недели, накануне выходных, я даже чуть ли не вступила с ним в схватку, отнимая у него увесистую папку с романом, которую он взял с моего стола и уже укладывал себе в портфель.

Деятельное сочувствие тем, кто нуждается в помощи, внимании, он проявлял не только ко мне. Беспредельно занятый сам, своей работой и заботами, он срывается, бросая все, садится за руль, чтобы помочь кому-то из знакомых писателей во время переезда, кому-то посодействовать в ремонте жилья; кто-то обратился с просьбой помочь издать книгу; то он хлопочет, чтобы обеспечить лекарствами или продуктами заболевшего коллегу. Я знаю немало случаев, когда почему-то именно к нему, а не к кому-то другому из нас — более узкого круга писателей-друзей, — доверительно обращали свой SOS во время личной беды.

Его живое участие к судьбам отдельных людей, сочувствие и готовность помочь конкретному человеку являются для него не просто внутренней потребностью, а нравственным правилом. И вряд ли какой человек, обратившийся к Юрию Сапожкову с просьбой о помощи, не получил того, о чем просил. Конечно, если это только не противоречило его моральным принципам.

Восхищаясь этим изумительным отношением Юрия Михайловича к людям, я хочу сказать и о той дружески-ласковой, трогательной, даже какой-то детской радости-нежности, которую он не то что проявлял, а просто изливал на гостей, приходивших к нему в дом, где, как я заметила, каждый себя чувствовал самым желанным, самым любимым, самым своим.



Юрий Сапожков.

И странное дело, хотя он и занятой до крайности человек, мне кажется, такое неустанное и многообразное участие в кипящей вокруг него жизни, с ее проблемами и суетностью, ему по сердцу.

«Твержу себе, убитый горем снова:
Запомни, неразумная башка,
Что ничего нет тяжелее слова,
Чем слово, что сорвалось с языка…»

Душа человеческая была и остается непостижимой загадкой. Порой спокойный, мягкий и даже кроткий человек вдруг превращается в настоящего тирана, раздраженного и хмурого, непримиримо-гневливого, а порой и оскорбительно-резкого в словах. Каким образом в нем, наряду с добротой и сердечностью, уживаются черты деспотизма? Почему разумные, с достаточно большим жизненным опытом люди могут причинять друг другу душевную боль?

Вспоминается, как однажды Юрий Михайлович пришел на работу без настроения, неулыбчивый и неразговорчивый. И это молчание продолжалось несколько дней. По утрам он едва заметным кивком головы здоровался, бросив на кого-нибудь из нас, коллег, короткий ледяной взгляд, садился за свой стол, включал компьютер и, в прямом смысле слова, «отгораживался». Этот уход в себя, его холодная отстраненность вызвали у нас, привыкших к его общительности и добросердечию, смятение. Несколько смущенные, мы не решались расспрашивать о причинах такого недружелюбия и занимались каждый своим делом, даже не предполагая, что всю эту жесткую неприязнь он проявлял не по отношению к нам, а к себе.

И вот Юрий Михайлович не выдержал. Все! Боль, словно фонтаном, выплеснулась из измучавшейся души в признание:

— Я обидел человека! И которую ночь не сплю. Какая все же пытка — ненавидеть самого себя.

— Вы ненавидите себя? — переспросила я робко.

— Ненавижу.

Мы тут же догадались, из-за чего все эти его нравственные терзания, разлад с самим собой. Конфликт, вернее, даже спор-диспут с писательницей — хорошим человеком и нашим общим другом, — касающийся вопросов оценки поэтического мастерства такого-то… или такой-то… разгорелся несколько дней назад у

нас на глазах. Юрий Михайлович бросил тогда неосторожное: «Ты завидуешь». Писательница ушла.

Мы и раньше нередко были свидетелями, а порой и участниками дружеских баталий, во время которых Юрий Михайлович с мальчишеским азартом и страстностью набрасывался на своих так называемых оппонентов, подстрекаемый к бою рьяным желанием достичь в споре справедливости, кого-то словесно осадить или защитить. Обычно такие разногласия и споры не мешали уважать и ценить друг друга и заканчивались миром. А тут вдруг: «Ненавижу!» И кого? Себя.

После этого признания Юрий Михайлович прочитал свое новое короткое стихотворение «Слово», которое я и привела выше в качестве цитаты.

— Я и на самом деле «убитый горем». Всю ночь ворочался, не спал. В пять поднялся и пошел в кухню тушить овощи. Во время обеда всех угощу. Правда, может, не совсем вкусными получились. Все-таки готовил в плохом настроении.

Однако в тот же день настроение у него улучшилось. Звонок писательнице и прочтенное ей «Слово» помирили.

Овощи оказались вкусными.

«Да, тяжелые, обидные слова иногда срываются с языка, — говорил после этого случая Юрий Михайлович. — Как правило, достаются они душевно близкому тебе человеку. Сначала удивляешься, почему он тебя не понимает, ведь, казалось бы, говорим о ясных вещах. Например, о качестве той или иной поэтической строчки. Потом начинаешь раздражаться настойчивости твоего оппонента доказать свою точку зрения. Рассудок темнеет от гнева и, теряя себя, кладет тебе на язык ранящее, обидное слово. А много позже, успокоившись и проанализировав все, что произошло, начинаешь мучиться угрызениями совести, находя обстоятельства, «смягчающие» позицию человека, которого обидел. И ищешь пути к примирению».

В каждом человеке есть как хорошее, так и плохое, сильная и слабая сторона, есть праведное и грешное. Оценивать свою внутреннюю сущность, учитывая эти противоречия, — талант мудрого. Талант, который должен быть присущ истинному писателю.

Продумывая вопросы к интервью с Юрием Михайловичем Сапожковым, я ставила перед собой цель — насколько возможно глубже раскрыть и показать читателю внутренний мир этого художника — поэта и публициста — и человека, обладающего чуть ли не безошибочным психологическим чутьем, которому интересны не только реалии самой жизни, но и люди во всем многообразии их талантов, судеб и поступков.

И если в отдельных вопросах к Юрию Михайловичу могут прослеживаться некоторая каверзность или бестактность, я заранее прошу читателя извинить меня, так как многое было продиктовано всего лишь искренним желанием «докопаться» до дна души этой сложной и необычной личности.

***«Жизнь катится, чуть прогибая оси.
Сентябрь, октябрь, ноябрь на перелом.
В который раз уже трехтомник осени
Выходит в свет огромным тиражом…
…Я привожу в порядок мысли давние
По праву возраста…
Я очень тороплюсь.
Вдруг, как минер, не выполнив задания,
На тишине бессонниц подорвусь!»***

— Юрий Михайлович, судя по Вашему творчеству, Вы — состоявшаяся личность. А вот судьба Ваша состоялась ли?

— Межиров незадолго до смерти заметил, что жизнь прошла, но судьба, к счастью, состоялась, имея в виду, что он и его поколение внесли свой вклад в

спасение Родины на фронтах Великой Отечественной войны. То есть без поступка, без риска, без жертвенного служения какой-то великой идее участь человека сводится к спокойному, размеренному существованию, в котором, конечно, есть свои пики, встряски и волнения; но судьбой эту участь не назовешь. У меня, как и у большинства людей моего поколения, именно такая доля.

— Вы решились на слишком серьезное признание… В чем причина такой суровой оценки жизней миллионов людей своего поколения? И почему Вы, как это делают многие другие писатели, не приглаживаете, не причесываете для постороннего глаза себя? Это — искренняя духовная потребность? Или своего рода расчет, ставка на умного читателя?

— В 1953 году мне и моим ровесникам было по тринадцать лет, когда век-волкодав потерял хватку: его стали подкармливать иллюзиями равенства и социальной справедливости, пришедшими на смену реальной классовой борьбе. Какая же у нас могла быть судьба? Судьба камерных марателей бумаги? Не более полутора десятка советских поэтов и прозаиков избежали ее. Мы благополучно прожили жизнь, не бросая вызов ее скверне или делая вид, что не замечаем ее. Как же, осознавая все это, не быть безжалостным к себе, проспавшему судьбу? Как же себя причесывать-приглаживать? Отсюда и побег в мир внутренней жизни, философию, юмор и сарказм. От себя и в себя одновременно.

— Есть писатели, которые с удовольствием и много говорят о себе, любят поделиться информацией о собственных достижениях, регалиях, вехах своей «легендарной» биографии. Вы же, как я заметила, больше отмалчиваетесь. Это из-за скромности?

— Нет, просто лень говорить и писать о себе. Неинтересно. Правда, ничего легендарного в моей жизни не было. Все факты умещаются на одном листке формата А-4. Другое дело — написать духовную биографию. Что происходило в душе, как в ней отзывались те или иные события жизни. Как умнел, глупел, страдал, боялся, покрывался ржавью равнодушия, предавал и соскребал с себя нравственную грязь.

— И все же, хотя бы коротко, поведайте о своей жизни. В чем-то же заключается ее смысл. Где прошло детство, юность? Кто Ваши родители?

— Мне кажется, что еще в детстве смысл жизни приоткрыли мне мои родители. Они были сельскими медиками. Сразу после войны их направили в Калининградскую область, которая тогда заселялась приезжими из средней полосы России, поднимать культуру медицинского обслуживания на селе. Медиков там катастрофически не хватало. Так вот, я до сих пор помню эти бесконечные вызовы днем и ночью. Повод был почти всегда один и тот же — осколочные ранения. Земля, нашпигованная минами и неразорвавшимися снарядами, каждую весну выталкивала их на поверхность, и взрывы следовали один за другим.

Чаще всего страдали мальчишки моего возраста. Мы играли в настоящую войну, настоящим немецким оружием, найденным в окопах. А мои родители дневали и ночевали в домах пострадавших от взрывов. Им некогда было жить для себя.

Там же, в Калининградской области, я начал писать стихи. Вначале о Гусевском заводе светотехнической арматуры, где после школы работал слесарем-инструментальщиком, затем об армейских буднях — служил в Прибалтике радиотелеграфистом. Печатался в тамошних газетах, журналах, коллективных сборниках. И ничто не предвещало жизни в Беларуси, если бы не совет минчанина-сослуживца послать стихи в газету «Знамя Юности». Стихи напечатали большой подборкой, с теплым предисловием. Это и повлияло на мое решение — отслужив, приехать в Минск, поступить в БГУ на отделение журналистики.

— Легко ли Вам далось такое решение?

— Уезжал все-таки с чувством тревоги, боясь неизвестности. «Так держит дерево, что выкопано с корнем, родной земли тугие узелки». Это было написано позже, но по воспоминаниям того, первого отъезда в неведомое. Дерево при-

жилось благодаря теплу, заботе встретивших меня людей, белорусов. Я обрел вторую родину. Здесь вышли у меня первые книги стихов, здесь начал работать в газетах и журналах.

«Не убито, не забыто
То, чем жил и чем дышал.
Просто бытом, просто бытом
Обезболена душа...»

— Вы говорили о жизни в себе и вне себя. Что это значит? Поясните.

— В первой — стихи, ты всегда похож на себя. Во второй — то, из чего слагается внешняя кривая твоей жизни, где ты — разный, где порою не похож на себя. И как бы она ни была успешна, эта линия бытования, она вторична. Хотя образует важнейшие центры твоей судьбы, то, что называется биографией: учеба, работа, семья, отношения с людьми, дружбы и любови, путешествия… то, что делает тебя частицей социума. Заботится об этом отдел головного полушария, суверенитет которого постоянно страдает от покушений его соседа, живущего только поэзией. У меня всегда они в ссоре, но чаще побеждает второй, назову его трезвым и благоразумным. И тогда успехи сыплются на меня как из рога изобилия.

— Наконец мы добрались до главного — до Ваших успехов. Все-таки они были, имели место в Вашей биографии. А Вы говорите: судьба не состоялась. Вот об успехах и расскажите, пожалуйста.

— В 1965 году меня, студента 3-го курса БГУ, уже приглашают в штат «Советской Белоруссии» — первой газеты республики. В 1973-м за серию очерков (в соавторстве с Романом Ерохиным) Союз журналистов БССР премирует путевкой за границу — в круиз по Балтийскому и Северному морям с заходом в семь европейских стран. Многие ли в то время могли вырваться за кордон и своими глазами увидеть на витринах «ветчину и прочую антисоветчину», как сказал Вознесенский? В 1975 году меня берут на работу в престижное место — Агентство печати Новости, собственным корреспондентом по БССР. В 1985-м предлагают месячную стажировку в Индии, а затем — должность ответственного секретаря в журнале «Страна Советов» на три года. Потом командировка продлевается еще на два года. Я уже редактор журнала и первый заместитель заведующего Информцентра АПН в Дели.

Мой прагматический отдел головного полушария распирает от гордости. Стихи подавлены. Ужас! Я сдался. Предал. Я делаю карьеру и, ничего себе, живу; совесть просится ко мне, начальнику, на прием. Не пускаю.

В 92-м возвращаюсь в родные пенаты. Работы нет, деньги вмиг расфуканы. Как в омут, бросаюсь в издательский бизнес. Но понадобилось десять лет, чтобы посмотреть на себя, как на человека, который опять что-то значит.

Книгоиздательству учился у немцев (четыре поездки в Германию), у словаков (в типографиях Братиславы). В 2004-м выиграл американский грант на стажировку в издательских домах штата Миссисипи. Месяц — в Джексоне. Но угомониться не могу. И вот недавно — Лондон. Опять конкурс, на этот раз, слава Богу, по ведомости отдела, отвечающего за поэзию. На турнире литературных переводчиков, съехавшихся из 15 стран, занял второе место.

Теперь — все, надоело. Не знаю, может быть, даже неприлично в моем возрасте так высовываться. Хочется тишины.

— Но это же замечательно! Есть чем гордиться и чему радоваться.

— Ну уж нет. Отчего эта страусиная радость жизни под ее конец? От недостатка серого вещества? Говорят, страус каждое утро начинает жить с нуля памяти о вчерашнем дне. За ночь он начисто забывает, что было с ним вчера. Каждый раз он словно впервые видит солнце, траву, воду, деревья… Такая радость бывает у человека, чудом спасшегося от неминуемой гибели. Правда, у меня так было, и не однажды, но слишком давно, чтобы то, давнее, определяло отношение к жизни и сегодня.

***«Пережили невзгоды —
Нам бы смерть пережить…»***

— Вы обмолвились, что пережили экстремальные ситуации. Расскажите.

— Самая первая из них случилась в деревне Подгоровка Гусевского района Калининградской области. Мне было четырнадцать лет. Мы жили в полуразрушенном бомбежкой двухэтажном кирпичном доме, стоявшем на высоком холме. Моих родителей, медицинских работников среднего звена, командировали на работу сюда, на прусскую землю, откуда недавно выселили немцев.

Однажды я исследовал наш сад в поисках немецких снарядов или хотя бы пустых гильз. Мы, пацаны, сдавали их в утильсырье и получали за это деньги. Но иногда удавалось откопать невзорвавшиеся снаряды. Мы научились отделять головку, не прикасаясь к взрывателю, и извлекать порох. В некоторых он был в виде коричневых плоских стержней на всю длину гильзы. Из таких особенно хорошо получались петарды. Самые честные из нас говорили о находке родителям, те вызывали саперов из воинской части, и тогда за деревней гремели взрывы.

В тот день, расхаживая по саду, я вдруг заметил в земле нечто, похожее на крылышко. Наклонился, разгреб руками землю. Мне повезло, это была мина бутылочной формы с «четырехлепестковым» хвостом. Осторожно освободив ее от комьев, потянул и вытянул всю. И тут же заметил еще одну, и еще… Со всеми предосторожностями, нежно, боясь дышать, я извлек все мины. Их, пузатеньких, оказалось пять.

И вдруг я понял, что все сделал напрасно. Сад не огорожен, здесь часто ходят коровы и домашние свиньи. Что, если набредут на этот открытый склад?

Выход один — снести его вниз, на огород, сложить в кучу и поставить крест. До утра. А утром вызвать саперов. Задумано — сделано. Аккуратненько я сложил мины на левую руку, прижал, словно это была охапка дров, к груди, и пожелал себе не споткнуться, спускаясь с холма.

Но именно это и произошло! Уже подходя к огороду, потерял бдительность, зацепился ногой за сук и… полетел. До сих пор помню глухой стук мины о мину. «Все, конец!» — мелькнуло в голове, и я думал: это будет последняя мысль в моей жизни.

Но стояла совершенно невозможная, непостижимая тишина. Я лежал, боясь пошевелиться, не веря, что меня не разнесло на клочки. Наутро приехали саперы. Разряжали мины прямо на огороде, среди деревни — они оказались нетранспортабельными. Нужно ли рассказывать о других случаях из серии своих чудесных спасений?

— Давайте хотя бы еще об одном.

— Будучи студентом, один летний месяц провел в Крыму вместе с группой однокурсников. Зарабатывали на виноградниках, в выходные ездили на море. Заплывать далеко от берега — моя глупая страсть.

Как-то нежусь на теплой воде, смотрю на облака, наслаждаюсь — эдакая счастливая беззаботность, если бы не мысль: какая же ты мелюзга в этом огромном мире! На этой мысли… меня не стало.

Прихожу в себя в черной глубине от холода и давления в ушах. Не понимаю, где я, что произошло. Легкие разрываются… Выпускаю немного воздуха, кручу шеей — везде черно. Куда плыть — я должен решить в считанные секунды. Решаю сделать три гребка вверх. Глаза открыты. Если сейчас свет не забрезжит, перевернусь и поплыву в противоположную сторону. Не забрезжило. Тьма. Еще выпускаю струйку воздуха. Не дышать уже невмоготу. Что-то подсказывает сделать еще несколько взмахов. Господи, слава Тебе: там, над головой, посерело! Отчаянно гребу наверх, выпустив новую порцию воздуха. И, наконец, пробкой вылетаю из воды. Хватаю воздух. Спасен! До берега километр-полтора, но это уже пустяки.

И тут с ужасом вижу причину того, что случилось. Вокруг, метрах в тридцати от меня, колышутся огромные круглые ковры медуз. Потом, уже дома, я прочи-

таю в энциклопедии, что медуза убивает свою жертву электрическим разрядом. По чудесному замыслу природы дыхание тонущего при этом на время пресекается, преграждая воде путь в легкие, что меня и спасло. Это я узнаю позже. А сейчас, когда, блестя на солнце спинами, убийцы снова приближаются ко мне, я, как зверь, попавший в западню, лихорадочно ищу выход. Поднырнуть нельзя, могу не рассчитать и еще раз угодить под страшные щупальца.

Приходит нормальная звериная мысль: напасть первым. Я выбираю себе жертву поменьше, метра полтора в диаметре, и бросаюсь на нее. Зажмурив глаза, рассекаю ее пополам. Руки и тело погружаются в вязкий мерзкий студень. Прохожу сквозь него и… свободен! Впереди — каемка берега. Как от погони, саженками лечу к нему, а выбравшись, рухнул без сил на песок. Чувствую невыносимое жжение по всему телу, словно голым продирался сквозь заросли крапивы. Не в силах терпеть, катаюсь по песку. В тот же день положили в больницу, где почти две недели лечился от ожогов.

Что меня спасло эти два раза (и еще три)? Раньше мне казалось, что везение. Теперь уверен: Божья рука. Может быть, предки вымолили для меня эту везучесть, не знаю. В роду у меня были священники, и последний из них — дед по отцовской линии. В годы борьбы советской власти с церковью он был репрессирован, сослан на Соловки, но не доехал. В списках узников лагеря деда не оказалось. Возможно, сбросили с баржи — скорее всего, это была приснопамятная «Клара» — в Белое море. Как это обычно совершалось, подробно пишет русский генерал Иван Зайцев, испытавший ужасы СЛОНа (Соловецкого лагеря особого назначения). После только мой двоюродный дядя выбрал дорогу служения Богу. Отец Никодим, в миру Борис Георгиевич Ротов, был возведен в сан митрополита, когда ему было всего 33 года. В последние годы жизни заведовал Отделом внешних церковных сношений Русской Православной Церкви и остался в памяти верующих как защитник Церкви во времена хрущевских гонений.

«Не так уж и строги
К нам критики иные,
Когда в конце строки
Столкнут нас в «и другие»:
Поэтам малым — им
Быть повиднее лестно,
А рослым «и другим» —
Тем и в толпе не тесно…»

— Юрий Михайлович, я очень рада, что, хотя и не без некоторого сопротивления, но Вы все же поведали читателю о ряде событий в Вашей жизни, в том числе и имеющих отношение к творческой биографии. А вот честолюбие, тщеславие — наличие этих, на первый взгляд, негативных качеств или, можно даже сказать, пороков, — не является ли оно в то же время одним из источников успехов и достижений для писателя? Если да, то в какой форме, степени? Одолевали ли Вас когда-либо честолюбивые мечтания, «звездная болезнь»? Как мне кажется, этим переболевает каждый творческий человек.

— Нет, честолюбие и тщеславие, что, в принципе, одно и то же, не могут быть источником талантливого письма. Талант и стремление к славе, жажда почестей не просто противоречат друг другу — они враги. Это как гений и злодейство. И если талантливый человек жаждет возложения себе венков, что пристало только памятнику, то он совершает злодейство по отношению к своему дару. Исключения бывают, но очень и очень редко.

Однако ничего нет худого в том, что творческий человек хочет подняться по лесенке, ведущей к признанию, как можно выше. Признание укрепляет уверенность в себе, обостряет ответственность как перед своим талантом, так и перед читателем. Не обязательно, чтобы тебя узнавали на улице, но разве плохо, если на

твои вечера приходят, если тебе пишут, если ты своими произведениями кому-то помог разобраться в жизни?

Я вынужден признать, что желание быть известным сопровождало мое творчество, как тень идущего под солнцем. Хотя, и как тень, оно всегда было меньше жажды писать. А уж когда накатывал стих, исчезало полностью. Бывало, что написанное представлялось несомненной удачей, которую никто не видит. Или видят немногие.

От обиды на творческую судьбу как-то неестественно выпрямляется позвоночник. И думаешь: вон, у других — премии, награды, звания… А ведь я — не ниже их. Вирус тщеславия чаще поражает, когда не пишется. Лишь следующее стихотворение, а если его долго нет, то разум, спасают от «звездной болезни», совершающейся, правда, только внутри тебя.

К счастью, есть примеры подлинного творческого служения, без искушающей дьявольской мысли прославиться. Вениамин Михайлович Блаженный всю жизнь прожил в Минске безвестным, но не было дня, чтобы он не писал стихов. Первая книжка у него вышла, когда ему было под шестьдесят. Вот тогда о нем и заговорили. Масштаб его личности не позволял ему изменить своей мрачной музе страдания в пользу очаровательной интриганки, имя которой — Слава. Вспомнишь о нем, и все сразу становится на свои места.

— А вот и еще одно, как принято считать, негативное качество, которое в чем-то сродни честолюбию и тщеславию, — карьеризм. Как Вы считаете, по сравнению с теми, предыдущими, оно способствует росту и совершенствованию писателя или, наоборот, притупляет и даже убивает в нем творческое начало?

— Карьеризм нельзя путать с продвижением по службе. Ничего нет плохого в том, что рядовой инженер благодаря своему таланту стал директором завода. Все дело в том, как он шел к этой должности, преследуя личные цели или идеи. У Евтушенко есть хорошие строки: «И тем я делаю карьеру, // Что я не делаю ее!»

Карьеризм — это бег с препятствиями. К власти. Преодоление каждого препятствия происходит через унижение себя и других. Но настоящий писатель становится над человеком лишь в одном случае — «чтобы помочь ему встать». Пожалуй, лучше Маркеса не скажешь.

«Говорить бы без прикрас
и без околичностей.
Век наш короток, он нас
Учит лаконичности.
Чтоб была в строке моей
Милостью Всевышнего
Вся Вселенная, а в ней —
Ничего нет лишнего!»

— Юрий Михайлович, диапазон Ваших творческих пристрастий велик. И все же, кто Вы больше — лирик или философ, поэт или публицист? Переводчик? Критик? Менялось ли соотношение в пользу того или другого в течение жизни?

— Я не знаю. Поживите у большого озера. Сегодня оно задумчивое, таинственное, привораживающее темной глубиной. Ушло в себя. Словно ушло на дно. Это озеро-философ. А назавтра оно другое. Окрасилось от зари, просветлело, заблестело от солнца, полной грудью задышало под ветром, подпевает ему своими камышами. Осмелев, потянулось целоваться с берегом. Это озеро-лирик. А под сильным ветром вздымаются на озере высокие волны. То сворачивает оно их, то расстилает. А шуму-то злого, а искр зеленых, голубых, разных… Стихия! Это озеро-публицист.

Три ипостаси одного озера. Разделить их по временам года и жизни невозможно. Когда какая возникнет — неизвестно. От общественной погоды зависит,

от настроения, от случая. Любишь — ты лирик. Разлюбил — философ. Поговорить захотелось, да не метафорами, а обычным человеческим языком, как бабки на завалинке, — ты публицист.

Когда не пишется свое — ты переводчик. А когда не пишется и не переводится (увы, бывает и такое) — тогда литературный критик.

Но твои перевоплощения в то же время не статичны, они меняют контуры, как облака утреннего тумана в низине — клубятся, переходят друг в друга. Публицистика, критика, по-моему, не могут быть бесстрастными. Это не диетическая пища без соли. А где страсть — там поэзия.

— Бросается в глаза неожиданность поворотов в колее того или иного Вашего стихотворения, неожиданность концовок. Ну хотя бы вот эта: «Не суесловьте о жене поэта: // Он вас не может вызвать на дуэль». Каково Ваше поэтическое кредо?

— Свое поэтическое кредо я попытался выразить в строчках о том, что представляет собой (чаще всего!) современная поэзия:

Бог с ними, рифмами, но две-три мысли в томе
Сыскать — что девственниц найти в публичном доме.

(Рифмы)

Стихотворение тогда и пишется, если оно подогревается не только чувством, но и мыслью. Не затертой от частого употребления. Чаще всего она и дает толчок стихотворению.

«Я нынче бог, я на верху блаженства.
Мне удалось нестройность победить,
Почти физическую жажду совершенства
В четверостишье утолить…»

— Что есть в Вашем понимании талант, творческое вдохновение? Какие качества, на Ваш взгляд, отличают хорошего писателя?

— Талант — это способность увидеть вещи и связи окружающего мира исключительно по-своему, проникнуть в них, интуитивно догадаться об их природе. Происходит это в момент особой концентрации чувств и мыслей, который мы называем вдохновением. Тогда и случается озарение, открытие чего-то совершенно нового.

Но свойство поэтического таланта еще и в том, чтобы увиденное выразить словами, в умении так поставить их вместе, чтобы значение их от этого расширилось, расцветилось новыми красками. Талант поэта — талант перевоплощения: в другого человека, в птицу, зверя, ветку дерева, цветок, дождь, ветер… Это талант сопоставления и сравнения несопоставимого и несравнимого и рождения при этом новых ассоциаций и связей. Это талант сотворения мира.

Но сия удивительная способность может быть у одного сильнее, у другого слабее. Это дается генетическим кодом и, безусловно, трудом, которым талант развивается. Трудоспособность пахаря отличает хорошего писателя.

— Случалось ли писать стихи по заказу, на заданную тему? Возникал ли дух противоречия, внутренний протест?

— Однажды, по молодости. Игорь Лученок попросил написать слова на его «Марш энтузиастов». Я тогда как раз испытывал дефицит славы, и выступить в тандеме с известным композитором представлялось шансом выйти из тьмы на свет.

Но малодушие не помогает поэтам. Слова оказались малокровными, трескучими. В музыку они «встали». Но автор слов мог быть скомпрометирован, если бы марш исполнился больше одного или двух раз.

Получил хороший урок.

«Он — бог, владыка и герой,
Могущественней нет.
Но после пятой запятой
Зачем писать «поэт»?..»

— Юрий Михайлович, как-то подслушала (вернее, была невольным свидетелем) Ваш телефонный разговор с одним очень настойчивым автором, который чуть ли не требовал опубликования в ближайшем номере «Нёмана» далеко не самого высокого качества своих стихотворений. Вы решительно и категорично высказывались: «Сильные поэты не звонят! Звонят только слабые или средние. Например, Марат Куприянов — замечательный русский поэт в Беларуси. Вот он — никогда не звонит! Кстати, постараюсь поставить его подборку на четвертый номер».

Интересно, как редактор отдела поэзии журнала «Нёман» Вы никогда не сомневаетесь в себе — судье?

— Очень редко. Боюсь показаться высокомерным, но на стихи, думается, у меня абсолютный слух. Ни одна строка, если в ней что-то есть стоящее, не пройдет мимо внимания. Поэтому сужу, не сомневаясь. Ну а если, бывает все-таки, закрадется сомнение, есть с кем посоветоваться. За соседним столом в отделе критики работает Наталья Капа — поэт с безукоризненным вкусом.

Помогает и начитанность. Мы должны читать, что писали и пишут наши собратья по перу. Как можно больше. Но при этом иметь свое лицо. Недавно один из недобросовестных читателей прислал в журнал стихи Василия Федорова под своим именем. Подлог не прошел.

«Пред совестью своей мы все нагие.
Не возраст, нет — воспоминаний гири
Все тяжелеют и безжалостно гнетут.
И годы чести не прикроют стыд минут…»

— Вы заметили, что, задавая вопросы, я немало внимания уделяла негативным человеческим качествам, их влиянию на творчество. Ведь несмотря на то, что «человек — это звучит гордо», он все же и грешен по природе. В своем творчестве Вы нередко касаетесь этой известной истины. Но не каждый так просто, искренне и открыто может подтверждать ее на личном примере. Вы можете. Это стало естественным для Вас? И как давно? Мне кажется, что молодость на такое еще не способна.

— Джулиан Барнс как-то сказал: «Если вы боитесь обнародовать свою медицинскую карточку, в писателях вам нечего делать».

Обнажить душу — тоже не бог весть какой подвиг. Кто-то зажмурится от страха, кто-то залюбуется. Литература — не пляж нудистов и не паноптикум устрашающе-развлекательных историй. Литература отвечает на вопросы: зачем человек живет, для чего пришел в этот мир? Что положил в сердце и черепную коробку? Добро и зло, красота и уродство, честь и бесстыдство, разум и страсть… — что они в тебе?

Конечно, молодость не задает себе таких вопросов. Она шумит, гремит словами, как резвый ручей камешками… В двадцать лет еще не понимаешь, что пока не проживешь, не испытаешь — не напишешь. Что сатана уготовил тебе уже на земле пройти кругами ада. Так как в тебе непостижимым образом уживаются взаимоисключающие качества, а это ужасно.

Никто не знает, почему так происходит. Природа знает. Знает и молчит. А поэт все старается ее разговорить.

«Крик. Молчанье. Ощущенье.
Жест, срывающий покров.
Нагота. Освобожденье
Смысла от завалов слов.
И судьба — предвосхищенье,
Предсобытие стихов…»

— Чему Вы отдаете творческое предпочтение — вымыслу или реальности; и литература вне жизни — Литература?

— «Над вымыслом слезами обольюсь». Универсальный ответ на Ваш вопрос.

Вымысел — придумка, но равная воссозданию жизни. Сотворению нового мира, который может жить по своим законам. То есть, литература — не отражение, а мать, рождающая ребенка. Вот почему великие произведения не стареют. Перечитывая их в разные годы, находишь все новые и новые оттенки смысла в известных фразах, иначе смотришь на поступки героев. Ребенок растет.

Проза последних трех десятков лет, за редким исключением, — не болящая, а значит, и не вызывает сострадание, участие. Обличает — да, констатирует — да, умствует — бывает. Но она не щемящая, не берущая за душу, не заставляющая переосмысливать свою жизнь.

В поэзии — та же поверхностность, но здесь все же больше попыток прорваться в глубину переживаний. А в основном, она — назывная, свидетельствующая о чувствах, но каких-то неподвижных. Я бы назвал ее поэзией натюрморта: разнообразна, но не жива. Но и она тщится походить на жизнь.

Вне жизни литературы нет. Даже так называемая литературщина — попытка за красивостью, изысками слога, умопомрачительными ассоциациями спастись от обвинения во лжи. Увы, последняя — налицо. И наоборот, видим: вот явная неправда, вымысел, а дышит! А раз дышит, то, возможно, так и было в реальности и автор ничего не присочинил? Магия настоящей литературы…

«Я ухожу и оставляю вам
Незапертою дверь —
Как у славян
Бывало принято.
Желаю вам добра.
Огонь мой вас согреет до утра.
Но если вы придете на ночь в дом,
И соли и огня не будет в нем, —
Тогда предайте этот дом огню!
О вас я доброй память сохраню…»

Как я уже призналась, у Юрия Михайловича Сапожкова многому учусь. Работа рядом с таким человеком углубляет не только мои представления о литера́торе и литерату́ре, но, если можно так выразиться, и мой духовно-философский потенциал. Иногда тайком конспектирую то, что он высказывает авторам, коллегам, друзьям. Многое, о чем он убежденно, даже с какой-то страстью, говорит, представляет собой на удивление содержательные по смыслу и мудрости изречения, которые можно, без сомнения, отнести к афоризмам. Потому и вопросы к Юрию Михайловичу были больше психологического, философского характера, как (тут хочется улыбнуться) к Оракулу (т. е. прорицателю). Я надеюсь, что его ответы и рассуждения оказались полезными и интересными не только для меня.

Поэту больше всего в жизни хочется оставить после себя «дом» для друзей — своих читателей. И чтобы в доме том обязательно была «незапертою дверь», а также были и огонь, и соль. Иначе…

Такова наивысшая планка, которую устанавливает для себя Поэт, в этом — и его заветная мечта…

ТАТЬЯНА КУВАРИНА

«Есть прекрасная профессия – летать!»

Величайшее событие — переход от тьмы к свету — летчик наблюдает в непосредственной близости, он захватывает день в его зарождении. Ему известно, что восток белеет задолго до того, как взойдет солнце, но только в полете он присутствует при внезапном извержении света...

Антуан де Сент-Экзюпери

О**тчего** люди так стремятся в небо? Что движет ими, когда они выбирают профессию, связанную с постоянным риском? Романтика, желание испытать себя в экстремальных условиях? На эти вопросы летчики отвечают по-разному: кто-то в детстве посмотрел фильм про летчиков, кто-то прочитал книгу. А вот генерал-майор авиации Анатолий Константинович Сульянов увидел в 1938 году на аэродроме, куда его повез родственник, инженер Николай Шишанов, настоящий самолет, и глаза у него загорелись. Дядя Николай, заметив мальчишеский восторг, подарил племяннику свою голубую пилотку с напутствием, мол, вырастешь, будешь летать. Даже сохранилось черно-белое фото той поры — Анатолий в пилотке, лихо сдвинутой набекрень. Отныне все его фантазии были связаны с этой удивительной крылатой машиной, которую хотелось освоить, чтобы подняться на ней высоко, под самые облака, и парить там, словно птица. Анатолию Сульянову было в то время 10 лет.

* * *

В последнее время на телевидении, в книжках создают трафаретный образ генерала — грубого солдафона, ограниченного, глухого к людям. Моя встреча с генерал-майором Анатолием Константиновичем Сульяновым кардинальным образом опрокидывает такие представления. Я увидела интеллигентного, высокообразованного и эрудированного человека, с открытой душой, доброжелательного.

* * *

…Родился А. К. Сульянов в Подмосковье в небогатой крестьянской семье. С восьми лет уже помогал родителям по хозяйству. У него, старшего из троих детей, были свои обязанности: ухаживал за животными, растил кроликов. А в 12 лет отец научил его пахать, окучивать картофель. Вместе с отцом ездил в лес за дровами.

— Теперешняя молодежь лишена необходимости да и желания физически трудиться, поэтому они более слабые, чем наше поколение. Нас же физический труд хорошо закалил, — рассказывает Анатолий Константинович. — Теперь все больше молодежь озабочена развлечениями, а телевидение и образ жизни во многом этому способствуют. В то время у нас в деревне, может, только у нескольких человек было радио. Я слушал классическую музыку, новостную и познавательную информацию, а потом рассказывал своим ровесникам на улице и в школе. Получалось, что я уже тогда проводил политинформации.



А. К. Сульянов. Лето 1964 г.

С детства Анатолий пристрастился к чтению книг. С благодарностью он вспоминает свою первую учительницу, имя которой помнит до сих пор, — Веру Васильевну Разумовскую. Это она поставила перед своими учениками задачу — за неделю прочитывать одну книжку. Как же благодарен он учительнице за эту свою страсть! Какой богатый мир перед ним открылся! К тому же было с кого брать пример — отец тоже был заядлым книгочеем. Электричества тогда не было: читали долгими зимними вечерами при свете керосиновой лампы и обменивались с отцом своими впечатлениями о прочитанном. И еще за одно увлечение признателен он Вере Васильевне — за то, что открыла ему гений Пушкина.

В двух верстах от его села Большие Веземы, недалеко от Звенигорода, местах очень живописных, за что их даже называли русской Швейцарией, находилось небольшое сельцо Захарово. Это одно из заповедных пушкинских мест, связанное с детскими годами поэта. Маленький Александр жил здесь с пяти до одиннадцати лет (до поступления в лицей) с бабушкой Марией Алексеевной Ганнибал и няней Ариной Родионовной.

— Как только после зимы таял снег, мы ходили в Захарово, по так называемой пушкинской тропе — по этой тропе Пушкин со своими бабушками приходил в Большие Веземы в церковь, — вспоминает Анатолий Константинович. — Учительница каждому из нас давала задание — выучить два четверостишия Пушкина, а когда мы приходили к пушкинскому домику, уже разрушенному — остались

только ступеньки, мы на них читали его стихи. И с тех пор Пушкин всегда со мной. Знал на память много его стихов, читал на вечерах в школе, в училище, в госпитале, когда Западный фронт оказался в Подмосковье.

Став курсантом Тамбовского авиационного училища, однажды даже «пострадал» из-за Пушкина. Как-то в гарнизонный офицерский клуб привезли фильм «Пушкин и Глинка», и я, будучи курсантом, не мог пропустить это событие: самовольно пошел в офицерский клуб, хотя всегда был дисциплинированным курсантом. И попал на гауптвахту. Меня заметил военный комендант, отправил под арест на трое суток. Там сидели проштрафившиеся за грубые нарушения солдаты срочной службы, и как же они были удивлены, что меня, курсанта, арестовали за просмотр фильма. И вот там я им читал главы из «Евгения Онегина», стихи Пушкина. Они меня все просили и просили читать. Так что, может, за те трое суток и они полюбили Пушкина.

…В милые светлые воспоминания врываются те, которые делают солнечную живописную картину детства будто перечеркнутой черной краской. Война принесла тяжелые испытания всем, в том числе и семье Сульяновых. Близость столицы, бомбежки, раненые, голод и, самое главное, — смерть отца в московском госпитале от заражения крови после ранения. Юный Анатолий хотел на фронт, чтобы отомстить врагам за смерть отца. Но, конечно, об этом не могло быть и речи — всего пятнадцать лет. И продолжал мечтать о небе: сколько раз во сне он бомбил фашистов на своем самолете... Узнав, что 1-я Московская спецшкола военно-воздушных сил, в которую он хотел поступить, эвакуировалась в поселок Заводоуковск, неподалеку от города Ялуторовска Тюменской области, написал туда письмо. И вот в 16 лет с полным правом надел красноармейскую гимнастерку с голубыми петлицами.

Взрослых мужчин в Заводоуковске почти не осталось — ушли на фронт, поэтому кроме учебы приходилось много работать физически: отгружали фронту тяжеленные бревна, доски и другие лесоматериалы, так как область не выполнила задание по их отгрузке. И полуголодные курсанты школы — какая еда в то время была в тылу! — в ботинках и шинельках в сибирские морозы в лесу вытаскивали из-под снега подготовленные, но не вывезенные из тайги шестиметровые бревна, чтобы погрузить на платформы и везти за 70 километров до станции, а там погрузить в эшелоны. Единственной отдушиной в то время были лыжи — в воскресенье проводились кроссы. И это была радость — вырваться из учебных классов, а после бревен это казалось таким отдыхом! «Было очень трудно, — говорит Анатолий Константинович, — но этот тяжелый труд закалил нас. Мы знали, ради чего приходилось преодолевать препятствия».

* * *

Глядя на подтянутого генерал-майора авиации, даже трудно поверить, что ему уже 82 года — календарный возраст явно не совпадает с биологическим. Анатолий Константинович — деятельный, энергичный человек, продолжает много трудиться: пишет книги, статьи, часто выступает перед студентами, школьниками, курсантами, солдатами. И ему есть что рассказать. Паренек из крестьянской семьи стал летчиком-истребителем 1-го класса, освоил 14 типов самолетов, дослужился до звания генерал-майора, встречался с известными военачальниками. Кроме того, написал и издал около десятка романов и повестей. Стал известным писателем. Его книги, конечно же, в основном об армии, об авиации, о том, что знает хорошо сам. Такие романы, как «Расколотое небо», «Голубые снега», «Арестовать в Кремле», повести «Только одна ночь», «Замполит», «Третий пилот» стали популярными, получили признание у читателей. За роман «Расколотое небо» Анатолий Константинович был удостоен литературной премии и медали Александра Фадеева. Повести «Третий пилот» и «Только одна ночь» экранизированы на Белорусском телевидении. Дважды переиздана в России

его книга-напоминание, книга-размышление «Маршал Жуков. Слава. Забвение. Бессмертие» о величайшем полководце XX века, человеке трудной судьбы. И конечно же, просто не мог не написать о «своем» Пушкине — в 2006 году вышла в свет книга «Пушкин, Элиз Кутузова и Долли Фикельмон». В этих двух книгах проявился еще один его талант — исследовательский. Для того, чтобы написать эти книги, ему пришлось работать в архивах, библиотеках с письмами и документами, встречаться с учеными, военачальниками — маршалами и генералами.

Во время встречи с Анатолием Константиновичем у него дома, в его рабочем кабинете я увидела развешанные на стенах фотографии, стеллажи с множеством книг, на рабочем столе кипы рукописей. Писатель Сульянов продолжает работать над очередной книгой. Он, прежде чем начать разговор, устроил мне небольшой экзамен — знаю ли я людей на фото. Назвала — Эрнест Хемингуэй, Василь Быков, Юрий Бондарев, Антуан де Сент-Экзюпери — чем обрадовала моего собеседника. И дальше наша беседа пошла о литературе, о ее большом воспитательном значении.

— Время такое, что надо воспитывать молодежь на образцах высокой культуры и искусства, особенно литературы. Ведь это самый лучший способ познания человека и общества, духовного богатства и интеллектуального многообразия мира. Я стал летчиком, генералом и писателем во многом благодаря тому, что читал много книг, в основном классику — русскую, белорусскую, французскую, американскую… Да все наше поколение выросло на книгах. Поэтому то время подарило так много выдающихся ученых, писателей, военных! Художественная литература — не только источник познания мира, но и мощный фактор воздействия на сознание людей, — убежден Анатолий Константинович. — Кроме того, музыка (не попса! — уточняет он), хоровое искусство, народные танцы — все то, что пробуждает лучшее в нас. Я об этом сказал и на заседании Республиканской комиссии по культурному шефству над Вооруженными Силами Республики Беларусь, членом которой являюсь. Сказал, что солдат и курсантов обязательно надо приобщать к высокому искусству — обязательно организовывать читательские конференции, посещение филармонии, театров, художественных выставок. Министр обороны генерал-полковник Л. С. Мальцев меня поддержал.

* * *

…Перед окончанием войны 1-ю Московскую спецшколу ВВС вернули из Сибири в Москву. Об этом периоде Анатолий Константинович вспоминает с особой теплотой. Ведь именно в Москве он полюбил театр, классическую музыку, оперу, балет. Хотя вначале никак не мог понять, когда впервые попал в Большой театр на оперу: зачем поют, если лучше было бы выразить словами? В те годы он стал понимать музыку и испытывать восторг от нее. Поэтому и ратует за то, что надо любыми путями молодежь приводить в театр, не раз и не два, — серьезная музыка требует подготовки, и тогда душа будет очищаться великой музыкой.

Уже будучи курсантом Армавирского училища летчиков (в 1947 году после расформирования Тамбовского авиационного училища штурмовиков А. Сульянов продолжил учебу в Армавирском училище летчиков-истребителей. — Т. К.), он впервые поднялся в небо. Ощущения первого полета запомнились на всю жизнь: «Я запел от радости». Он понял, что в выборе профессии не ошибся. Здесь же он впервые прочитал книгу Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей» — и с тех пор это любимая, можно сказать настольная, книга Сульянова.

Я не зря взяла эпиграфом строчки из Экзюпери. После встречи с Анатолием Константиновичем перечитала «Планету людей». Мне показалось, что многое, о чем он недосказал в беседе, я нашла и в книгах Экзюпери, и в книгах самого Сульянова. Поиск гармонии, справедливости, доброта, оптимизм, жажда познания мира и Вселенной, и главное, романтическое мировосприятие объединяют двух летчиков и писателей.

«Для меня летать и писать — одно и то же. Главное, действовать, главное, найти себя. Авиатор и писатель сливаются: оба в равной степени познают мир», — пишет Экзюпери. Сульянов в предисловии к роману «Голубые снега» говорит: «Герои моей книги… обожают свою романтическую профессию, любят, ищут истину, борются с равнодушием, черствостью, ошибаются и живут надеждой и любовью…»

* * *

Мой рассказ о генерале будет неполным, если не вспомню о его надежном тыле, верной спутнице и подруге Таиссии (так в паспорте. — Т. К.) Ивановне, которая всегда поддерживала мужа, верила в его талант. Как-то подарила ему книгу любимого писателя и написала: «Поздравляю тебя с Днем авиации и твоими первыми литературными успехами. Легкого тебе пера и неба, дорогой мой человек. Правда, ты еще не Сент-Экзюпери, но хочу верить». Ее вера и поддержка помогали Анатолию Константиновичу во всем. Таиссия Ивановна взяла на себя все заботы по дому: работала, вела домашнее хозяйство, воспитывала детей, пока муж летал, ездил по командировкам. Нелегка жизнь жены военного. Но со всем она справилась. Детей — сына Юрия и дочь Гелену — Сульяновы воспитали достойными и самостоятельными. В прихожей на зеркале большая надпись: «Родители, я Вас очень люблю. Ваш Сын». Даже мне от этих слов стало тепло. Таиссия Ивановна улыбнулась: «Пока я жива, эту надпись не сотру — так дорога она мне!»

Таиссия Ивановна и Анатолий Константинович — ровесники, и в год их восьмидесятилетия сын Юрий, живущий в Москве, подготовил им необычный подарок — организовал поездку на Север, в гарнизон Бесовец, где его отец более пяти лет служил заместителем командира истребительного авиаполка по политчасти, где стал летчиком 1-го класса, где получил первый орден Красной Звезды. Сослуживцы ждали Сульяновых на вокзале. Это была незабываемая встреча — встреча с молодостью.

Растет у Сульяновых внучка, а фамилию продолжат два внука.

* * *

Анатолий Константинович держит в памяти имена своих учителей, первых инструкторов и тех, кого сам потом учил летать. Портрет любимого первого инструктора Миши Адамовского висит в его кабинете.

— Учитель для меня — самое прекрасное, что было в жизни, — говорит Сульянов. — В жизни так важно, чтобы был хороший учитель, или хороший командир, или хороший редактор, или хороший директор… Да, должна быть требовательность, но должна быть доброта и справедливость, я и сам всегда страдал от несправедливости.

В наше время, к сожалению, почему-то так редко говорят о благодарности учителям. Особенно меня коробит, когда наши «знаменитости», часто мелькающие на телеэкранах, говорят, что в школе было все плохо: «Я не помню учителей, мне было неинтересно, школа — лучше не вспоминать…» Можно дальше не слушать такую «звезду» — и так все понятно… Чему он может сам научить других? Благородству? Чему-то хорошему? Вряд ли, ведь неблагодарность — это одна из отвратительных черт духовно нищих людей.

* * *

После окончания училища, как способного летчика, его оставили работать в училище инструктором. Но вначале отправили на учебу в Грозненскую высшую офицерскую школу летчиков-инструкторов, где изучали психологию, педагогику,

методику обучения по программам университета. После такой подготовки молодые инструкторы чувствовали себя более уверенно. «Дорогой Анатолий Константинович, Вы мой лучший учитель!» — написал ему спустя много лет бывший курсант Володя Match Match Match Match Match Match Match

В том, что он стал внимательным к своим подчиненным, несомненно, кроме личных качеств Сульянова, большая заслуга и его первого учителя, его пример. Однажды курсант Сульянов накануне полета — почту доставляли на аэродром — получил письмо, написанное незнакомым почерком. Младшая сестра его девушки сообщила, что та выходит замуж, и чтобы он ей больше не писал. «Меня просто трясло, — вспоминает Анатолий Константинович, — все-таки первая любовь — сильное чувство. А тут такой удар. Но надо лететь. Не знаю, что бы случилось, если бы мое состояние не уловил чуткий инструктор Михаил Адамовский: «Ты сегодня не полетишь — бери мой мотоцикл, удочки — и на рыбалку. Полетишь завтра!»

Работа инструктором не только совершенствовала летное мастерство самого Сульянова, но и повышала его уровень как воспитателя. «Приходит группа курсантов, и твоя обязанность сделать из них хороших летчиков. А ведь курсанты разные: бывали с взрывным характером, самолюбивые, заносчивые. Но профессия летчика требует выдержки, сильного характера, ответственности, не терпит расслабленности. Приходилось многим корректировать характер, — рассказывает генерал. — За восемь лет работы инструктором я не отчислил ни одного курсанта, потому что если и были какие-то проблемы у них, мы их вместе преодолевали».

А писать Анатолий Константинович начал случайно. Группа курсантов, в которой учился Сульянов, сдавала экзамен по очень трудному курсу «Радиосвязь».

— Нам преподавал курс участник войны, полковник Гаевой — преподаватель высочайшего уровня, он так доходчиво объяснял труднейшие схемы, что мы все хорошо понимали, и в итоге 20 курсантов получили «пятерку». Требовательный начальник училища полковник Шубин не поверил в объективность этих оценок и решил устроить переэкзаменовку, и в результате — опять двадцать «пятерок». Командир батальона мне поручил, чтобы я написал об этом в окружную газету, так как я уже выпускал настенную. И моя заметка «Двадцать пятерок» была напечатана, с чем меня поздравили мои однокурсники. А я получил предложение от газеты о сотрудничестве. «Мы вводим вас в штат курсантов заочного обучения, — писал заместитель главного редактора окружной военной газеты. — Вы будете нам писать, мы — править, редактировать и отсылать, чтобы вы познакомились с правками и поняли свои ошибки». Так я стал постоянно писать в газету.

Генерал говорит, что ему в жизни везло на хороших людей. Каждый его переезд на новое место учебы, службы — а военные переезжают часто, во всяком случае, раньше так было, — дарил ему встречи с новыми людьми. А его утверждение, что встречалось много хороших людей, мне кажется, больше характеризует самого Анатолия Константиновича: просто он открыт добру и благосклонно относится к людям, вот и они не могут ответить ему иначе. Плюс его трудолюбие, постоянное самообразование, обостренное чувство справедливости, безусловно, вызывают уважение. Как он говорит о себе: «Крестьянский образ жизни сказался на характере. Вырос в селе и сельский в душе до сих пор». На мой вопрос, что он подразумевает под словом «сельский», Анатолий Константинович объяснил: «Это неторопливый образ жизни, привычка трудиться, делать все основательно, отсутствие заносчивости».

* * *

В 30 лет майор Сульянов поступил в Военно-политическую академию. Учился с рвением. Но и не упускал случая воспользоваться возможностями столицы. С Таиссией Ивановной, учительницей русского языка и литературы, старались

посещать все столичные премьеры. У них много общего, и главное, оба любят книги и театр.

— Наша Академия — такая высочайшая школа, великолепные преподаватели. Практика, стажировка в войсках. Полковник Карамышев Всеволод Александрович, узнав, что в Армавире я писал в окружную газету, привлек меня к работе в многотиражке. Был очень требовательным. А после окончания Академии он мне посоветовал купить столько блокнотов, сколько в летном комбинезоне карманов, и записывать все, что буду видеть и чувствовать в воздухе. Я так и сделал, — рассказывает генерал.

По окончании Академии его распределили в северную Карелию, в гарнизон Бесовец (по названию близлежащей деревни. — Т. К.). Полк был не самым лучшим — об этом его предупредили — были случаи пьянства, нарушений режима предполетного отдыха и других несоблюдений дисциплины. А профессия летчика ведь очень опасная, зависит и от техников, и от настроенности самого летчика. Поэтому вновь назначенные командир полка Алексей Соколов и его заместитель по политчасти Сульянов сразу взялись за наведение порядка и воспитание личного состава полка. Вскоре полк был выведен в число лучших по всем показателям. Замполит много времени проводил на аэродроме, в казарме, в беседах с людьми. Ему поверили и сами шли со своими проблемами — значит, доверяли. А он отвечал за многое: и за отдых перед полетом, и проблемы бытовые решал, и помогал советом, и главное, отвечал за дисциплину.

— Много теперь начальников, которые дают указания — и все. А ты выслушай человека, помоги ему — и он будет стараться, — уверен Сульянов. — Летчика воспитывают обстоятельства на земле и в воздухе, а поэтому командиры, воспитатели должны создавать такие ситуации, чтобы у них мужество рождалось через преодоление трудностей, в столкновении с опасностью.

Но он занимался не только обязанностями замполита, но и много летал. За пять лет стал летчиком 1-го класса, в общей сложности налетал более 2000 часов.

Я спросила генерала, что значит летчик 1-го класса. «Это летчик, который летает днем в сложных облаках, ночью — в простых и сложных условиях, при минимуме метеоусловий. В теперешнее время летчикам немножко проще — многое подсказывает автоматика, зато самолеты более сложные и скорости другие», — объяснил он.

«Есть прекрасная профессия — летать! Летчик довольно часто испытывает огромное удовлетворение от полета, перегрузок, но сколько душевных мук испытывают летчики! Никому, кроме самих летчиков, не дано испытать это сладкое, перемешанное часто со страхом, чувство полета и бесконечного ощущения единения с небом. Взлет опасен, полет прекрасен, посадка сложна! Никому, кроме летчиков, неведомо это чувство локтя, крепкой дружбы между небесными братьями! Никто, кроме летчиков, не знает, каких переживаний стоит всего один полет в темных ночных облаках вне видимости земли, в дождь, в чужом краю или над мрачными холодными водами океана...»

(Из романа Анатолия Сульянова «Голубые снега».)

В гарнизоне Бесовец Анатолий Константинович создал Музей боевой славы полка, за что получил Грамоту от тогдашнего Министра обороны СССР маршала Р. Я. Малиновского. В музее были собраны материалы обо всех Героях Советского Союза, служивших в полку. А на 20-летие Победы командование полка пригласило всех Героев в часть. Здесь же, на Севере, Сульянов издал свою первую небольшую книжку «Записки политработника». В Москве ее прочитали, и один из генералов Главного политического управления обратил внимание на толкового политработника, да к тому же пишущего, — и Сульянова, тогда уже полковника — начальника политотдела дивизии, назначили на работу в Москву, в Министерство обороны СССР инспектором. Поработав на Севере, он знал многие сильные и слабые стороны работы командиров, инженеров, воспитателей частей.

Он определял обстановку в войсках после бесед с командирами и замполитами, посмотрев бытовые условия, побывав на ночных полетах, ознакомившись с ходом учебно-боевой подготовки. За семь лет работы инспектором Министерства обороны он облетал почти всю территорию огромной тогда страны — СССР. Побывал на Новой Земле, Курильских островах, Чукотке, Камчатке, Сахалине, в Средней Азии, на Кавказе… Генерал вспоминает одно из труднейших и ответственных заданий: в Министерство обороны СССР пришло много жалоб от офицеров, служивших на Севере. Они справедливо жаловались в ЦК КПСС, правительство, что их семьи не обеспечены нормальным жильем — приходится жить с детьми в бараках, нет детских садов, из-за холодов закрываются школы. По указанию председателя правительства СССР А. Н. Косыгина министр обороны маршал А. А. Гречко приказал проверить факты, создал комиссию. Анатолий Константинович в составе группы заместителя министра обороны генерал-полковника Маряхина облетел все побережье Ледовитого океана — от Архангельска до Чукотки. Изучали самым тщательным образом бытовые условия офицеров, солдат — общежития, столовые, котельные, интересовались, почему не завезли нефть, почему уголь плохой. И написали многостраничный отчет и предложения. Для доклада Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу этот отчет пришлось переделать, чтобы было самое важное и коротко. В результате проверки было дано распоряжение правительству и Генштабу: в течение пяти лет выделить необходимое количество финансовых средств на обустройство северных и восточных гарнизонов, на решение жилищных проблем, снабжение, строительство школ и детских садов, общежитий. За пять последующих лет были обустроены почти все военные городки Севера и Дальнего Востока.

Работу Сульянова в Министерстве обороны оценили, его повысили, назначив на должность члена Военного Совета 2-й отдельной армии ПВО. Так Анатолий Константинович приехал в Минск. В подчинении командования армии ПВО находились воинские подразделения и части в Литве, Латвии, Белоруссии и Калининградской области. В Минске он познакомился с руководством республики — П. М. Машеровым, Т. Я. Киселевым, А. Н. Аксеновым. Познакомился и подружился с представителями творческой интеллигенции, с писателем Василем Быковым. О дружбе с ним, о долгих беседах и встречах он пишет книгу, главы из которой уже были опубликованы в журнале «Нёман».

* * *

В Приказе Министра обороны Республики Беларусь № 715 от сентября 2007 года «О зачислении почетным летчиком Вооруженных Сил Республики Беларусь в списки личного состава 61-й истребительной авиационной базы» говорится: «В целях сохранения и умножения боевых традиций старших поколений защитников Отечества, воспитания личного состава на их героическом прошлом

Приказываю:

Зачислить почетным летчиком Вооруженных Сил Республики Беларусь в списки личного состава 1-й истребительной авиационной эскадрильи 61-й истребительной авиационной базы Западного оперативно-тактического командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны генерал-майора авиации в отставке Сульянова Анатолия Константиновича».

С 61-й ИАБ Анатолия Константиновича связывает многолетняя дружба. Еще с тех времен, когда он был членом Военного Совета, приезжал сюда 3—4 раза в год, чтобы побывать на дневных и ночных полетах. С тех пор там многое поменялось, пришли другие офицеры, но, тем не менее, авиабаза осталась, по выражению Сульянова, для него близкой. Постоянно звонит в часть, приезжает на важные мероприятия, встречается с летчиками, техниками и солдатами. Хорошие, довери-

тельные отношения сложились у Сульянова с руководством авиабазы — командиром войсковой части полковником Воробьевым Юрием Алексеевичем и заместителем командира по идеологической работе Рябухиным Владимиром Григорьевичем. Оба — летчики 1-го класса. О полковнике Воробьеве Сульянов говорит: «В своей жизни я встретил еще одного командира полка, которого очень высоко ценю. Он по-командирски строг, но умеет слушать людей, близок к ним. Умеет владеть собой. А умение сдержать гнев — одно из лучших командирских качеств. Среди командиров полка не так часто встречаются такие личности. Он явился достойной сменой предыдущего командира полка — Марфицкого Александра Эдуардовича, недавно погибшего». Испытываю невероятное уважение к Воробьеву еще и за то, что он одним из первых посадил сверхзвуковой истребитель МиГ-29 на шоссе. Это говорит о высочайшем его мастерстве летчика. Высоко ценит генерал и заместителя командира полка по идеологической работе: «Идеолог, беспокойная душа, создал прекрасный музей. Хорошо знает летчиков — знает, как они ведут себя и на земле, и в воздухе, потому что летает. Бывает, что идеологи занимаются только политинформацией, но оптимальное сочетание в летных подразделениях, считаю, когда идеолог на должном уровне ведет идеологическую и воспитательную работу и одновременно летает. У него двойная нагрузка».

Одна из последних и запоминающихся встреч генерала Сульянова на 61-й истребительной авиабазе произошла во время последних масштабных учений «Запад-2009». В период с 18 по 29 сентября 2009 года личный состав 61-й ИАБ принял участие в оперативно-стратегическом учении, которое явилось логическим продолжением учений последних лет и было направлено на проверку функционирования системы совместной обороны Союзного государства, ее способности решать задачи обеспечения национальной и региональной безопасности. Не удержался Анатолий Константинович от искушения — побывал в кабине новейшего сверхзвукового Су-34 и испытал невероятное волнение. Так трудно было сдержать свое желание устремиться туда, высоко-высоко, к облакам. Познакомился на встречах с российскими летчиками, посмотрел и оценил их показательные выступления. Посчастливилось присутствовать при встрече двух президентов — Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Порадовался тому, как выступили на учениях его сослуживцы — таковыми он считает летчиков 61-й. Они достойно отлетали, показали хорошие результаты, и генерал поздравил их с успехом. Президенты вручили отличившимся летчикам именные часы, медали, грамоты. В числе награжденных и командир базы полковник Ю. А. Воробьев, который получил медаль «За укрепление боевого содружества».

— Эта поездка у меня была не только воспитательная, но и познавательная как для писателя. Вместе со всеми я был на полетах, стоял в строю, — радуется Анатолий Константинович, вспоминая знаменательное событие.

* * *

Побывала в 61-й ИАБ и я. Начала свое знакомство с частью с Музея имени Владимира Карвата — там отображена вся история части.

61-й истребительный авиационный полк был сформирован с целью охраны западных рубежей государственной границы нашей Родины в воздушном пространстве в 1951 году, а 1 мая ему было вручено Боевое Знамя. Этот день стал Днем образования части. В биографии базы есть и военные страницы — их раньше не обнародовали: участие 1-й эскадрильи 61-го полка в борьбе корейского народа против американских агрессоров. На стенде в музее фото, имена и фамилии летчиков и техников, принимавших участие в боевых действиях, свидетельства летчиков на корейском языке

Менялись командиры, состав части, марки самолетов и даже название — 1 января 1994 года на базе 61-го полка была сформирована 61-я истребитель-

ная авиационная база, но неизменным у летчиков остается одно — стремление достойно защищать границу, а для этого они постоянно совершенствуют свое летное мастерство, впитывая опыт предыдущих поколений. За почти 59-летнюю историю летчики вписали в нее немало героических страниц, проявив лучшие качества защитников Родины — честь, мужество, благородство. В годы «холодной войны», когда наше небо неоднократно нарушалось противником — только в 1985 году 43 раза поднимались наши МиГи-25 на перехват американских самолетов-шпионов SR-71 («Black Bird»), умело проявили себя командиры части, которые потом стали видными военачальниками: командир корпуса ПВО генерал-лейтенант авиации Иванов Дмитрий Алексеевич; 1-й заместитель начальника Главного штаба войск ПВО РФ генерал-лейтенант авиации Макоклюев Евгений Дмитриевич; начальник политуправления Московского округа генерал-лейтенант авиации Пономарев Вадим Алексеевич и другие.

Имя первого Героя Республики Беларусь Карвата Владимира Николаевича известно ныне каждому белорусу. Он — из этой части. В ночном полете самолет подполковника Карвата из-за возникшего пожара стал терять управление. Полет проходил на высоте 800 метров над густонаселенной местностью. Ценой собственной жизни и благодаря летному мастерству подполковник Карват не допустил падения самолета на населенный пункт. Указом Президента Республики Беларусь № 484 от 21 ноября 1996 года летчик удостоен высокого звания Героя Беларуси посмертно. Подполковник Карват В. Н. зачислен навечно в списки личного состава 1-й авиационной эскадрильи 61-й истребительной авиационной базы. Друзья и сослуживцы бережно хранят память о своем товарище — его именем назван музей базы, в котором собраны документы и личные вещи героя. Сослуживцы ежегодно бывают на его родине, посещают школу № 8 в Бресте, где он учился, шефствуют над ней, постоянно возлагают цветы на месте гибели летчика недалеко от деревни Арабовщина, где установлен памятный знак, и на месте, где он похоронен. Проводят волейбольные и детские международные боксерские турниры имени Героя Беларуси Карвата. Имя Карвата всегда звучит на вечерней поверке.

В профессии летчика не всегда все зависит от мастерства. Бывают непредвиденные обстоятельства, когда перед летчиком стоит выбор: катапультироваться и остаться в живых или до конца остаться в самолете, но увести его в безопасное для людей, находящихся на земле, место. Эти мгновения, когда ты выбираешь, что для тебя главное, — как бы подводят итог всей твоей жизни. Я выписала понравившиеся мне строки писателя Георгия Маркова: «Иногда подвиг требует секунд, иногда часов, но очень часто многих лет, а порой целой жизни. Но в какой бы форме ни проявлялся подвиг, какой бы характер он ни носил — истоки его одни: цельность души человека и высокая осознанность им своего места в жизни...» Такую цельность души проявили и летчики 30 августа 2009 года на авиационном шоу в Польше «Радом-2009». Совсем недавно это событие произошло, мы все вместе переживали эту трагедию, она была у всех на слуху: при выполнении демонстрационного полета потерпел катастрофу самолет Су-27 УБМ (учебно-боевой модернизированный). Военные летчики-снайперы полковник Марфицкий Александр Эдуардович и полковник Журавлевич Александр Адиславович погибли, уводя самолет в безлюдное место, но спасли жизни многих людей. Полковник Марфицкий был командиром 61-й базы с 2002-го по 2006 год, потом ушел на повышение — стал заместителем командующего Западного оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО, полковник Журавлевич был заместителем командира по летной подготовке 61-й базы.

В Музее собраны документы этих мужественных людей, фотографии. Но заместителю командира по идеологической работе полковнику Рябухину рассказывать о них трудно — очень хорошо знал их, дружил с ними. Очень трудно

свыкнуться с мыслью, что их уже нет. И Марфицкий Александр Эдуардович, и Журавлевич Александр Адиславович достойны Памяти. Говорят, во время похорон в Барановичах их вышли провожать почти все горожане, приезжал Министр обороны Республики Беларусь, представители Министерства обороны Российской Федерации, Республики Польши и воинских соединений из Беларуси и России, чтобы почтить героев.

В 61-й служат как опытные, так и недавно пришедшие после окончания Военной академии молодые летчики, которые постигают азы высшего пилотажа — им есть у кого учиться, им есть кем гордиться. Все они пишут современную историю 61-й. С уважением в части относятся к восьми воинам-интернационалистам, которые служат на базе.

— 61-я база вписана в историю Вооруженных Сил и Советского Союза, и Республики Беларусь тем, что здесь готовят прекрасные кадры летного состава — летчиков 1-го класса, летчиков-снайперов, т. е. кадры, которые решают судьбу защиты нашего Отечества, — говорит Почетный летчик 61-й ИАБ А. К. Сульянов.

* * *

Во время пребывания в части я познакомилась с молодым старшим лейтенантом, уроженцем Барановичей, Ильей Гринашем — он прибыл сюда служить из другой части месяца три назад. Сейчас занимает должность старшего помощника начальника отделения по идеологической работе 61-й ИАБ. Получил блестящее образование: окончил Московский военный университет, факультет культуры и журналистики с красным дипломом. На выбор его профессии оказал влияние отец, который мечтал стать военным, но в силу обстоятельств не получилось, и своей мечтой зажег сына. И вот старший лейтенант Гринаш говорит, что каждое поколение не похоже на предыдущее, но тем не менее молодежь слушает ветеранов, потому что их авторитет непререкаем. Особенно тех, кто, по сути, отстаивал право на жизнь. «Здесь, на 61-й авиабазе, я сразу почувствовал дух коллективизма, отношения между начальниками и подчиненными, на мой взгляд, близки к идеальным», — говорит представитель молодого поколения.

* * *

В небольшом очерке невозможно описать всю работу, что помимо полетов проводится в части. Много времени офицеры уделяют воспитанию подрастающего поколения. У них несколько подшефных классов и даже школ. Особое внимание уделяют Ястребельской школе-интернату, где живут и учатся дети-сироты. А с кадетским классом этой школы у них самые тесные связи — приглашают их в часть, летом молодые офицеры едут качестве военруков с кадетами в летний лагерь, где занимаются с ними, проводят военно-спортивные игры. Мальчики получают мужское воспитание, которого им так не хватает. Многие из кадетов, побывав в кабине самолета, мечтают о небе.

* * *

Когда я договаривалась о встрече с Анатолием Константиновичем, он сказал: «Сегодня я выступаю перед солдатами, завтра встречаюсь с курсантами». Человек он очень занятой. Много времени уходит на общественную работу, не всегда есть возможность сесть за письменный стол.

— Что заставляет Вас, Анатолий Константинович, встречаться с солдатами и офицерами, студентами, учащимися школ и ПТУ?

— Во имя чего я трачу свое свободное время? — переспросил он меня. — Да ради того, чтобы рассказать о времени уходящем, о той интересной и трудной эпохе, когда советские люди строили Магнитку и Турксиб, МАЗ и космодромы, атомные подлодки... Судьба свела меня с такими выдающимися военачальниками, как Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, командовавший в войну 1-м Белорусским фронтом, участвовавший в 1943—44 годах в освобождении Белоруссии, генералом армии Е. Ф. Ивановским, получившим звание Героя Советского Союза за разгром рвавшейся к штабу Жукова бронетанковой колонны немцев осенью 1941 года, и многими другими прославленными героями войны. Слушая их, героев Великой Отечественной войны, не раз раненых и проливших кровь в боях за Победу в 1945-м, я мысленно приносил клятву верности их Памяти, их любви к Отечеству. Я просто обязан передать людям свои впечатления от встреч с космонавтами Ю. А. Гагариным, Г. С. Титовым, Г. Т. Береговым, А. Г. Николаевым и другими... Мной руководит давний закон общества — уважение к Человеку. К человеку порядочному и честному. В своей жизни я встречал именно таких.

В наше тревожное время, когда материальное начинает заслонять духовное, мне хочется закричать: «Люди, остановитесь!» Только духовность может спасти нас всех от надвигающейся катастрофы, идущей от жестокой эксплуатации земли, ее недр, воды и воздуха, от стремления к сверхкомфортности, пошлости и информационной агрессии, от бесконечных войн — больших и малых. Еще Экзюпери предостерегал людей планеты: «Мы идем к человеку, которого кормят поделками стандартной культуры, как быка соломой... У нас будут великолепные музыкальные инструменты, но будут ли у нас музыканты?» Как далеко видел талантливый летчик-писатель.

Вслед за своим любимым писателем военный летчик и писатель Сульянов стремится привить молодежи любовь к книге, уважение к героическому прошлому. И поэтому курсантам Военной академии и молодым офицерам он говорит: «Если вы сами будете бездуховными, вы будете плохими командирами. И приводит им строки из «Войны и мира» Льва Толстого, где говорится о Кутузове: «Своим старческим умом, своим большим военным опытом Кутузов понимал, что участь сражения решает не количество дивизий, не количество орудий, а та неуловимая сила, которая называется духом войска».

По воскресным дням Анатолий Константинович проводит литературные чтения в Военной академии перед курсантами 1-го и 2-го курсов по трем программам: «Патриотизм, традиции и современность», «Культура как фактор безопасности государства» и «Береги честь смолоду». В зале собирается до 1000 курсантов. Разные они, но генерал говорит, что в основном ребята хорошие: читают, умеют сопереживать…

А время от времени в 61-й ИАБ раздается звонок из Минска: «Замполит, ты как? У тебя все хорошо? Желаю здравствовать. Генерал Сульянов». Звонят и ему из части, не забывают поздравить со всеми праздниками, приглашают приехать. На вопрос из части: «Как дела?» — отвечает: «Живу полетами!»



АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬКОВ,
ведущий специалист Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь

ПРИВАТИЗАЦИЯ ПО-БЕЛОРУССКИ

В российской прессе вынесенное в заголовок статьи словосочетание обычно используется в ироничном контексте. Российские олигархи, крупные финансово-промышленные группы, корпорации-монополисты регулярно обвиняют белорусское государство в недоговороспособности, нарушении уже достигнутых договоренностей.

Проблема видится как в диаметральной противоположности целей, стоящих перед участниками приватизационных процессов в Беларуси, так и в разнице уровней субъектов переговорного процесса. Ведь с российской стороны с представителями белорусского государства переговоры ведут в основном — а иногда и исключительно — представители бизнеса. Позиция же Российской Федерации как нашего партнера по строительству Союзного государства остается пассивной.

Российские бизнес-структуры стремятся максимизировать собственную прибыль здесь и сейчас, ради достижения этой цели они готовы пренебречь всеми прочими аспектами проблемы. С другой стороны, имеющие первостепенное значение интересы белорусской стороны лежат в иной плоскости — сохранение рабочих мест, рост заработной платы, налоговые поступления в бюджет республики.

Белорусский нефтеперерабатывающий комплекс, построенный еще во времена Советского Союза, за последние полтора десятилетия был существенно модернизирован. В частности, значительные средства были вложены в развитие двух крупнейших предприятий отрасли «Нафтан» в Новополоцке и Мозырский НПЗ. В результате на сегодняшний день по показателям эффективности производства — в частности, по глубине переработки — с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами могут сравниться лишь немногие подобные производства в Российской Федерации. «Нафтан», кроме прочего, обладает дополнительным преимуществом: он соединен по продуктопроводу с Вентспилским терминалом нефтепродуктов на Балтийском море. Учитывая сказанное, легко понять желание российских «инвесторов» получить контроль над белорусскими заводами.

Ведь де-факто в конце прошлого — начале нынешнего года мы видели попытки произвести «рейдерский захват» белорусских НПЗ. Так, еще в начале декабря министр энергетики России Сергей Шматко заявил, что льготный режим поставок российских нефти и нефтепродуктов в Беларусь будет сохранен лишь при условии допуска российских нефтяников к приватизации белорусских предприятий. Наши заводы, таким образом, фактически пытались лишить возможности работать.

Напомним, что суть упомянутого льготного режима заключалась в пониженной экспортной пошлине, которую Беларусь платила за поставляемую из России нефть. Опустив, как не относящийся к сути обсуждаемой проблемы, вопрос о правомерности взимания в рамках таможенного союза какой-либо пошлины вообще, попробуем найти объяснение, почему же именно в конце 2009 года российский бизнес предпринял попытку «заработать». Дело в том, что в прошлом году Россия развернула экспансию на китайский нефтяной рынок, предложив Китаю экспорт нефти по низким ценам и начав дорогостоящее строительство нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан». Заполняемость нового нефтепровода должны обеспечить восточносибирские месторождения. Инвесторов к их разработке планируется привлечь, предложив им льготные пошлины на экспорт добытой нефти.

Образовавшуюся прореху в бюджете как раз и призваны закрыть дополнительные доходы от увеличения пошлины на поставляемую в Республику Беларусь нефть. Кстати, подобную же стратегию Москва пытается применить и в отношении другого своего партнера по таможенному союзу — Казахстана.

Несмотря на подобное некорректное поведение наших партнеров, Беларусь не отказывается от приватизации предприятий нефтеперерабатывающего комплекса российскими бизнес-структурами. Однако всякие попытки давления и открытого шантажа извне, как и мировой финансовый кризис, не могут стать и не станут поводом для продажи эффективных современных предприятий по заниженным ценам. Приватизация по-белорусски — это в первую очередь разумный и взвешенный подход к оценке реальной стоимости объектов, учитывая в том числе и их стратегическую значимость для отрасли и экономики Беларуси в целом.

Стратегическая ценность нефтеперерабатывающего комплекса очевидна — он обеспечивает энергетическую безопасность государства. Так, например, в Иране — одной из крупнейших стран-экспортеров нефти — нефтеперерабатывающая отрасль практически не развита. В результате зависимость от импорта бензина и дизельного топлива стала «ахиллесовой пятой» многомиллионной страны. Именно на это слабое звено, по мнению аналитиков, придется основной удар США, если не будет свернута пресловутая программа обогащения урана.

В контексте стратегической значимости предприятий для белорусской экономики невозможно не вспомнить другую недавнюю «войну» с российскими бизнес-элитами — «молочную». Предполагаемый сценарий в тот раз, судя по всему, ничем не отличался от нынешних планов российских нефтяников. В обмен на снятие ограничений на доступ белорусских молокопроизводителей на российский рынок, российское «молочное лобби», ссылаясь опять-таки на вездесущий кризис, пыталось получить возможность купить ведущие белорусские молокоперерабатывающие предприятия по «бросовым» ценам. Еще сильнее уподобляет «молочную» и «нефтяную» войну то обстоятельство, что и в этом случае белорусские предприятия выглядят в сравнении с российскими весьма выигрышно.

Сегодня итоги обоих противостояний уже известны: Беларусь отстояла собственную позицию — экспорт молочных продуктов в Российскую Федерацию возобновился, соглашения по поставкам нефти подписаны, приватизация белорусских предприятий не состоялась. Это отнюдь не означает, что «Нафтан» и Мозырский НПЗ останутся в собственности белорусского государства навсегда. Как только представители российского бизнеса или другие иностранные инвесторы предложат выгодные условия и справедливую цену, вопрос о приватизации нефтяной отрасли Беларуси будет поднят вновь. Однако, с нашей стороны безусловно будет проявлена должная осторожность, чтобы не поставить под удар экономическую и социально-политическую стабильность в республике.

Подводя итог, отметим, что Россия была и остается нашим основным партнером практически во всех сферах межгосударственного взаимодействия: военной, внешнеполитической, культурной, экономической. Очевидная и теснейшая связь между нашими государствами десять лет назад обусловила возникновение Союзного государства, а сегодня понимание необходимости экономической интеграции соединило нас в таможенном союзе и в ближайшем будущем должно привести к созданию единого экономического пространства. Казалось бы, на высшем уровне все эти аспекты понимаются обеими сторонами. Во всяком случае, такое понимание с российской стороны декларируется.

Однако при этом Беларусь регулярно сталкивается с попытками российского руководства устраниться от вмешательства в решение конфликтных ситуаций, возникающих в стратегически важных для обоих государств областях экономики. В результате — белорусские власти вынуждены вести переговоры напрямую с представителями российских бизнес-элит, чьи интересы ни в коей мере не касаются вопросов межгосударственного стратегического партнерства. Именно такая ситуация сложилась по вопросу приватизации белорусских НПЗ.

Представляется, что, оказавшись в положении шантажируемой стороны, Беларуси остается лишь исходить из тех же сугубо экономических интересов. Не поддаваясь на давление и прямой шантаж, белорусское государство оставляет вопрос приватизации нефтеперерабатывающего комплекса открытым и будет ждать появления, а в дальнейшем, возможно, и искать иностранных инвесторов, способных предложить наиболее выгодные условия. Подобную стратегию и следует называть приватизацией по-белорусски.

КАСТУСЬ ЛАДУТЬКО

Белорусское путешествие по миру

Адам Иосифович Мальдис — один из ведущих исследователей белорусских ценностей, находящихся за рубежом. В общем-то, исследователей такого рода не так и много. Не единицы, но и далеко не научно-исследовательский институт. А раньше, три-четыре десятилетия назад, и вовсе был, пожалуй, один Мальдис… Впрочем, несколько слов из предисловия главного редактора газеты «СБ Беларусь сегодня» Павла Якубовича «Сокровищам необходим поиск» к его книге «Белорусские сокровища за рубежом»: «Когда листаешь библиографию работ Адама Мальдиса, помещенную в книге «Беларусь і беларусы ў прасторы і часе» (Мінск, 2007), видишь, что примерно третья часть из них посвящена вопросам реституции — поиска, атрибуции, возвращения или совместного использования кладов материальной и духовной культуры белорусского народа, которые при разных обстоятельствах, в том числе и военных, оказались на территории других, преимущественно соседних государств. Историки здесь расходятся: одни утверждают, что на белорусских землях осталось только десять процентов наших ценностей, другие уменьшают эту цифру до пяти, а некоторые — даже до одного процента. Более точную картину могли бы дать три каталога наших потерь — архивных, библиотечных и музейных. В других странах такие издания уже появились или готовятся. Предусматриваются они и у нас».

Из названной библиографии видно, что книга «Белорусские сокровища за рубежом» имеет примерно сорокалетнюю историю. В 1974 году были изданы «Таямніцы старажытных сховішчаў: Да гісторыі беларускай літаратуры XVIII—XIX стагоддзяў» Адама Мальдиса. Сюда вошли опубликованные ранее в периодике «Скарбы продкаў», где в подразделе «Пра Крыж Ефрасінні Полацкай і сёе-тое іншае» впервые в белорусской печати было сказано, при каких обстоятельствах исчезла первейшая белорусская национальная реликвия и тысячи других ценностей из Могилевского исторического музея, поставлен вопрос о необходимости их поисков, которые вскоре и начались на государственном и общественном уровнях.

Потом география поисков расширилась. Индивидуальные усилия Адама Мальдиса переросли в коллективные, когда председатель созданного двумя годами раньше Белорусского фонда культуры Иван Чигринов предложил Адаму Иосифовичу возглавить комиссию «Вяртанне» («Возвращение»). Вокруг нее сплотились многие энтузиасты. Их усилиями начал издаваться одноименный серийный сборник. Первый том вышел в 1992 году и включал списки могилевских, минских, несвижских и гомельских потерь. Четвертый был составлен из материалов Международной конференции «Реституция культурных ценностей: Проблемы возвращения и совместного использования (юридические, научные и моральные аспекты)», проведенной в 1996 году в Минске под эгидой ЮНЕСКО. Седьмой — «Нясвіжскія зборы Радзівілаў». Приведенные в сборниках «Вяртанне» списки вывезенных сокровищ, несомненно, будут широко использованы при составлении каталогов, о которых говорилось выше.

Одновременно с изданием сборников в Национальном научно-просветительском центре имени Франциска Скорины при Министерстве образования Беларуси под руководством Адама Мальдиса создавалась база данных, где увязывались вопросы реституции, диаспоры, общественно-культурных связей между странами и народами, музееведения, архивоведения, библиотековедения и краеведения. Информация собиралась и предоставлялась для пользования как в виртуальном, так и в текстовом (книги, вырезки из периодики) и библиографическом (картотеки) виде. Были установлены плодотворные связи с зарубежной (прежде всего немецкой, польской и российской) научной общественностью. Вопросы реституции рассматривались на конгрессах Общественного объединения «Международная ассоциация белорусистов», председателем которого являлся Адам Мальдис.

Словом, книга «Белорусские сокровища за рубежом» — скорее следствие, продолжение и, может быть, некоторое подведение итогов многолетних исследований, поиска сведений обо «всем белорусском», спрятанном за толщиной времен и границ. Шестнадцать историко-публицистических «путешествий» объединены под одной обложкой. Заголовки статей и очерков достаточно многозначительны: «Явление Слуцкого Евангелия», «Крест Евфросинии Полоцкой», «Трофеи военные и мирные», «Судьба слуцких поясов», «Портреты Немцевичей оказались в Калуге», «Дар или депозит?», «Судьба коллекции», «Портреты некоронованных королей Беларуси», «Вывезено за Буг», «Станьково—Краков», «Собрано во граде Гедимина», «Немецкий след», «Притягательная сила Парижа», «В нетуманном Альбионе», «Где и что еще следует искать?», «А что же дальше?». Ученый-исследователь, знаток отечественных и зарубежных архивов, историк, публицист и талантливый писатель, Адам Мальдис сумел иногда и самые немногословные сухие факты превратить в занимательные истории.

Хотя умение писать ярко, с расчетом на искреннее читательское внимание всегда было присуще исследователю. Достаточно вспомнить замечательную книгу А. Мальдиса «Жизнь и вознесение Владимира Короткевича». Задуманная, вероятно, как книга-воспоминание, она стала настоящим бестселлером и выдержала испытание временем. Более того — на фоне растущего объема короткевичеведческих исследований «Жизнь и вознесение…» продолжает оставаться наиболее значительным произведением о классике национальной литературы. Но вернемся к «Белорусским сокровищам…». Слуцкое Евангелие, Крест Евфросинии Полоцкой, слуцкие пояса, библиотека Хрептовичей, портреты Радзивиллов из Несвижа — темы сравнительно известные, особенно для просвещенного читателя. Но под пером А. Мальдиса эти сюжеты, несомненно, вызовут одинаковый интерес как у читателя сведущего, так и у тех, кто впервые знакомится с материалом.

Два близких по содержанию очерка (или скорее — две главы из общего повествования) посвящены судьбе коллекции графов Гуттен-Чапских: «Вывезено за Буг (в подзаголовке: о белорусских материальных и духовных ценностях, оказавшихся в Польше») и «Станьково—Краков» («Музей Эмерика фон Гуттен-Чапского возрождается как «Европейский центр»). Начало у этого путешествия-поиска давнее… «В каждую из моих четырех научных командировок в Краков я шел к окруженному деревьями двухэтажному дому № 12 по улице Июльского Манифеста (теперь название, очевидно, изменилось), — пишет Адам Иосифович, — где над входом была надпись на латинском языке: «Monumentis Patriae naweracio erceptis» («Отечественным реликвиям, спасенным в исторической буре»). Ниже: «Национальный музей, филиал имени Эмерика Гуттен-Чапского». А над входом в соседний

дом под номером 10 было выписано: «Собрания имени графов Гуттен-Чапских». И далее: «Я знал, что в этих зданиях находятся огромные музейные сокровища, перевезенные в Краков летом 1894 года из деревни Станьково, теперь Дзержинского района на Минщине…» Член Русского археологического общества, Эмерик Чапский занимал большие должности в правительстве России в девятнадцатом столетии. Даже в разгар восстания 1863 года в Беларуси был губернатором в Новгороде Великом, затем — вице-губернатором в Петербурге. А поссорившись с царем, ушел в отставку и вернулся в Станьково, продолжал собирать свои коллекции. В особенности — нумизматическую. Издавал каталоги монет. Почему великолепный частный музей оказался в Кракове? Об этом, как и о нынешнем состоянии собрания Гуттен-Чапских, — в книге Адама Мальдиса. Привлекая внимание к сокровищам, истоки которых — в Беларуси, исследователь задается многими вопросами, в том числе — а есть ли шансы что-то возвратить?..

Тема возвращения — вопрос из вопросов. По этому поводу автор пишет: «В сегодняшних условиях возвращение музейных, библиотечных и архивных ценностей, 90 процентов которых находится за пределами страны, — это прежде всего их выявление и совместное использование». Исследователь был и остается реалистом. Границы сегодня не перекроишь, существует немало юридических преград, препятствующих возвращению сокровищ культуры. И сам он настойчиво проводит мысль о других формах возвращения — создании совместных каталогов, проведении выставок, предоставлении возможностей для изучения, исследований белорусских материалов в библиотеках, музеях, архивах, галереях других стран.

Завершает книгу раздел «А что же дальше? (В завершение разговора о белорусских ценностях, находящихся за рубежом)». «Пришло время подвести некоторые, может быть, пока предварительные итоги циклу статей под рубрикой «Сокровища», — пишет А. Мальдис. — В них я ставил своей целью убедить читателя, что в сфере музейных, библиотечных и архивных ценностей белорусская земля была донором для иных стран, народов и их культур. Историческая судьба сложилась так, что столетиями, входя в различные государственные объединения вместе с соседями, она обрекалась на добровольный или принудительный вывоз большей части своих материальных и духовных ценностей в общие столицы и культурные центры, оказавшиеся сегодня за рубежами нашей суверенной страны. Поэтому законы реституции, обязательного возвращения вывезенного, здесь действуют далеко не всегда. Приходится уповать на добрую волю нынешних владельцев ценностей, а также на совместное использование этих ценностей и, при возможности, взаимовыгодный обмен…» Книга А. Мальдиса «Белорусские сокровища за рубежом», наверное, та «ласточка», за которой потянутся новые исследовательские проекты, связанные с вопросами реституции. Будем на это надеяться.



Тепло родимого окна

Иван Пехтерев хорошо известен не только в Беларуси, но и в России, в которой жил и издавался десять лет. В областной типографии вышел очередной его сборник стихов и поэм «Окно на все времена». Как и в предыдущих книгах, для поэта самыми высокими ценностями остались Вера, Надежда, Любовь.

Тематика его произведений обширна: «Широк простор моих страниц, скорей всего, он без границ». Она охватывает всю жизнь человеческую, ее взлеты и падения, страсти и недуги, любовь земную и любовь к Богу, она в прошлом, настоящем и заглядывает в будущее — воистину окно на все времена. В книге более двухсот стихотворений, а еще шесть поэм: «Сотворение мира», «Познание добра и зла», «Хлеб и песня», «Мать Полтавской победы», «Подвиг Могилева» и «Второе обретение земли».

Поэт-горожанин, прикованный недугом к комнате, грустит о милой родной деревне Недведь на Климовщине. Он и через пространство слышит трели соловья в знакомой с детства роще.

Я вижу Ипути теченье —
И сердце чувствует мое
Кувшинок золотых свеченье
На теплых заводях ее.

И запах сена, запах лета
Хмелят, как первая любовь…
Пока во мне все живо это,
Перенесу любую боль.

Иван Пехтерев в своих произведениях обращается к людям с призывом любить, беречь и защищать свою любимую Отчизну.

Много стихов поэта — о злободневных проблемах современности. Нынешним неофашистам, старательно бритым и до власти охочим, поэт предлагает лучше вспомнить, чем закончили все эти гитлеры, геббельсы, гиммлеры.

В стихотворении «Обмельчало искусство…» И. Пехтерев говорит, что с каждым днем мельчает «слово, песня, экран». Газеты и низкопробные книги призывают к потребительству, к наживе, насилию, а экран круглосуточно льет потоки грязи и крови. У многих современных песен «нередко и в звуках ни склада, ни лада». И хотя сегодня мудрая классика, народная культура, национальные традиции не в почете, их постоянно давит потребительская масскультура, но поэт верит, что народ прозреет, что это пройдет.

В основе поэмы «Сотворение мира» — главы из Библии. Автор поэтическими строками поведал о сотворении Богом Вселенной, Земли, жизни на ней и человека. Драматическая, в трех действиях поэма «Познание добра и зла» — это история из Священного Писания о грехопадении человека, поддавшегося искушению сатаны, а также рассказ о Голгофе Христа и его воскресении.

Православных верующих, несомненно, привлекут четыре страницы сборника, на которых помещены «Молитвенные прошения к Богу». Это поэтический перевод 24 молитв (на каждый час суток) святого Иоанна Златоуста. Приведу одну из них:

Господи, войди ты, словно солнце в дом,
В страждущее сердце и останься в нем,
Господи Исусе, вечный Светоч мой,
Дай мне в Книге Жизни быть всегда с тобой.

В городе поэту не хватает шири полей, глуши лесов пречистых. Они — его райский сад, земной эдем, с которым суждено жить в разлуке. Поэт по-прежнему чтит, словно мать, любимую деревню Недведь, любит ее исповедальную тишину: «Вдаль плывут, как души, облака — // И невольно набегают слезы, // Их, как в детстве матери рука, // Утирают ветками березы».

«Хлеб и песня» — это не просто поэма, а торжественная ода, гимн (не побоюсь произнести это громкое слово) пахарю и хлебу насущному.

«Второе обретение земли» — пожалуй, первая в Беларуси поэма о возрождении села, об агрогородке. Ее герой Иван Петрашин, прочно осевший в городе, живущий в достатке, возвращается в отчую деревню Поляну, в возрожденный комбинат «Восход». Прототипом «Восхода» стала деревня Речки, что под Могилевом, где есть процветающий агрокомбинат «Заря», который возглавляет давнишний приятель поэта Леонид Моисеев.

Иван Пехтерев — поклонник классического стиля. О чем бы он ни писал, его стихи пленяют своей лиричностью, мелодией, образом, афористичностью. Почти в каждой строке яркие эпитеты, метафоры, сравнения, которые усиливают образ, делают его выпуклым, емким.

Вот внимание поэта, который «видит вечность в миге», привлекло, что еще вчера зеленая рожь за ночь изменилась, зацвела, и теперь она зелено-голубая. Он вошел в рожь, колосья раздвигая, и как бы плывет по ней:

Плыву, а море молодого хлеба
Уходит вдаль, за ясный окоем,
А может, просто переходит в небо
Во всем великолепии своем.

Да это же картина живописца! Это же поэтическая находка! И таких немало у поэта.

Виктор АРТЕМЬЕВ



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Леонид Лазуркин.
В ЛУЧАХ НЕМЕРКНУЩИХ ЗВЕЗД.
Очерки. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2009.

Когда смотришь на звезды, кажется, что реальность растворяется. Только ты и они. И не важно, что было вчера и что будет завтра. Есть только миг, за который ты понял и прочувствовал больше, чем за всю свою долгую жизнь.

Когда смотришь на звезды, кажется, что они затмевают своим светом весь мир, превращая его в свое маленькое творение.

Когда смотришь на звезды, кажется, что они подмигивают тебе, улыбаются, зовут к себе. И в то же время остаются недосягаемыми.

«Многие мои друзья вовсю подшучивали над этой моей тягой к «звездам», называли мой интерес «звездной болезнью» и каждый раз намекали на «обострение», когда собирался в отпуск», — признается Леонид Андреевич Лазуркин, историк, географ, литератор и, конечно, путешественник. Но только речь тут идет о звездах земных — об известных людях. Вот они: Петр Алейников, Борис Андреев, Ольга Аросева, Вия Артмане, Лев Дуров, Василий Лановой, Василий Шукшин, Юрий Яковлев и многие другие.

Перед каждым своим отпуском Леонид Лазуркин всеми правдами и неправдами старался раздобыть путевку в сочинский санаторий «Актер», где знаменитостей можно встретить на каждом шагу. Он не просил у звезд автографов, не старался отщипнуть кусочек от «пирога» их славы. Он просто видел их, говорил с ними, жил рядом. А что из этого всего получилось, можно узнать из его необычной книги «В лучах немеркнущих звезд», которая недавно вышла в РИУ «Літаратура і Мастацтва». Казалось бы, что можно сказать о тех, о ком уже известно так много? Леонид Андреевич смог показать в своей книге новую, не известную до этого зрителю и читателю сторону жизни звезд.

«Меня никто не жалел, кроме мамы. А мужчины рядом не было. Был великий артист. Был отец моих детей, что очень важно. Но любимого, нежного мужчины рядом — нет. Могу сказать об этом совершенно откровенно. Бог простит», — Вия Артмане.

«Чувство домашнего очага просто не было мне знакомо. Я был готов к постоянному поиску. Мне ничего не стоило, например, выйдя из дома за хлебом, вдруг взять такси и уехать из Москвы в Ленинград. А когда выяснялось, что услуга такси до Ленинграда стоит несколько дороже, чем сумма, предназначенная для покупки батона, я мог выйти из машины и попросить у прохожих взаймы», — Петр Алейников.

«От алкоголя Шукшин незадолго до смерти напрочь отказался. И даже не из-за пошатнувшегося здоровья, а из-за происшедшего с ним неприятного случая. Гуляя с маленькой Машей, он встретил приятеля и, оставив дочку гулять в сквере, пошел выпить сто граммов за встречу. Празднование затянулось. Маша, не дождавшись отца, отправилась домой самостоятельно, и, слава Богу, не потерялась. Шукшин все же вспомнил о ней, но поздно: в сквере дочки уже не было. С перепугу хмель прошел, и когда Василий Макарович нашел Машу, он дал себе зарок никогда не прикасаться к спиртному. В отличие от большинства любителей алкоголя, дающих такие обещания чуть ли не ежедневно, слово свое держал до самой смерти».

Каждый из очерков Леонида Лазуркина индивидуален, но все они объединены любовью, теплотой, искренностью автора.

Ольга Гурновская

Максім Гарэцкі.
ВЫБРАНЫЯ ТВОРЫ.
Укладанне Радзіма Гарэцкага і Тэрэзы Голуб. Мн.: Кнігазбор, 2009.

Избранное классика белорусской литературы Максима Горецкого вышло юбилейным, пятидесятым томом издательского проекта «Беларускі кнігазбор», выпуск которого осуществляется с 1996 года. Нет сомнения, что даже те читатели, которые имеют собрание сочинений этого замечательного писателя (напомним, что оно в свое время выходило в четырех томах, а позже появился пятый, дополнительный), поспешат приобрести эту книгу. Тем более сделают это те, у кого названного издания нет, ведь для ценителей национальной изящной словесности это возможность войти в мир творчества самобытного мастера слова, которого ставят в один ряд с Янкой Купалой, Якубом Коласом и Максимом Богдановичем. В однотомник вошли лучшие рассказы М. Горецкого, его повести «Дзве душы» і «Ціхая плынь». Представлены также документально-художественные и философско-аллегорические произведения, драматургия, публицистика.

Леанід Левановіч.
ПАЛЫНОВЫ ВЕЦЕР. Раман.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2009.

Как известно, Леонид Леванович написал пять романов. И все связаны одним и тем же местом действия, да и многие герои переходят из произведения в произведение: «Шчыглы», «Паводка сярод зімы», «Дзікая ружа», «Сіняе лета», «Бесядзь цячэ ў акіян». Точнее, у Л. Левановича было пять романов. Теперь их уже шесть. Очередной — «Палыновы вецер» вышел в конце прошлого года в РИУ «Літаратура і Мастацтва». В нем отражены события, которые по-прежнему у большинства из нас, что называется, на слуху: распад Советского Союза, последующие изменения в общественной жизни, авария на Чернобыльской атомной электростанции. Но нет такого романа, в котором бы не рассказывалось о любви. Даже если чувства к героям приходят в сложнейших условиях. Однако жизнь есть жизнь, и жизнь в Чернобыльской зоне в этом отношении — не исключение.

Алесь Мартинович.
ИСПОВЕДЬ СТАРЫХ ЗАМКОВ.
Документально-художественные очерки.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2009.

Занимательно, используя богатый фактический материал, лауреат Государственной премии Республики Беларусь и многих престижных литературных премий Алесь Мартинович в своей новой книге «Исповедь старых замков» рассказывает об одном из самых крупных магнатских родов на территории Беларуси — Радзивиллов. Герои его книги — те, кто жил и властвовал, воевал и строил, побеждал и терпел поражения, любил и ненавидел. Это Ян Радзивилл Бородач («Коварство настигает жертву»), Николай Радзивилл Черный («Светлые дела Черного Николая»), Николай Криштоф Радзивилл Сиротка («Пилигрим: не нужен грим»), Софья Олелькович и Януш Радзивилл («Лепестки любовного цветка»), Богуслав Радзивилл («Авантюрист с душой государственника»), Альбрехт Радзивилл («Правозащитник... из XVII века»), Героним Флориан Радзивилл («Два лица подлеца?»). Нередко в произведениях содержится приключенческий элемент, но такой была и жизнь Радзивиллов, среди которых встречались авантюристы и баловни судьбы, полководцы и мечтатели, неистовые влюбленные и романтики. На подходе вторая книга А. Мартиновича из этого цикла — «Интим звездного неба», которая расскажет о любви прекрасной Барбары Радзивилл и Сигизмунда II Августа.

Таццяна Падаляк. **НАШЧАДКІ ВОГНЕННЫХ ВЁСАК**. Дакументальныя нарысы, эсэ, успаміны. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2009.

Выход книги известной белорусской журналистки Татьяны Подоляк «Нашчадкі вогненных вёсак» в год 65-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и в канун 65-летия Великой Победы не случаен. К сожалению, в последнее время появилось немало тех, кто, очерняя советское прошлое, а также с целью принижения роли СССР и народов некогда огромной страны в разгроме фашизма, стремится пересмотреть результаты Второй мировой войны. Особенно прискорбен тот факт, что при этом лжеисторики, недобросовестные писатели и журналисты не стесняются очернять партизан и обелять фашистов. В начале 2006 года редакция газеты «Звязда» и Государственный мемориальный конкурс «Хатынь» обратились к свидетелям сожженных деревень с просьбой поведать правду о том, что было и как было в годы оккупации, чтобы нынешнее поколение узнало, как гитлеровские захватчики на территории Беларуси вели войну на полное уничтожение населения. В результате в «Звяздзе» появились десятки публикаций, нашедшие широкий отзыв у читателей, а журналистка Т. Подоляк была отмечена Специальной премией Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства в номинации «Журналистика». И вот книга, которая, несомненно, будет востребована, ибо она своего рода обвинение фашизму, а преступления против человечества не забываются. Они не имеют срока давности. Поэтому все старания различных «резунов» бессильны перед великой правдой о великой войне.

Міхась Сліва. **ВІРТУАЛЬНАЕ КАХАННЕ**. Кніга гумару. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2009.

Михась Слива сегодня принадлежит к самым известным белорусским писателям-юмористам, поэтому не случайно, что именно его книгой «Віртуальнае каханне» начато возрождение некогда популярной «Бібліятэкі «Вожыка». Правда, если раньше книжечки ее выходили в мягкой обложке, то эта появилась в твердой, притом, куда большая по своему объему. В том, что встреча с книгой М. Сливы будет увлекательной, сомневаться не приходится, настолько она веселая и остроумная. Интересно читателю будет узнать и то, как появился псевдоним М. Слива, ведь настоящая фамилия писателя Ковалев. Оказывается, как рассказывает он в предисловии-автобиографии «Як я стаў Міхасём Слівай», произошло все еще в студенческие годы, когда он часто печатался в «Вожыке». Начинающий юморист, будучи у родителей, обратил внимание на большую созревшую в саду сливу. Тогда ему и подумалось, что раз есть в украинской литературе Остап Вишня, то почему бы в белорусской не появиться Михасю Сливе. Этот псевдоним настолько прижился, что им М. Ковалев пользуется всегда, когда предлагает в печать свои юмористические произведения.

Любовь Турбина. **ОГНИ НА ВОДЕ**. Избранное. Мн: Літаратура і Мастацтва, 2009.

Любовь Турбина — писательница ярко выраженной индивидуальности, одинаково успешно работающая как в поэзии, так и в прозе. Книга «Огни на воде» и состоит из двух частей, соответственно представляющих эти два направления ее творчества. В первую часть вошла исповедальная проза. Это как камешки мозаики, каждый из которых привлекает внимание, а вместе взятые они составляют целостную картину. Л. Турбина показывает город Минск (родилась она в Ашхабаде, жила в Ленинграде, Минске, теперь связала судьбу с Москвой) таким, каким он живет в ее памяти: «Сквер в центре Минска», «Дворец профсоюзов», «Школа напротив цирка»... Во вторую часть книги вошли лучшие стихи из ее восьми поэтических сборников.

Я ХАЦЕЎ БЫ СПАТКАЦЦА З ВАМІ...
Літаратурна-публіцыстычныя артыкулы пра Максіма Багдановіча.
Укладанне Таццяны Шэляговіч.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2009.

Книга «Я хацеў бы спаткацца з Вамі...» — хороший подарок почитателям таланта классика белорусской литературы Максима Богдановича, ибо в ней раскрываются неизвестные и малоизвестные страницы биографии поэта. К примеру, Змитер Яцкевич предлагает «Радавод Максіма Багдановіча па матчынай лініі». Павлина Кочеткова рассказывает о жизни поэта в Крыму («Свечка свеціць, свечка ззяе, свечка дагарае...»). Вера Микута знакомит с жизнью М. Богдановича в Вильно и Ракутевщине («Радзімая зямля, прынікнуў я к табе...». Название статьи Нины Горелик говорит само за себя: «Пешкавы і Волжыны». В книге представлены избранные стихотворения поэта, а также снимки из фонда Литературного музея Максима Богдановича. Все это свидетельствует в пользу того, что читательская аудитория у сборника будет большая.

Антон Базылевич

Валерий Ермоленко.
БЕЛОРУСЫ И РУССКИЙ СЕВЕР.
Мн.: Беларусь, 2009.

Новая работа доктора географических наук Валерия Ермоленко — научно-популярная книга «Белорусы и Русский Север», которая повествует о белорусско-российских исторических и культурных связях. В увлекательной форме автор рассказывает о личностях неординарных. В первой части — разговор о легендарном прошлом, о событиях и людях давно минувших столетий. Второй раздел посвящен героям, чья жизнь и научная, исследовательская, общественная, государственная деятельность пришлись на XIX—XXI века. В каждой из частей — по несколько глав, в которых читателя ждут встречи с учеными, геологами, путешественниками, военачальниками. Наши земляки были открывателями новых земель и неизвестных ранее морских просторов, кораблестроителями и адмиралами. Уроженцы Беларуси внесли большой вклад в развитие Русского Севера. Многие годы, например, работал в Сибири геолог, уроженец Червенщины Н. Блиодухо. Благодаря его трудам найдены природные ископаемые в бассейне Подкаменной Тунгуски. Исследованием Колымского края занимался Сергей Раковский (родился в 1899 году в Могилеве). Одним из первых осваивал воздушные трассы Крайнего Севера летчик-полярник пинчанин Яков Мошковский. Книга «Белорусы и Русский Север» особенно важна сегодня, когда актуальной для народов, живущих на постсоветском пространстве, является тема единения и уважения к общей истории.

Дарья Шотик



Монолог

…Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.

А. Дементьев

Так получилось, что мы, как только встретились, сразу почувствовали доверие друг к другу. Как оно, доверие, возникает? Трудно сказать. Чаще всего неожиданно. Как проявляется? Очень просто: в глазах, в голосе. Заочно мы были уже знакомы: он писал нам. Письма его показались интересными. Завязалась даже переписка — неформальная. Но вот и встреча. Опасный момент. Как бы не разрушить то, что еще не устоялось.

Зовут его Владимир Михайлович Голубев.

— Расскажите о себе, — попросил я.

Он рассказал о чем-то другом…

— Школа № 2, в которой я учился, находилась на улице Энгельса, а рядом был особняк Союза писателей Беларуси. Писатель — звание по тем временам исключительное, вызывавшее интерес и у взрослых, и у школьников. И частенько на больших переменах или после занятий мы заглядывали туда поглазеть, как они, писатели, ведут себя, о чем говорят. Тут еще дело в том, что в нашей школе и даже в нашем классе учились дети писателей. Например, дочь Янки Брыля, сын Владимира Корбана, дочь Янки Скрыгана. С Галей Скрыган я сидел за одной партой. В параллельном классе учился сын Ивана Шамякина Саша. Постепенно мы узнали и запомнили имена многих писателей…

Грустно было, когда снесли и мою школу, и писательский особняк.

Однажды, будучи на Комаровском рынке, я заметил Максима Танка — Евгения Ивановича Скурко, я его уже хорошо знал в лицо. Он придирчиво выбирал капусту, что вызывало сильное неудовольствие у хозяйки. Она взялась было даже отчитывать его, дескать, все кочаны хорошие, что, мягко говоря, не соответствовало действительности, и Евгений Иванович спокойно продолжал свое дело. Наконец выбрал, расплатился. «Евгений Иванович, давайте помогу вам», — предложил я. «Не трэба, не цяжка», — ответил. «Кто это?» — спросила меня торговка. «Максим Танк», — сказал я. И минуту спустя женщина бежала вслед за ним. «Евгений Иванович, — кричала она. — Я ваши стихи в школе учила! «Пятерку» получила!» — и едва не силой вручила ему хорошую авоську крупных яблок. Вот теперь моя помощь поэту понадобилась. А когда я донес авоську к «Москвичу», стоявшему на обочине, Танк насыпал мне добрый десяток крупных яблок. «Это твой гонорар!» — сказал он.

А еще от Петра Глебки получил «гонорар». В книжном магазине на К. Маркса я хотел купить набор цветных карандашей, стоял у кассы и подсчитывал денежки. Вдруг слышу: «Не хватает? Бери, я заплачу». Ушел я из магазина с набором цветных карандашей «Искусство» — кажется, 26 штук…

Владимир Голубев родился в 1947 году в Минске. А нынче, как говорится, молодой пенсионер. Всю жизнь работал на известном в республике велосипедном заводе. Отдел технического контроля — вот область применения его сил. Но душевная страсть — литература. Любовь — литературно-художественные журналы.

— Журнал — это не только интеллектуальное удовольствие, журнал — это и самообразование, и самовоспитание. Книга чаще всего имеет одну задачу и цель, журнал — многоцелевое издание. В журнале почти всегда вдумчивый читатель отыщет что-то на свой вкус. Сегодня самые высокие рейтинги имеет дамская литература. Но настоящий литературный журнал не может быть ни дамским, ни мужским. Журнал — это среда интеллектуальной жизни. Раздаются голоса, что

журнальная литература погибает. Могу сказать только одно: чем дольше продлится время журналов, тем больше будет надежды, что мы не оскудеем духовно.

Коммерческий подход противопоказан журнальному делу. Государство должно поддерживать литературные издания. Культура — это праздник. Нельзя жалеть денег на культуру. Иначе на чужом празднике мы окажемся в положении обслуживающего персонала, а если хотите — рабов.

Как видите, порой он формулирует свои мысли определенно и даже резко.

— Давайте поговорим о вещах простых и важных, — предложил я. — О быте. Расскажите о вашей каждодневной жизни.

Он сразу задумался.

— Быт — это пенсия. А пенсия у меня хорошая! В начале каждого месяца я — полумиллионер: получаю 520 000 белорусских рублей. В общем, на жизнь, как говорится, хватает… — И замолчал.

Добавим от себя: хватало бы, если бы не цены на услуги ЖКХ, да на молоко с хлебом, да не старая и странная, по мнению многих, страсть — журналы.

— Болит душа, когда вижу в киосках нераспроданные журналы. Выкупаю и «Нёман», и «Полымя», и «Маладосць», в зависимости от того, сколько у меня денежек, а затем по дороге на дачу раздаю соседям по электричке… Поначалу пассажиры глядят с сомнением, но поверив, что предлагаю бесплатно, берут охотно. Есть и приработок к пенсии: летом собираю по лесам медь и алюминий. Дело это выгодное — до миллиона рублей за лето, но и опасное: не я один интересуюсь презренным металлом. — Он улыбается, и непонятно, шутит или говорит серьезно: — Среди добытчиков такого рода встречаются всякие. Иной раз приходится договариваться миром, иной — уносить ноги…

— На жизнь и на журналы хватает, а на лекарства?

— Как-то пришлось ехать в троллейбусе вместе с Борисом Саченко. У цирка в троллейбус вошла девушка необыкновенной красоты. Мы все уставились на нее. Глядел, разумеется, и Борис Иванович. Вышла красавица у ЦУМа. Все мужчины со значением переглянулись, а Борис Иванович сказал: «С утра сердце щемило, хотел было принять таблетку валидола, а тут она — все и прошло. Красота — вот лучшее лекарство». Так и я: встречу хорошего человека и — почти здоров.

— Мы знаем, что вы пишете и стихи, и прозу. Вот «Нёман» опубликовал в первом номере нынешнего года ваше замечательное стихотворение «Август».

— Да, пишу, но редко. Когда-то даже ходил в литературное объединение при газете «Знамя юности», которое вел незабываемый Петр Волкодаев. Публиковался в разных изданиях: в «Литературной России», «Нёмане», «Вожыке», «Знамени юности», «Чырвонай змене»… Но писателем себя не считаю и в Союз писателей вступить не стремлюсь.

Конечно, можно возразить Владимиру Михайловичу, но надо ли?

Человек он безусловно искренний. Может быть, даже в чем-то наивный. Эти два качества, похоже, живут рядом. Чем, как не наивностью, объяснить то, что пишет от руки объявления-рекламки, в которых советует жителям своего района купить тот или иной номер журнала с тем или иным произведением… И даже то, что покупает журналы и раздает друзьям, знакомым, соседям в электричке.

Действительно, подумаешь, что наивные люди и поддерживают этот мир.

В журнальной продукции его интересует все: и проза, и поэзия, и критика, но более всего — публицистика. Главная его тревога и надежда: славянство. Жизнь славянских народов в сложное для них да и для всего мира время. Впрочем, и многое другое.

Время встречи заканчивалось. И когда он попрощался с нами, мы подумали о том, что не существует талантливых поэтов и писателей без талантливых, умных, образованных читателей — таких, как Владимир Михайлович. Честь им и хвала.

«Я светом наполнен, как в августе сад…» — строка из его стихотворения. И строка эта не случайна. Он действительно наполнен светом, этот простой человек.

Беседовал Олег Ждан.

Авторы номера

Короткевич Владимир Семенович. Родился в 1930 г. в Орше. Окончил филологический факультет Киевского университета им. Т. Г. Шевченко, Высшие литературные, Высшие сценарные курсы в Москве. Поэт, прозаик, драматург, публицист, критик, переводчик. Автор множества сборников прозы и поэзии, романов, пьес, сценариев и др. Лауреат Литературной премии СП БССР им. И. Мележа, Государственной премии БССР им. Якуба Коласа. Жил в Минске. Умер в 1984 г.

Марук Владимир Антонович. Родился в 1954 г. в д. Гута Ганцевичского района Брестской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик. Автор нескольких книг поэзии. Работал заместителем главного редактора журнала «Полымя». Умер в 2010 г.

Саламаха Владимир Петрович. Родился в 1949 г. в д. Бересневка Кировского района Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Прозаик, публицист. Автор книг прозы «На ўзмежку радасці», «Прывід у скураным крэсле», «Напрадвесні» и др. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Работает главным редактором издательства «Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки». Живет в Минске.

Лукша Валентин Антонович. Родился в 1937 г. в Полоцке. Окончил отделение печати Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Поэт, драматург, публицист, переводчик. Автор многих книг поэзии для взрослых, сборников стихов и сказок для детей, пьес, текстов популярных песен. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь, литературных премий имени П. Бровки, имени В. Витки. Живет в Минске.

Ильюшина Наталья Ивановна. Родилась в Минске в 1942 или 1943 году. Воспитывалась приемными родителями. В 1966 году окончила Минский государственный институт иностранных языков. Работала преподавателем английского языка. Автор стихотворных сборников «Забытые качели», «Сквозь призму ночи» и сборника стихов для детей «Сказки Бабушки Ежихи». Живет в Минске.

Шварц Мелисса (Павлюкова Юлия Валерьевна). Родилась в 1985 г. в Минске. Окончила Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка. В «Нёмане» публикуется впервые. Живет и работает в Минске.

Шамякина Мария Вячеславовна. Родилась в 1976 г. в Минске. Окончила Белорусский государственный университет. Магистр гуманитарных наук, кандидат филологических наук. Поэтесса, прозаик, критик. Автор многочисленных публикаций в республиканских периодических изданиях, монографии «Паэтыка беларускіх замоў: вобразны свет, гукавая арганізацыя тэксту». Редактор отдела журнала «Полымя». Живет в Минске.

Кошкина Елена Владимировна. Родилась в 1956 г. в Орджоникидзе. Закончила физический факультет БГУ, училась в Литературном институте в Москве. Печаталась в журналах «Октябрь», «Немига», «Монолог», «Нёман». Автор книги «На грани исчезновения». Работает в школе учителем физики. Живет в Минске.

Шпиро Дёрдь. Родился в 1946 году в Будапеште. Социолог, доктор юридических наук, профессор. Один из лучших современных венгерских прозаиков и драматургов, переводчик.

Мартон Ласло. Родился в 1959 году в Будапеште. Окончил Будапештский университет. Современный венгерский писатель. Лауреат многочисленных литературных премий.

Красногоркаи Ласло. Родился в 1954 году в г. Дьюла (Венгрия). Окончил Высшую школу Ференца Эркеля, юридический факультет в Сегеде, Будапештский университет. Известный венгерский писатель, автор многих книг прозы.

Пинцутти Анна. Родилась в 1953 году в Турине (Италия). Поэтесса. Победительница Национального поэтического конкурса (Италия). Автор сборника стихов «Погрешность пути».